

РУССКИЙ Крест

Александр ЛАПИН

БЛАГИЕ ПОЖЕЛАНИЯ



Александр Лапин
Благие пожелания

«Благие пожелания» — третья книга романа «Русский крест», задуманного как летопись моего поколения, которому довелось жить буквально на сломе эпох. Мы не выбирали время, оно выбрало нас, сделав участниками и свидетелями больших событий. В романе я пытаюсь осмыслить не столько прожитые годы (это произведение нельзя назвать автобиографическим), сколько те явления, которые повлияли на мою судьбу и судьбу близких мне людей.

В третьей книге повзрослевшие герои определяются со своей жизненной позицией, точкой зрения на происходящие в стране события. Каждый выберет свой путь кто-то ринется в бой отстаивать свою правду, будут и те, кто предпочтет занять позицию наблюдателя. Жизнь разведет друзей по разные стороны баррикад.

Каждая книга романа «Русский крест» — новый этап в жизни не только главных героев, но и в судьбе страны: война в Афганистане и националистические войны в бывших союзных республиках, землетрясение в Спитаке и сотрясение устоев общества... Каждому из нас, кто прошел этот путь, пришлось многое испытать, защищать свои семьи, убеждения, находить свое место в новой картине мира. Нам всем есть что рассказать и чем поделиться!

Тешу себя надеждой, что раз вы держите в руках эту книгу, первые два тома романа — «Утерянный рай» и «Непуганое поколение» — вызвали у вас интерес. Давайте вместе продолжим путь по страницам недавней истории!

Александр Лапин

Часть I

Горький урок



I

Иисус вошел в храм. И тихо присел на скамеечке. Народу тьма. Вот сидят они напротив него — пастухи, рыбаки, менялы, торговцы. Внимательные, насмешливые, робкие, хитрые глаза, но всех он видит насквозь. Сегодня он расскажет им о царствии отца своего, о царствии небесном.

Но чу! У входа какая-то замятня. Раздается шум и гам. Это книжники и

фарисеи. А с ними какая-то женщина. Растрепанная. И растерянная.

Они ставят ее, босую, посреди народа. И начинают говорить, обличая:

— Учитель! Эта женщина поймана нами в момент, когда прелюбодействовала с чужим мужем. Моисей в своем законе указал нам, что таких надо побивать камнями. До смерти их. А ты что нам скажешь?

Мгновение он вглядывается в их лица. И читает их якобы хитрые мысли: «Вот мы и поставили тебя в безвыходное положение. Скажешь: „Поступите по Моисееву закону“, — нарушишь римский. Откажешься от заповедей отцов — мы обвиним тебя в ереси. Ну как?»

Он же, наклонившись низко над землею, чертит пальцем какие-то знаки. И молчит.

«Милые вы мои дурачки!» — думает он.

Молчание Иисуса раззадоривает обвинителей. И они, нагло глядя на него, продолжают наседавать, много раз повторяя свой вопрос.

Наконец он поднимает голову и, посмотрев на них, нетерпеливых, произносит:

— Кто из вас без греха? Первым брось в нее камень!

И все.

Они замолкли. Опустили дерзкие руки. И глаза. Видно, вспомнили. И может быть, впервые за много лет почувствовали стыд.

Тихо-тихо они начали расходиться из храма.

Иисус и женщина остались в одиночестве.

Он спрашивает:

— Женщина! Где твои обвинители? Никто не осудил тебя?

— Никто, Господи!

— Иди с миром. И я не осуждаю тебя. Только впредь не греши...

Не судите, да не судимы будете! Вы!

II

Зима. Прежде чем выйти на улицу, Александр Дубравин по привычке выглядывает в окно.

Унылое декабрьское утро. Горы скрыты за облаками. Кто-то невидимый в небе ошипывает снежную курицу, рассыпает на темную землю белый пух и перья.

Алма-Ата еще в полудреме. Серый, тяжелый, нависший над городом прямоугольный куб здания Центрального комитета тих и покоен. Ни огонька в окнах. Ни движения в длинных коридорах. Замерзли и замерли в ожидании весны фонтаны и каскады. Присыпаны белым пухом парковые вечнозеленые туи, сосны, ели. Застыл уродливый коричневый нарост огромной, непропорционально большой для площади перед зданием ЦК гранитной трибуны. Под нею на сером асфальте переминается озябшая толпа. В воздухе, дергаясь, движутся несколько лозунгов, торопливо написанных на синей ткани: «Ни одной нации, ни одной привилегии! Каждому народу — своего вождя!»

Он переводит взгляд вниз. Его молочно-белая «Волга ГАЗ-3102» со специальными правительственными номерами «0008 АА» уже стоит на аллее у подъезда. Водитель — крепыш Сашка Демурич — молча курит рядом, пряча сигарету от ветра в ладони. Он в недоумении поглядывает издали на толпу, гужующуюся на площади...

Вперед на улицу. Говорит шоферу вместо «здравствуй»:

— Давай подъедем поближе!

«Волга» мягко трогается с места и мимо заснеженных деревьев, укрытых от непогоды розовых кустов плавно движется вверх по аллее. Теперь в приблизившейся толпе, состоящей сплошь из казахской молодежи, видны еще какие-то лозунги на казахском, пятна портретов Ленина, Кунаева.

— Остановись! — приказывает он Сашке на краю площади.

Выходит из машины. Сколько же их тут? Ну, человек, наверное, двести-триста. А чего хотят? Чего стоят-то?

Подходит поближе. Видит какое-то броуновское движение — толпа, словно вода в котелке, бурлит на месте, выбрасывая из себя, как пузырьки, отдельных людей, которые, постояв минуту рядом, снова ныряют вглубь серой людской массы.

Дубравин топчется на жидком снегу. Потом все-таки решает подойти к

демонстрантам. Толпа состоит сплошь из молодых парней так называемого аульного вида. Но он пересиливает неприязнь. И, подойдя к краю, спрашивает одетого в спортивную красную куртку плосколицего парня с иссиня-черной челкой, нависшей из-под лыжной шапочки на глаза:

— А что это за демонстрация?

— Вчера Кунаева сняли на пленуме! Какого-то Калбина прислали в республику, — словно ища у него сочувствия, произносит студент. — Вот мы и вышли. Потому что против этого. Мы за ленинские принципы национальные...

Он не спорит. «Ишь ты, как заворачивают, — думает Дубравин, — выучились марксизму. Вульгарному». Потому что видит: дискуссия бессмысленна.

Он быстро возвращается к машине. Плюхается на кожаное сиденье и говорит водителю:

— Давай обратно домой! Срочно!

Вихрем взлетает по лестнице. Заскакивает в свой кабинет. И кидается к телефону. Торопливо стрекочет под пальцами вращающийся диск. Первый звонок в редакцию...

Но трехчасовая разница во времени между Алма-Атой и Москвой дает о себе знать длинными гудками. Там никто не отвечает. Ни в отделе пропаганды, ни в секретариате, ни в приемной главного. Никого нет. В общем, «тишина и покой в этом парке густом...»

«Ладно, поеду пока займусь текущим заданием...»

* * *

Через пару часов, нарезав несколько кругов по городу, он той же дорогой возвращается домой. Великое стояние на новой площади продолжается. Толпа расплзается, разливается по белому свежему снегу грязной чернильной кляксой.

— Ни фиги себе! — присвистывает Александр при виде того, как за это время выросла манифестация. Их тут уже тысячи. И оцепление появилось.

Острым профессиональным взглядом он всматривается в толпу, которая, как отара овец, грудится за жожаками. Подходят все новые и новые группы молодежи. Они останавливаются перед оцеплением, потом бьются, толкаются о милицейскую цепь, прорываются к своим.

На площади их ждут. Радостно вскидывают руки в объятиях. «Торжество свободы и демократии» так и прёт.

Он постоял еще, разглядывая, анализируя состав толпы. Большинство в ней составляли студенты, ребята, недавно приехавшие из айлов. Обитатели

общаг и квартиранты бедных частных домишек, они отличаются и внешним видом, и одеждой от так называемых цивилизных городских казахов.

В последнее десятилетие в Алма-Ату буквально хлынула молодежь с юга республики. Это вызывало раздражение у горожан, так как пришельцы привозили с собой свои обычаи, привычки, стереотипы поведения. Их появление в подъезде городского многоэтажного дома можно было отследить по несомненным признакам: многочисленным гостям и родственникам, густому запаху вареной конины, мусору, брошенному прямо в подъезде.

А теперь они вышли на площадь со своими требованиями. И как на это реагировать?

* * *

...Наконец редакция ответила на его призыв. Трубку подняли в стенбюро. Старшая стенографистка тетя Катя, добродушно ворча, спросила:

— Что в такую рань-то звонишь? Все еще чай пьют в буфете редколлегии.

— Да у нас тут такая заваруха началась после вчерашнего решения Москвы. Ещё бы! Сменить Кунаева.

Молодняк на площадь вышел. Что-то будет. Свяжитесь меня с кем-нибудь!

Через пару минут ответил отдел пропаганды.

— Здорово! Ну что там у тебя приключилось? — спросил референт отдела.

Дубравин, тщательно подбирая слова, обрисовал обстановку.

— Да ты что? Правда? Это ж первополосная сенсация. Первое национальное выступление в стране. Сейчас я позову редактора отдела.

Какая-то возня. Стук в трубке. И взволнованный, по-восточному распевный голос Рафика Хусейнова:

— Саша! Я сейчас на планерке доложу о твоих делах! Будем решать. Не отходи от телефона. Жди! Впрочем, погоди минуточку. Я тебя свяжу с главным. Тетя Катя, дайте главного. Тут такие дела!

Через минуту густой бас главного редактора:

— Ну как там у тебя, Александр?

У Дубравина екнуло под сердцем. Как же, сам главный соизволил с ним говорить. Надо не ударить лицом в грязь.

Старательно, но коротко доложил обстановку.

— На площади собралась казахская молодежь. Выступают супротив решения партии о назначении первым секретарем Колбина...

— Ясно! — протянул голос на том конце провода. — Собирай материал, наблюдай. Шли сообщения. Я сейчас свяжусь с ЦК. Будем решать. А ты, Александр, готовь заметку.

В «Молодежной газете» любой написанный журналистом текст — шла ли речь об огромной статье на полосу или о малюсенькой информации — все называлось коротким словом «заметка». Поэтому Дубравин об объемах переспрашивать постеснялся, но для себя решил: «На полную катушку буду готовить. Мой шанс прозвучать. И я его не упущу».

Он знал, что такие забойные вещи на страницах газет всегда согласовывались с отделом пропаганды ЦК партии. И хотя была объявлена гласность, практика эта не исчезла. Да и редакторы стремились «соломки подстелить». Но он надеялся, что такая тема пройдет. И пусть изрезанный, выправленный, искалеченный, но материал его попадет не в корзину, а на полосу.

Как известно, надежды юношей питают.

* * *

Много воды утекло с тех пор, как студента-журналиста Александра Дубравина «разбирали по частям на комсомольском шабаше» по наущению «комитета глубокого бурения». Для гэбистов его история и его судьба были так, пустячком. Обычной профилактической работой. Небольшой операцией. Для Дубравина же это был переломный момент. Его не исключили со скандалом из университета. Не посадили. Всего-то объявили выговорешник по комсомольской линии. Но напуганная администрация и «общественность» принялись методично и целенаправленно выживать его из универа. Для начала лишили смутьяна общежития. Стукачка комендантша однажды обнаружила в их комнате сломанный стул. И написала по этому поводу рапорт в деканат. Холуи подсуетились. И мстительный Конжакеев лишил его койкоместа.

Ладно, переживем.

Потом он, отличник, никак не мог сдать зачет по марксистско-ленинской этике. Получите хвост со всеми вытекающими последствиями: отсутствием стипендии и перспективой отстать от курса.

Дубравин — парень понятливый. Он собрался с духом. Поразмышлял. И подал заявление с просьбой о переводе на заочное отделение. Затем собрал свои студенческие публикации и подался устраиваться на работу в молодежную газету «Ленинская Смена». Там его публикации внимательно

прочитали. Долго хвалили. И заведующий рабочим отделом, лохматый и небритый заика поэт Василий Дмитроцкий, дал ему задание написать о соцсоревновании.

По этому заданию он сходил на авторемонтный завод в так называемую комсомольско-молодежную бригаду. Долго разговаривал со всеми. Слушал разные небылицы. Пока, наконец, бригадир этой самой молодежной не ляпнул в сердцах:

— Да нет тут у нас никакого соревнования. Просто работаем, как умеем!

Вооружившись этим признанием, Дубравин соорудил крепкую, забойную, критическую статью. И радостно помчался в редакцию. Но там повели себя как-то странно. Статью оставили у себя. Долго мурыжили. А потом сообщили ему, что она не подошла. А ставка спецкора, на которую он рассчитывал, уже занята.

Дубравин не отчаялся. Руки в ноги — пошел в другое издание. Потом в третье... Но странное дело. Его не взяли на работу даже в детскую газетку «Дружные ребята».

Местов не находилось.

Тогда он прошвырнулся по ведомственным журналам. Побывал в «Народном хозяйстве Казахстана», «Сельском...», «Здравоохранении»... Добрался даже до журнала кино «Жана фильм» — «Новый фильм». Обошел многотиражки... И ничего.

Только со второй попытки ему неожиданно улыбнулась удача. В журнале «Транспорт Казахстана». Главный редактор, тощий, беленький, седенький старичок, внимательно посмотрев публикации, предложил ему для начала полставки корреспондента технического отдела.

На другой день Александр Дубравин, приодевшись как можно официальнее — черный низ, белый верх, — вышел на работу в Министерство транспорта.

Большое, но безликое и казенное здание министерства было построено в тридцатые годы. И чтобы осовременить его облик, придать ему респектабельности и помпезности, в семидесятые к фасаду приделали выдвинутую вперед украшенную серыми мраморными колоннами пристройку. Получилось в общем и целом терпимо. Вот в этой-то пристройке на третьем этаже в трех разноразмерных комнатах и располагалась редакция. В первом кабинетике, заставленном огромным столом, вокруг которого расположились полированные рыжие шкафы, в старом, застеленном овечьей шкурой креслице сидел сам редактор.

Василий Яковлевич Акимов относился к руководителям прежней

закваски. Как говорили в старину: «Слуга царю, отец солдатам».

Семнадцатилетним мальчишкой он участвовал в большой мировой войне. И это навсегда наложило отпечаток на его характер. Работать журналистом начал в районной газете во время освоения целины. А потом приехал в Алма-Ату. И последнюю десятку сидел здесь в техническом журнале.

Возраст Василия Яковлевича уже пенсионный. Но министерство его держит. Потому что он некий раритет, достопримечательность: полный кавалер орденов Славы, участник Парада Победы в сорок пятом.

Когда он на праздники надевал свой серенький пиджачок, тяжело нагруженный орденами и медалями, то каждый встречный понимал — идет живая история страны...

Ну а журналом полностью занимался его молодой заместитель. Слава Рыбников, амбициозный, тощий, остроносый, очкастый тип с тяжелым и вьедливым характером. Карьерист до мозга костей. Но в хорошем смысле этого слова. Чтобы стать главным, он пахал сам и заставлял работать других.

В третьей, большой общей комнате сидели все остальные сотрудники. Типажи еще те! Отделом перевозок заправлял бывший комсомольский функционер Мишка Куделев. Важный, импозантный, всегда в костюмчике, он считал, что достоин большего. И поэтому постоянно подчеркивал, что тут он временно. На пересидке. В отделе у него пара бесталанных пьяниц. Вечно взлохмаченный, красномордый, белообрый Володя Пьянков. И еще Ваня Изжогин, фамилия вполне соответствует человеку.

Отделом ремонта заведовал некто Туманов. Человек бесталанный, желчный, морщинистый, выбившийся из таксистов в журналисты. И считавший должность редактора технического отдела верхом карьеры.

Вот под его начало в это, как показалось Дубравину, болото он и попал. «Осталось только заквакать!» — подумал Александр, когда его усадили в самом дальнем уголке большой, заставленной столами комнаты. Но делать нечего. Тем более что пять минут тому назад Акимов прозрачно намекнул ему на причины всех отказов в других редакциях:

— Ты, Сашка, парень молодой! Только начинаешь жить. Держи язык за зубами. Раньше на фронте за нами приглядывал Смерш, но и теперь есть кому приглядывать.

Уже через пару дней он понял, что тиной ему тут обрасти не дадут. В редакции шла борьба. И причиной этой борьбы был Славка Рыбников. Не зря пенсионер Акимов поставил его у руля. Вместо того чтобы сидеть тихо, ковырять в носу и ждать ухода редактора на пенсию, Рыбников развернул

бурную деятельность. Решил сделать из серого провинциального журнала конфетку.

Часто, грозно сверкая очками на остром носу, Рыбников говорил: «Неважно, где ты работаешь. В центральной партийной газете или в маленьком техническом журнале. Надо быть профессионалом! Надо быть лучшим!»

Конечно, старые зубры, давно потерявшие зубы, хотели другого. Тихо доживать в своем болоте, писать всякую абракадабру, халтурить налево и продолжать пьянствовать. Такие, как Изжогин, выработались до того, что брали старые заметки, статьи и переписывали их, вставляя только новые имена и названия предприятий. Подобного рода «творчество» вообще процветало в советской журналистике эпохи застоя. Но в ведомственных изданиях оно разрасталось особенно буйным цветом.

Опытные товарищи на первой же пьянке сразу предложили Александру последовать их примеру: начихать на все потуги зама и присоединиться к их теплой компании. Но Дубравин не нашел с ними общего языка. Не из того теста был сделан этот широкоплечий, здоровенный парень с высоченным лбом и глубоко посаженными внимательными карими глазами, чтобы просто протирать штаны. Он хотел дела.

Философия Рыбникова оказалась ему ближе. Можно сказать, они спелись.

Начали с самого простого. Решили изменить облик журнала. Пригласили молодую выпускницу художественного училища. И давай экспериментировать. Сначала с обложкой. Потом внутри издания. Пересмотрели рубрики. Уменьшили количество всяких технических описаний. Разделили журнал на две части. Ведомственную — с унылыми обязательными статьями. И для любителей. С описаниями новых моделей автомобилей, заграничных штучек, путешествий.

За красивыми слайдами ездили в Москву, покупали их в картотеке агентства печати «Новости». Много брало из переводных европейских изданий.

И уже через год — невиданное дело — Акимов назначил Дубравина ответственным секретарем. Третьим человеком в редакции. Прямо из корреспондентов. То есть его, по возрасту почти мальчишку, без связей и опыта, поставил над битыми журналюгами и редакторами отделов.

Конечно, заставить работать по-новому халтурщика Пьянкова или бесталанного Туманова было невозможно. Но долгая, нудная борьба за каждое слово, за каждую статью заставляла и их подтягиваться. А, кроме того, Рыбников правильно рассчитывал на Дубравина, разглядел в парне

талант, умение найти нужное слово, правильно передать смысл самого занудного технического текста. И Александр оправдывал его надежды.

Дубравин доводил до ума, практически полностью переписывая тексты, которые сдавались ему из отделов.

Он сидел в своем крошечном кабинете за массивным, занимающим почти все его пространство столом. И стол для него был тем же, чем в старину для каторжника тачка. По двенадцать часов в день возился он здесь с планами, макетами, верстками, текстами. Чуть шевеля губами и почесывая кончиком ручки в моменты поиска нужных слов крутой высокий лоб, правил и переписывал все.

Славка Рыбников метил и в ЦК. Но так как у него не было родственных связей и блата, то приходилось вкалывать. Кроме журнала он постоянно занимался аналитической работой для партийных органов. Позвонят из ЦК главному редактору. И говорят: «Нужен толковый грамотный журналист на несколько дней». Отказать нельзя. И он отправляет своего зама.

В отделе пропаганды его встречают как родного. Ведут в библиотеку. Дают там стол, стул. И огромную пыльную подшивку какой-нибудь районной газеты «Новый путь». Он читает ее. Делает анализ газетных публикаций. Что хорошо. А что плохо. Пишет отчет. Сдает его инструктору.

Тот из десятка таких отчетов выбирает факты. Делает свою записку. Она идет вверх. Заведующему сектором. И так далее...

А на пленуме секретарь по идеологии озвучивает в своем докладе факты, которые накопил какой-нибудь безвестный привлеченный журналист.

Ходить на такие поручения из редакций не любили. А вот Рыбников обожал. Зная все номенклатурные тонкости продвижения людей по карьерной лестнице, он понимал, что без поддержки в ЦК компартии никакой высокой должности ему не занять. И добился своего. Его взяли в отдел пропаганды инструктором.

Ну а молодой да ранний Дубравин стал заместителем. В общем, такой карьерой можно гордиться. И он гордился явно. Но втайне мечтал о другом. Хотел стать корреспондентом центральной газеты. Более того, он твердо знал, что рано или поздно это случится. Как? Непонятно. Почему? Тоже непонятно. Тем более что при приеме на работу Акимов объяснил, почему его не взяли в другие редакции.

Какая уж тут центральная молодежная газета! Сиди тихо. Не рыпайся.

Но он верил.

А в стране тем временем началось шевеление. К власти пришел

«Мишка меченый». Были объявлены перестройка, гласность, права человека и прочие ласкающие слух вещи.

Дубравин никуда не рыпался. Вкалывал от души и ждал.

И вот однажды его ни на чем реальном не основанная мечта начала сбываться. Из центрального комитета позвонил Славка Рыбников и сообщил новость:

— Знаешь, старик! Тут у нас в гостях заведующий корреспондентской сетью центральной молодежной газеты из Москвы. Они ищут собственного корреспондента на Казахстан. А найти в редакциях не могут. И уже давно. Вот он и зашел к нам в отдел пропаганды. Чтобы поспрашивать о молодых. Я назвал твою кандидатуру!

«Есть! — мелькнуло в голове у Дубравина. — Это случай, который поменяет всю мою жизнь. Дождался!»

* * *

Вечером после работы, купив для разговора золотисто-коричневую бутылку четырехзвездочного «Арарата», Дубравин появился в закрытой гостинице центрального комитета. Гостиница называлась «Достык», что в переводе с казахского на русский значит «Дружба». И оказалась шикарнейшей. Паркет, черные дубовые двери, чешские люстры, солидные кожаные диваны, импортная сантехника, вышколенная обслуга. Здесь останавливались исключительно партийные бонзы. А заведующий корреспондентской сетью центральной молодежной газеты оказался простым и понятным мужиком. Щуплый, невысокого роста, с морщинистым, побитым оспой лицом и светло-голубыми, все понимающими глазами.

Он никак не вписывался в интерьер элитной, партийной гостиницы.

Увидев его, Дубравин, доселе сомневавшийся, облегченно вздохнул: «Правильно я сделал, что взял коньячок».

Они немедленно уговорили бутылочку. А через неделю Дубравина уже вызвали в Москву.

Условия оказались простыми. Надо было доказать, что он способен работать на высоком уровне. И для этого написать пару «гвоздей» — статей, которые вызовут резонанс. Тему предлагали любую.

Дубравин взял письмо из текущей редакционной почты. И поехал в северный город Великий Устюг в речное училище, где процветала дедовщина. Там ему пришлось поработать, можно сказать, следователем, выбивая из курсантов правду. Но отступать уже некуда. И заметку он сделал. Конечно, ее долго правили и кромсали в отделах и секретариате.

Но, в конце концов, она вышла в свет.

И однажды утром на экране телевизора Дубравин увидел багрово-толстого генерала, который, размахивая газетой с его статьей, вещал:

— А вот у нас в армии такого нет!

Это был резонанс. И сладкий вкус славы первооткрывателя темы. Ему захотелось еще. Работая в своем техническом журнале, он знал такое, чего обычные журналисты не ведали. И рискнул «вынести сор из избы». Рассказал, как миллионами расхищается выручка в автобусах дальнего следования. Так сказать, «вскрыл механизм».

Скандал разгорелся еще тот! Все министерство гудело, как улей.

Так он попал во всесоюзную молодежную газету. Собственным корреспондентом.

Тому минуло два месяца.

Но попасть — это полдела. Надо проявить себя. Доказать, что ты не зря занимаешь пространство под солнцем.

А доказывать приходилось в ежедневной конкурентной борьбе за место на полосе. Полос всего четыре. А желающих напечататься — сотня.

Никогда еще Дубравин не вкалывал так, как сейчас. Журнальная каторга сменилась «соляными копиями» и «урановыми рудниками», где, по меткому выражению известного поэта, «в грамм добыча, в годы труды». Приходилось ломать себя, биться над каждым абзацем, над каждым словом, чтобы выйти на новый уровень письма. Стать мастером.

Правили его беспощадно. В молодежную газету со всего Союза собирали самых амбициозных, самых лучших. А они не стеснялись, давая новичкам оценки.

Он за это время уже успел съездить по тропе наркоманов в Чуйскую долину, поучаствовать в съезде местного комсомола, написать очерк о детском доме, статью о погибшем в степи чабане-подростке.

Но это была текучка. А хотелось прозвучать. И конечно, увидев утренний митинг, он сразу профессионально зацепился: «Тема или не тема для публикации».

Идет второй год перестройки. Отшумели многие почины: «Экономика должна быть экономной», «Ускорение», «Борьба с пьянством и алкоголизмом». Теперь вот наступила пора «Гласности». Но гласность тоже имеет свои границы. И по сей день редакторы все еще оглядываются на власть. В издательствах сидят цензоры. И правят то, что считают нужным.

В общем, обретение правды не происходит в один момент. Это процесс. Как для пишущих, так и для читающих. Напишет корреспондент статью,

вскрывающую какую-нибудь очередную мерзость. И ждет. Дадут по башке? Или нет? Если не дали, значит, можно копать дальше. Дубравин понял это по своей первой публикации о дедовщине.

Тогда не дали. И теперь он рвался в бой. Но рискнет ли редакция поднимать такую тему, как эта? Неожиданное национальное выступление казахской молодежи на площади.

* * *

Сейчас, окрыленный разговором с редактором, он сел к столу и взялся записывать свои наблюдения в дневник событий:

«Семнадцатое декабря. 1986 год. Мне трудно оценить численность демонстрантов, но, на мой взгляд, на первом этапе их было всего ничего. Может, человек с триста. Но постепенно днем стали подходить все новые и новые. Встретил там Казакова. Он под видом фотокорреспондента вел фотосъемку демонстрантов. Со мной поздоровался так, по-быстрому. И сразу отошел. Сколько же их тут сейчас, сотрудников в штатском? Наверняка до хрена. А вообще, нагнали милицию, войска.

В 11.30 демонстранты организованно покинули площадь. Через пару часов вернулись. Войска оцепили ее. И стали блокировать. То есть никого не впускать и не выпускать. И тут начались стычки. Сначала по улице Мира, со стороны КазГУграда вошла „с боем“ большая колонна. С тысячу человек. С красным и белым флагами. Они скандировали: „Ауельбеков! Назарбаев!“

Из разговоров вокруг да около стало понятно, чего они хотят, чтобы убрали Колбина и поставили своего местного!»

III

Пока жив человек, он помнит все. Если не наяву, то во сне. Справедливость этой истины Амантай Турекулов познавал теперь каждую ночь.

Мирно сопит рядом на широченной деревянной кровати беременная жена Айгерим. Тихо капает на кухне из крана вода. Все дышит покоем и благоденствием в элитном номенклатурном районе в центре Алма-Аты. И только он вскидывается и крутится в горячечном, бредовом сне. Ах, какой же это сон! В разном обличье — то восточной красавицы, то рыжей девчонки-подростка — приходит к нему она. Его первая любовь.

И как бы она ни выглядела во сне, он твердо знает — это Альфия.

Поцелуй. И еще поцелуй. Какая-то невыразимая радость разливается в груди. Счастье! Счастье! Полет! Душа захватывается от радости.

И горечь пробуждения. Где я? Зачем все это? Как получилось, что ее больше нет? А есть рядом вот эта женщина. Красивая. Холеная. Дебелая. И холодная, как лед.

Эх, все зря!

Он открывает глаза. Пять утра. Снова бессонница: «Что час грядущий нам готовит? Выйдут или нет?» Весь вчерашний короткий световой день прошел у них в обкоме в шепоте и разговорах. Никто не работал. Обсуждали только новость о преемнике Димаш Ахмедовича. О Колбине. Впрочем, не все обсуждали. Он вечером побывал в двух общежитиях, где гудели студенты. А его верный Ербол мотался по ним почти до двух часов ночи.

И где он теперь? На площади? Дома?

Амантай Турекулов, заведующий орготделом обкома комсомола, поднялся с кровати и прямо в синих плавках побрел на большую кухню. Сделал себе черного чая, достал свой доклад на пленуме. И, прихлебывая горечь, принялся внимательно читать его. Резкий звонок телефона заставил его вздрогнуть: «Началось!»

В трубке какое-то сопение. Потом скрежет. Возня. И взволнованный голос Ербола, говорящего почему-то на казахском:

— Абеке! Вышли наши! Человек триста!

Он вскочил со стула. И начал лихорадочно одеваться. Потом остановился. Присел на стул. Дело сделано! Толчок дан. Не надо спешить. Теперь просто ждать, куда кривая вывезет.

Вспомнил вчерашний хитрый разговор с дядей Маратом. Намеками и полунамеками осторожный, дипломатичный дядя постарался объяснить ему сложность политической ситуации. И как предположение высказал мысль о том, «что вот если бы незрелая молодежь, не понимающая истинного смысла решения Политбюро, вышла с протестами, то может быть... Все может быть...» Долгие годы, проведенные в номенклатуре, научили Амантая хорошо понимать «тонкий смысл намеков на толстые обстоятельства».

Он дождался, пока солнечный свет окончательно развеет декабрьскую, хватающую за душу, гнетущую предутреннюю темноту. Чмокает в щеку лежащую на измятой постели ленивую жену. И выходит из подъезда на мороз, где уже ждет его черная «Волга».

* * *

В отличие от всех тех жителей столицы, кто, проснувшись ранним декабрьским утром, с недоумением пялится из окон на новые лозунги и призывы, Амантай Турекулов понимает, о чем идет речь. Годы интриг и номенклатурной борьбы не прошли для него даром. Давно уже он знает тайную подоплеку многих неожиданных для всех и ожидаемых для казахской элиты событий. Вспомнить хотя бы недавний марш ветеранов на Алма-Ату.

Когда наверху, в Кремле, уже совсем было решили создать в Казахстане автономную область для немцев, когда уже подобрали руководство, поделили должности, вдруг вспыхнуло недовольство среди казахских ветеранов труда и войны. На стихийных митингах и сходах орденосцы, заслуженные люди, дедушки и бабушки выступали с лозунгом: «За единый и неделимый Казахстан!» Старики грозились пойти маршем на столицу.

«Глас народа — глас божий». Пришлось кремлевским старцам уступить. Автономии не получилось.

Амантай уже тогда хорошо знал, откуда у этой кампании росли ноги. Ведь он был любимым племянником большого партийного бонзы.

Да и сам он сегодня кое-что из себя представляет. Заведующий орготделом алма-атинского обкома комсомола — фигура знаковая. Кадровые дела и аппаратные интриги без него не обходятся. Но дело не только в должности. Он уже врос в элиту. Стал своим на этом празднике жизни.

Сумел он найти общий язык и с низовыми комсомольскими функционерами. Понял: «С волками жить — по-волчьи выть».

Непросто давалась эта наука. По сей день он с юмором вспоминает, как ездил на Аральское море в командировку.

...Бешбармак на огромном блюде был знатный. Жирный, вкусный, дымящийся. Видно, из молодого свежего барашка. Слюнки у всех так и потекли. Сели. Выпили по сто грамм огненной воды...

Напрасно Амантай искал ложку или вилку. «Бешбармак» в переводе с казахского на русский означает «пять пальцев». Хозяева, оправдывая этот перевод, закатали рукава рубашек до локтей. И начали мощно метать, запуская руки в гору мяса и теста.

Амантай, как увидел, чуть не поперхнулся. Но удержался.

А вот когда секретарь райкома, высунув багровый язык, принялся облизывать от локтя к запястью текущий по рукам жир, его едва не вырвало. И он, прикрыв глаза, с минуту молча сидел за столом. Пока не притерпелся. А уж когда вмазали по второй и по третьей, то совсем освоился и даже сам попробовал есть как все...

Свой. В отличие от многих городских молодых казахов язык родной знает. Народа не чуждается. А бывало, на тое или вечеринке возьмет заведующий отделом домбру. И начнет тянуть уныло: «Орден дай! Орден дай! Орден — нету, медал дай!» Тогда Амантай подойдет потихонечку, попросит у него домбру. И как врежет. Искрометно, весело, с шутками, прибаутками. Ну настоящий акын. Хоть в айтысе участвуй.

Такой вот он, заворг Амантай Турекулов. Не кичится своим особым положением. Хотя все понимают, чей он родственник.

И авторитет у него от этого теперь, как у секретаря ЦК.

Дядя, сдержав обещание, подобрал ему подходящую жену. Из своего жуза. Красавица Айгерим — его верная подруга. И опора в жизни. Ничего, что нет любви. Любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда.

Отец ее зампредсовмина. А родня многочисленна и дружна. Квартирка в центре Алма-Аты — их подарок молодоженам.

Но и он не лыком шит. Активно участвует в делах. Помощник.

Сейчас настало время определять — кто будет хозяином республики. Борьба идет уже давно. А обострилась она с того момента, как умер Брежнев. Он, Амантай, тогда еще совсем мальчишка на побегушках, часто видел собиравшихся в доме дяди достойных людей. Все понимали, что после ухода своего другана в мир иной Кунаев вот-вот получит от новых хозяев Кремля «черную метку». Но и Андропов, и Черненко правили недолго. И поэтому многоуважаемый Димаш Ахмедович просидел больше года даже при Горбачеве. Но сколько веревочке ни виться, а кончик будет.

Конечно, к верховной власти в республике рвутся разные кланы. И

строят они свою тактику по-разному. Южанин, секретарь обкома из Кзыл-Орды Ауельбеков пытается набрать очки демократизмом и близостью к народу. Для этого демонстративно сам ходит в магазин за молоком.

Молодой, да ранний секретарь ЦК по идеологии Камалиденов интригует и пытается со своим кланом устранить соперников, собирая компромат на них и заводя уголовные дела.

Назарбаев старается ни с кем не конфликтовать. А просто, пользуясь поддержкой всесильного родственника, быстро и весело двигаться по карьерной лестнице. К сорока годам он уже дорос до поста Председателя Совета министров республики. А отсюда уже можно свободно допрыгнуть и до самого высокого кресла.

Это понимают и конкуренты. Атака начинается неожиданно. Копают под товарища Нурсултана Абишевича, его верного нукера — министра автомобильного транспорта Анатолия Родионовича Караваева. Как предлог используют развернувшуюся кампанию по борьбе с коррупцией.

Цепочка выявлялась такая. От водителей междугородних автобусов денежные ручейки текли к директорам автопарков. Те передавали их начальнику управления. А тот носил их наверх, министру.

А вот что делал с ними министр? Это и хотели узнать следователи. Может, покупал дорогие подарки вышестоящему начальству? Или устраивал для него богатые пирушки?

Дело получилось громкое. На весь Союз.

Но Караваев стоял на своем твердо. Никого не сдал. Никого не замарал...

Так что борьба за наследство велась по всем направлениям. Сцепившись в смертельной схватке, претенденты даже как-то забыли, что им надо восхвалять мудрость и величие самого Кунаева. Кроме того, хотя и молодой, но уже опытный боец, Назарбаев понимал, что его слишком часто связывают с Динмухамедом Ахмедовичем. Для того чтобы Кунаев не потянул его при отставке на дно, надо было оттолкнуться от тонущего, стареющего, теряющего московских друзей родственника.

О том, что произошло дальше, ходило много разных слухов. Марат Карибаевич как-то сказал Амантаю, что, скорее всего, Назарбаев договорился с Кунаевым о хитром маневре. И по взаимному согласию смело критиковал его на шестнадцатом съезде Компартии Казахстана. Это было нужно, чтобы сохранить власть за кланом, в котором, кстати говоря, не последнее место занимали и они с дядей, славные представители рода жигитеков.

Договориться-то они, может, и договорились. А может, и нет. И

Назарбаев просто сам решил «покинуть тонущий корабль», забыв о том, что совсем недавно клялся в вечной верности вождю.

Но старый — он что малый. Когда Нурсултан начал поливать Динмухамеда Ахмедовича с высокой трибуны съезда — взыграло ретивое. Кунаев очень сильно обиделся. И видимо, решил: не видать вам моей должности как своих ушей. И пошел раздрай.

В ноябре восемьдесят шестого Кунаев подал в политбюро ЦК КПСС заявление. Прошу, мол, освободить от должности. Орготдел поинтересовался у него: «Кто может вас заменить?» И предложил ряд кандидатур местных товарищей. Однако, когда о них спросили мнение Первого, тот дал отрицательный ответ, заявив, что в республике подготовленных людей нет. И на пост первого секретаря надо искать «человека со стороны».

Орготдел ЦК КПСС нашел в городе, где родился великий Ленин, подходящего кандидата — первого секретаря обкома партии Геннадия Васильевича Колбина. И прислал его в Алма-Ату.

Но лучше бы он сразу бросил его в растревоженное осиное гнездо.

Обидно, понимаешь! Работали-работали. Старались-старались. И такой облом.

События начались сразу после пленума, где дорогого, многоуважаемого Димаш Ахмедовича единогласно освободили от должности. В зимних сумерках из центральных, престижных районов города двинулись на окраины к студенческим общежитиям красивые, комфортабельные «Волги». В них сидели очень уважаемые, хорошо одетые люди. Они собирали в комнатах студентов и студенток. И заводили речь об ущемленном национальном достоинстве. О том, что народ оскорблен самоуправством центра.

В одной из таких машин ездил и он, Амантай Турекулов. В общежитии Казахского педагогического института все прошло хорошо. Его окружили аульные «кызымки». Слушали внимательно. Сказали, что выйдут завтра. А вот когда они подъехали на КазГУград к новому общежитию юридического факультета, где когда-то учился и сам Амантай, то там их уже ждали дружинники с милиционером во главе.

Так что пришлось срочно убежать. Садиться обратно в «Волгу». И — ходу!

Но главное было сделано. Спичка поднесена. А горючего материала хватало.

* * *

Гласность, провозглашенная Москвой, приняла в национальных республиках особые формы. В первую очередь все стали вспоминать старые обиды. И в Казахстане в аульных юртах и городских квартирах заговорили о том, что язык погибает, обычаи забываются, молодежь утрачивает корни. Обидно! Да? Дальше — больше. Вспомнили тридцатые годы, когда коммунисты морили голодом всю страну. Амантай, кстати говоря, тоже читал секретный доклад по демографии. Половина казахов погибла тогда от голода. Пятнадцать процентов безвозвратно откочевали за пределы республики. Опустели стойбища. Брошены отцовские юрты. Общая убыль составила три миллиона жизней.

А потом все ехали и ехали переселенцы. То в ссылку, то на целину. Казахи оказались в меньшинстве на собственной земле.

В городах их и сейчас вообще мизер. В Алма-Ате двадцать процентов. В Усть-Каменогорске, где родился и вырос он сам, и того меньше. Девять.

Обидно? Да!

А Амантай, он хоть и коммунист, и комсюк, и функционер, а все равно казах. За родной народ-то болеет. Особенно за молодежь. В последние годы из аулов и сел она потянулась в города. За знаниями. На учебу. А города их встречают неласково. Тут свои порядки — свои обычаи. Хорошо, если есть родственники. Они помогут. А если нет? Вон, как у его бывшего водителя. Ербола. Тоже недавно женился. У них с Берганым родилась дочка. А жить негде. Сняли они комнатку на первой Алма-Ате. И что же? Комнатушка сырая. Ребенок без конца болеет. На той неделе приезжала теща из Кзыл-Орды. Устроила грандиозный скандал. Заявила, что ее дочка с внучкой не могут жить в таких условиях. Что заберет она их к себе обратно. На юг.

А где он возьмет им хорошее жилье? Раньше русские бабки сдавали комнаты. Но сейчас идет кампания по борьбе с нетрудовыми доходами. Бабульки боятся. Цены взлетели до небес. Общагу семейным не получить. Вот и маются они на такой, с позволения сказать, квартире.

Да и то хозяйева бурчат: «Понаехали тут. Мусор где попало бросают. Родственники без конца толкуются...»

В собственной стране, в столице чувствуют себя молодые незваными гостями, ущемленными, униженными. А кто виноват? Понятное дело. Русские! Они все захватили.

Трудно и ему, Амантаю. Непросто дается правда. Но постепенно, шаг за шагом меняет он свое мировоззрение. Но как же мучительно сложно понять, оценить по-новому прошлое и нынешнее. Особенно когда дело касается твоих друзей детства.

Где ж она, та правда, которую исповедует его отец, которой учили его в школе? Знают ли ее старшие? Те, кто призвал этих молодых ребят выйти сегодня на улицы.

* * *

Он вышел на воздух. Огляделся.

Разноцветные колонны демонстрантов организованно возвращаются из города. Но заснеженная площадь уже взята в кольцо синими и серыми шинелями. А прилегающие улицы загорожены тяжелыми грузовиками. Однако молодежь это не останавливает. Она просачивается между машинами. Стягивается ручейками к трибуне. Если милиционеры препятствуют проходу, их оттесняют, отталкивают. Там и тут вспыхивают ожесточенные стычки. Толпа угрожающе растет, набухает, расплзается чернильным пятном, занимая все свободное место.

Амантай стоит сбоку, в сторонке. Только что они провели заседание в своем стеклянном аквариуме на Комсомольской улице. Первого секретаря не было. Он в Москве. Поэтому решение принимали сами. Коллегиально. Идти к людям. Разъяснять ошибочность их позиции.

Но трудно ему, Амантаю. Только вчера он этим же людям говорил о необходимости выйти. А как сегодня сказать обратное? Лучше уж помолчать. Сделать вид: «Я не я. И лошадь не моя!»

А действие на площади разворачивается своим чередом. Если с утра демонстранты боялись, жались друг к дружке, то теперь, когда численность их растет бешеными темпами, они смелеют. Гулом и улюлюканьем встречает молодежь появление вверху на огромной красно-коричневой гранитной трибуне членов Бюро ЦК Компартии Казахстана. В пыжиковых, норковых шапках, дорогих, солидных дубленках и пальто, с сытыми круглыми лицами — эти люди разительно отличаются от тех, что собрались внизу, — в куцых куртяшках, джинсиках, лыжных шапочках, с обтянутыми кожей скулами и горящими, жаждающими глазами.

Один за другим выходят к микрофону большие дяди. Сначала выступает формальный глава государства — председатель Верховного Совета республики. Он с ходу объявляет требования демонстрантов незаконными и необоснованными. Действительно, по идее назначение первого секретаря — это чисто внутривнутрипартийное дело, которое ну никак не касается тех, кто сейчас топчется на морозе. Но люди знают, кто в доме хозяин. И посему готовы стоять до конца. Так что все призывы мирно разойтись они игнорируют. И напрасно с трибуны раздаются то уговоры, то угрозы. Выступления членов Бюро ЦК Компартии Казахстана

Камалиденова, Мендыбаева, Назарбаева они уже не слушают. Встречают улюлюканьем, свистом. А потом из толпы по команде, как белые птицы, взлетают стаи из сотен снежков. И бьют в трибуну, в норковые шапки, в финские дубленки, в лица, во рты.

Толпа сгоняет с трибуны тех, чьи имена только что скандировала, возносила, восхваляла...

Начинаются стычки. Подвыпившие демонстранты бьют солдат оцепления, милиционеров, срывают с них шапки. В ответ милиция нападает на толпу. Хватает отдельных несознательных граждан. Тащит их за трибуну. В общем, пошло мочилово...

Надо разрядить обстановку. Надтрибунники решили предоставить слово демонстрантам, подтрибунникам.

Вылезла на свет божий к микрофону какая-то баба с ребенком. Что-то невнятно пробормотала.

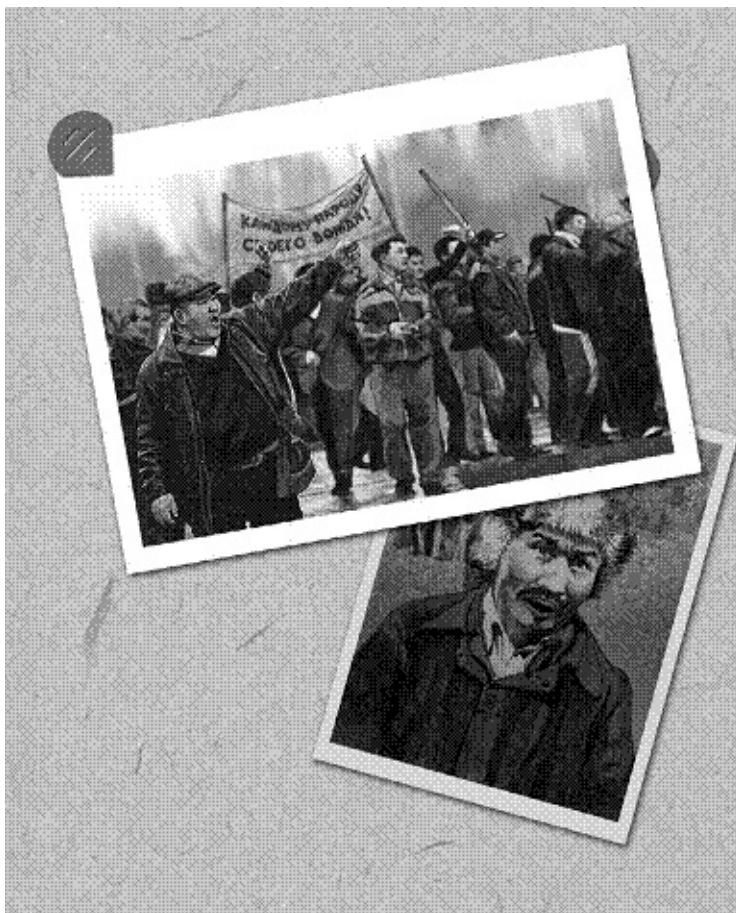
Никто ничего не понял.

Фокус не удался.

С этого момента дела пошли вразнос.

Амантай стоит в нерешительности. Как комсюк он должен уговаривать молодежь разойтись. А как человек — он понимает и сочувствует.

Так и стоит. Раздумывает. А толпа тем временем разбивается на небольшие группы. И по всей площади идут свои митинги.



Наконец Амантай решается. И подходит к одной из таких куч. И вдруг видит, что в середине ее стоит не кто иной, как его верный усатый Ербол. В рыжем лисьем малахае с завязанными ушами и дубинкой в руках он выглядит воинственным и решительным. Набывчившись, крепко упершись широко расставленными ногами в землю, он кричит по-казахски, пересиливая динамик, откуда несется бравурная музыка:

— Казахстан богат! А мы бедны. Куда все уходит? Родители в аулах производят мясо, молоко. Растят хлеб. На нашей родной земле никто с нами не считается. Ни в одной республике нет первого секретаря другой национальности. Разве не найдется в Казахстане достойного, честного и умного человека, связанного корнями с народом, знающего его быт, культуру, нужды, интересы?! В центре считают, что мы неспособны выдвинуть руководителя из своей среды? Это оскорбление всему казахскому народу!

Толпа вокруг Ербола начинает кричать. Один красномордый, пьяный выскакивает в круг с дубиной наперевес, оглядывается мутными глазами:

— Ур! Бей их! Гадов! Опричников! Смотрите, они окружают нас!

Действительно, к площади подтягивается серо-зеленая колонна

курсантов-пограничников, судя по зеленым погонам с желтой окантовкой.

Стычки ужесточаются. И учащаются. Из-за трибуны солдатам начинают подавать щиты и дубинки. С трибуны пытаются еще выступить, но ситуация явно вышла из-под контроля...

Амантай пробует пробиться к возбужденному Ерболу, сказать пару слов, но понимает, что в такой обстановке можно получить и по мордасам.

Да и как-то нехорошо получается. Вчера он звал его на баррикады. А сегодня — спасаться бегством. Не поймет его Ербол. Простой он очень для этого.

Поэтому Амантай снова выходит из толпы за оцепление. Теперь уже ничего не зависит от них. Действие идет по своему сценарию. Снежная лавина двинулась. И остается только ждать развязки...

IV

Лейтенант госбезопасности Анатолий Казаков вообще не спал в эту ночь. Он дежурил по управлению. В форме. С оружием. И когда под утро стали поступать неожиданные звонки, не растерялся, а действовал строго по инструкции. Как положено. Фиксировал. Докладывал.

Надо сказать, что какие-то непонятные движения в студенческих и рабочих общежитиях просматривались в оперативных сводках КГБ еще вчера. Но никто на них особо внимания не обращал. Руководство, наверное, думало — ну, поговорят, пошумят. Но выйти не рискнут. И когда стали поступать первые сообщения с площади, все как-то даже подрастерялись. Но потом осознали масштаб бедствия. И кинули наличные силы к месту событий.

Так что он тоже здесь. После дежурства. На ногах. В штатском. Но с оружием.

Их задача простая. Собирать информацию. Во всех видах. Снимать события и тех, кто в них участвует, на пленку. Слушать. Смотреть. Фиксировать. Что они и делают.

К обеду его отзывают с площади. Его непосредственный начальник майор Терлецкий собран и решителен:

— Далеко не отлучайся! Будь при мне! Наша задача — охранять штаб. Руководство. Должны прилететь ответственные работники ЦК КПСС, первые заместители министра внутренних дел, Генерального прокурора и Председателя КГБ. Елисов, Сорока и Бобков.

Через час они выезжают в аэропорт. Несколько «Волг» с правительственными номерами и охраной.

Самолет из Москвы ждут долго. Приходит он полный народа. Кое-как разместились. И тронулись по тихим заснеженным улицам города обратно.

На площади идет митинг. К ней подтягиваются новые группы молодежи. Так что их колонне, чтобы попасть в штаб, приходится объезжать опасные места по каким-то лачужным, с разбитым асфальтом улицам старого города. Но, слава Богу, добрались без происшествий.

Уже в машине из разговоров начальствующих людей Анатолий понял, что к Алма-Ате перебрасываются войска из других районов страны.

В здании ЦК тихо. Только доносится с площади гул толпы. Пустые, застеленные красными дорожками коридоры. Ряды аккуратных деревянных дверей с табличками. И почти никого из аппарата.

Прибывшее начальство и местные вожди размещаются в огромном кабинете главного. За длинным деревянным столом.

Начинается совещание.

Охрана остается в коридоре и соседних кабинетах. Анатолий и еще двое молодых, спортивных, поджарых ребят из столицы нашей Родины города-героя Москвы сидят в комнате рядом со штабом, бесцеремонно бросив на канцелярские столы с бумагами автоматы и бронежилеты. В окно с высоты птичьего полета ему видно все, что происходит на площади.

Разговор с москвичами не клеится. И он молча думает о происходящем: «Да как они могут? Что они понимают в кадровой политике? Республика погрязла в коррупционных скандалах. Люди устали от постоянного взяточничества и кумовства. Надо наводить порядок. А местные кадры, они все повязаны. Все родственники. Кумовство и жузовщина. Все Абеке, Береке... Разве такое мыслимо на семидесятом году советской власти?...»

Мимо их комнаты потянулись участники совещания. Один из них, тучный, полный, в генеральской милицейской форме цвета маренго, резко жестикулируя фуражкой с красным околышем, отчетливо говорит другому:

— Раз ничего не можем сделать, надо разгонять.

«Вот так вот. Правильно, — одобрительно думает Казаков, вставая со стула и выглядывая в окно. — Пожестче, а то развели антимионию». Он, правда, не знает, что такое антимиония, но слово ему нравится, и он даже повторяет его вслух:

— Антимиония!

Оба сидящих рядом оперативника вопросительно смотрят на него... А потом недоуменно переглядываются между собой.

* * *

Тогда, после стажировки на выставке «Фотография в США», он твердо решил: «Обязательно вернусь в Алма-Ату. На работу».

Но надо было еще закончить «вышку» в Москве. Получить назначение. Поэтому он старался изо всех сил.

И преуспел.

Отобрали из их выпуска сначала пограничников, потом связистов, наружку. Ушли давно уже распределенные ребята в службу внешней разведки. Настал и их черед. Прочитав приказ, он аж заскакал на одной ножке и с ходу принялся обнимать своего дружка Алексея Пономарева:

— Леха! Я попал!

Рыжий взял из его рук белый листок с текстом и хмыкнул, морща конопатый нос:

— Направить в распоряжение республиканского комитета. Ну и что из этого следует?

— Как что следует? Я рапорт подавал...

— Ну и что радуешься? Вот я могу радоваться. В Москве остаюсь. А тебя, может, еще куда кинут. Из города.

— Да не понимаешь ты! Я хотел. И получилось!

— Ну-ну. Давай-давай!

Но он действительно остался в Алма-Ате. В пятом управлении. В отделе, занимающемся молодежными делами.

Как и положено, его использовали первое время «на подхвате». Есть такая форма стажировки молодых сотрудников. Делают, что прикажут. Едут, куда укажут. Пишут, что закажут. Помогают, одним словом. Через год допустили до самостоятельной работы. Стали внедрять в одно из отделений по наблюдению за молодежью.

Пригодилось то, чему учили в «вышке». Особенно навыки вербовки агентуры. Потому что везде ему нужны свои люди. Платные и бесплатные источники информации.

Каждый оперативный работник комитета обрастает такой сетью. И она опутывает всю страну. Так что к любому в принципе могут подобраться. О любом собрать данные.

Конечно, комитетчик не тыкает каждому в нос свои корочки. Они для особых случаев. Поэтому Анатолий тоже обзаводится документами прикрытия. И по мере надобности представляется то комсомольским работником, то фотокором. А иногда и милиционером. Это кому как нравится. А молодому лейтенанту добавляет собственной значимости.

Ценит он и развитое в конторе чувство корпоративной солидарности. Если хотите, братства гэбистов. В любой точке необъятного Союза он может рассчитывать на помощь товарищей. В стране тотального и вечного дефицита это дорогого стоит. Место в гостинице, билет в разгар летнего сезона, заграничное лекарство — все могут сделать люди, курирующие ту или иную сферу.

Да и государство их не забывает. Квартиры дает как военным. А оклады даже повыше. И система старается. Работает. Собирает информацию. Анализирует. Агенты строчат донесения. Оперативники пишут отчеты. Начальники отделений систематизируют информацию. Подают справки в отделы. Там все рассматривают, анализируют, обобщают. Бумажные струи вливаются в поток, текущий напрямик в управление. И так все выше и выше, и выше... До самого генерального, которому председатель комитета периодически кладет на стол свою черную папочку с выкладками. И рекомендациями.

Кладет-то кладет. Но выступление казахской молодежи в декабре восемьдесят шестого проморгали.

На все праздники усиливали дежурство. На любой чих откликались. Думали, муха не пролетит незамеченной.

И... облажались. Да еще как! Не там копали. Гнобили подпольных немецких пасторов. Боролись с доморощенными еврейскими диссидентами. А прохлопали казахских смирных и лояльных националистов.

Не обращали внимания на горючий материал, скапливавшийся под боком в студенческих общагах и аудиториях. А теперь вот рвануло. Да как рвануло! Дым коромыслом. Искры во все стороны. Пух и перья летят.

* * *

«Сиди тут. Наблюдай! А там уже полная задница», — думает про себя Казаков, периодически выглядывая за окно штаба.

Если с утра на пустующей площади толпа была размером с усыхающее Аральское море, то теперь она разлилась полноводным Канчагайским водохранилищем, которое волновалось и билось о берега оцепления. Анатолий прикидывает взглядом: «Тысяч десять есть точно. Что с ними сделаешь теперь? О! Задвигалась цепь. Зашевелилась».

И оперативники дружно прильнули к окну.

...Солдаты в касках, со щитами и дубинками двинулись на толпу демонстрантов. Но не тут-то было. Наиболее активные стали обороняться, подавая пример остальным. Они отрывали коричневую мраморную плитку,

которой облицованы трибуны, сиденья, здания. Разбивали ее. И швыряли в солдат и милиционеров. Куски плитки с острыми, как бритва, краями оказались в этой битве идеальным метательным оружием.

Наступил зимний вечер. Но побоище не прекращалось. Волна за волной двигались солдаты на толпу. И каждый раз под каменным градом откатывались обратно. В вечерних сумерках при свете прожекторов и фонарей то там, то здесь вспыхивали рукопашные схватки.

Машины «скорой помощи» непрерывно увозили пострадавших с обеих сторон.

В конце концов властям стало ясно, что таким методом молодежь не изгнать. На площадь выехали машины, груженные спецсредствами: шумовыми гранатами, сигнальными ракетами, дымовыми шашками, боевыми патронами, баллончиками с газом. Они остановились недалеко от трибуны. Наготове. Но когда на них тоже обрушился град камней, охрана разбежалась в разные стороны.

Демонстранты бросились вперед. Облепили машины, как муравьи.

И вот все спецсредства оказались у парней в руках.

И пошла потеха. Взлетали в небо ракеты. Взрывались шумовые гранаты. Хлопали брошенные в огонь боевые патроны.

Неожиданно выключился свет. Горели лишь прожектора, подожженные легковые машины и деревья.

В этот момент на демонстрантов двинулись двадцать красных пожарных авто. Из лафетов ударили струи ледяной воды.

И снова молодежь не разбежалась. Устояла. Выручили все те же куски плитки. Тысячи их застучали по кабинам и бочкам. Вылетали стекла. Лопался металл обшивки.

В мгновение ока пожарные машины были повреждены. И остановились.

Тут же две из них загорелись. Выскочившие пожарные получили ранения. Красная кровь лилась на асфальт.

Анатолий Казаков, возбужденный и разочарованный, сидел у окна, когда ракета ударила в стекло кабинета. Пробила его. И попала прямо на ковер, лежавший на полу. Ковер загорелся, отчаянно дымя и разбрасывая искры. Все кинулись тушить огонь.

Анатолий сбегал по длинному коридору в туалет. И оттуда в кувшине притащил воды. Ковер залили. И вынесли его из кабинета.

Пока они сустились на пожаре, войска на площади готовились к решительной атаке.

V

...Ербол Утегенов, когда прогнали пожарных, сразу понял, что готовится что-то нештучное.

Он видел, как скапливались возле трибуны войска, змеёю вытягивались ряды, состоящие из курсантов, солдат, офицеров и милиционеров. Видел в руках у некоторых не дубинки, а саперные лопатки. Видел огромных овчарок на поводках.

Да и все его товарищи, которые еще оставались на площади в этот поздний час для неравной битвы, почувствовали решительность коммунистических властей. И даже на мгновение притихли.

Наконец строй двинулся. Они встретили его градом камней. Но войско под прикрытием щитов быстро преодолело разделявшее их пространство. И принялось избивать демонстрантов.

Там и тут на политом кровью асфальте оставались неподвижные тела.

В этот раз солдаты и менты не отступали назад. А гнались дальше за площадь, в переулки и улицы.

Все начали разбегаться. Кто куда.

Быстроногий Ербол с двумя товарищами рванул в подъезд многоэтажной башни, чтобы укрыться там от погони. За ними кинулись и преследователи. Военные с овчарками.

Ребята заскочили в чистенький с ковриками подъезд. И побежали по ступенькам наверх. Но путь им преградили закрытые внутренние двери. Они стали громко стучать, кричать, просить.

И в этот момент их настигли собаки. Крупные, натренированные на людей, похожие на волков, две немецкие овчарки стали, рыча, хватать их за руки, ноги, куртки. Рвать плоть. Подбежали, тяжело ступая форменными ботинками, проводники с дубинками и поводками в руках. Стояли рядом, тяжело дыша. Молча смотрели, как собаки по очереди атаковали жмущихся в угол ребят.

Затем в подъезде раздались громкие голоса. Это подмога. Проводники нехотя отзывают собак. Подбежавшие милиционеры хватают ребят. Выворачивают руки так, что хрустят позвонки. Тащат на улицу, больно пиная по дороге и целясь в копчик.

Их доводят до переулка, где стоит тюремная машина-грузовик с металлической клеткой в кузове. В просторечии автозак. Там уже полно молодежи. На ребятах и девчонках разорванная одежда, на лицах следы побоев: кровь, ссадины, синяки.

Ербола несколько раз бьют дубинкой по ребрам так, что от боли все

переворачивается внутри. Потом отнимают лисий малахай, шарф, перчатки. И ударами загоняют в ледяной кузов автозака. К остальным.

Тут он видит среди давки знакомых ребят из сельскохозяйственного института. Серик и Джамбул стоят обнявшись и тесно прижавшись друг к другу, чтобы сохранить тепло.

— Иди к нам! — шевелит разбитыми в вареники синими губами Серик. — Мы тут уже давно.

Ербол проталкивается к ним. Внутри немного теплее. Спрашивает:

— Вы-то как сюда попали? Вы ж никогда ни во что не лезете.

За обоих отвечает круглолицый, с сине-красной полосой от удара дубинкой поперек лица Джамбул:

— Да, брат, сидели в обед вчера с ребятами в чебуречной. Вдруг за соседним столиком парень очкастый такой говорит: «А вы завтра выходите?» Я отвечаю: «Не знаю! Куда?» А он в ответ: «А вот педагогический институт — девушки выходят!» Ну я ему и ответил: «Тогда и мы выйдем!»

— Лихо!

Машина заполнилась арестованными до отказа.

И наконец тронулась.

— Куда нас везут? — спросила симпатичная взъерошенная девушка в модной коричневой меховой дубленке и шапочке с козырьком.

— На расстрел! — решил пошутить Ербол.

На него зашикали:

— Дурак! Что мелешь!

И притихли. Машина набирала скорость. И, судя по всему, двигалась вверх по улицам. В сторону гор. Ехали минут двадцать-тридцать.

Потом остановились. Грохнула, лязгнула металлическим запором открываемая дверь. Раздался резкий, неприятный голос:

— Ну, выходите, арестанты! Чертовы националисты!

Один за другим, избитые и униженные, они спрыгивали из кузова вниз. На улицу. Ой, бай! Оказывается, здесь, прямо в чистом, заснеженном поле, стоит целая колонна таких же автозаков и автобусов. В сопровождении машин ГАИ. Где-то далеко, ниже светится огнями Алма-Ата. А тут тишина. Мороз. Темнота. И сотни людей. На снегу.

Колонна машин, которая их привезла, тронулась и, сверкая огнями фар, ушла в сторону города. А они остались стоять на обочине. Их отпустили.

— Ура! — закричали пискляво две толстушки-подружки, тоже оказавшиеся среди них.

— Дуры! Что ура-то? — сказал машинально Ербол. — До города

километров двадцать. До утра не дотопаешь.

Было холодно. Ныло, болело избитое, искусанное собаками тело. Но гнев не проходил: «Вот как они с нами. Ну мы вернемся и покажем вам, гады! Завтра же покажем. Там же, на площади! Ур! Бей их!»

И он побрел в сторону ближайших огней. Следом за ним потянулась длинная колонна, заковыляли по заснеженной дороге друзья по несчастью.

VI

День прошел. И ладно. Вчера вечером Александр Дубравин уже дал короткое сообщение о волнениях в Алма-Ате. Поэтому сегодня с утра он спустился вниз. И побрел к ближайшему газетному киоску. Посмотреть — вышла ли заметка? Киоск был закрыт. И разбит. Вокруг него валялись на асфальте осколки стекла и обрывки газет.

«Черт бы их побрал, — язвительно подумал он. — Конечно, революция — дело святое. Но зачем же стекла бить? Пройдусь еще пару кварталов. Осмотрюсь!»

И двинулся вверх. К площади. Чтобы оценить обстановку.

Из подъезда соседней высотки навстречу ему вылетел собственный корреспондент «Литературного обозрения» Апполинарий Мушевич. Человек жутко интеллигентный, высококультурный и очень щепетильный. Его тонкокостная, упакованная в модную итальянскую дубленку и спортивное обвисшее трико, фигура появилась перед Дубравиным так неожиданно, что тот аж вздрогнул. Мушевич, возбужденно размахивая руками и то и дело поправляя круглые очки на горбатом носу, протараторил:

— Ну, ты дал вчера репортаж?

— Хотел купить газету. А киоск разбит, — чуть растерянно ответил Александр.

— Да, пошумели тут вчера. Из наших окон все как на ладони. Мы с Монечкой до самого конца наблюдали. Как им давали разгону. Уже часа в три ночи их наконец прогнали с площади. К нам в подъезд несколько человек заскочило. Попытались спрятаться. А тут их с собаками догнали! — Мушевич злорадно усмехнулся. — И они их как начали рвать. Рвать! Рвать! Будут теперь знать, сволочи!

Дубравину было неприятно это его злорадство. Он промолчал: «Мне все это тоже не по нраву. Но собаками травить пацанов и девчонок... Это прямо какой-то фашизм!»

Они разошлись в разные стороны. Но уже через сотню-другую метров он, оглянувшись, увидел бегущего рысцей обратно к дому Мушевича. Тот на ходу показывал ему рукой куда-то вниз. Дубравин обернулся. Снизу по улице поднималась к площади колонна молодежи с транспарантами и палками в руках.

Начинался второй день заварухи. И он не обещал быть легким. Тем более что через секунду Дубравин услышал ни с чем не сравнимый шум и стук с другой стороны. И увидел подходящий сверху от площади серый квадрат — роту военных. В эту минуту его одинокая фигура корреспондента оказалась как бы на нейтральной полосе. Он оглянулся по сторонам. Мушевич уже чудным образом исчез, можно сказать, испарился.

«Отойду-ка и я в сторону от греха подальше! Черт их знает, что у них на уме после вчерашнего разгона».

Рота, состоящая почему-то не из молоденьких солдатиков, а из здоровенных мужиков в офицерских шинелях и шапках, приближается. Метров с десяти Дубравин наконец может разглядеть их вооружение. В руке у каждого крепко зажат кусок кабеля или резиновая дубинка. Ни щитов, ни касок, ни бронежилетов. Пройдя еще метров двадцать, военные останавливаются и молча ждут поднимающуюся снизу им навстречу колонну демонстрантов.

Впереди идут молодые ребята с портретом Ленина в руках. Увидев военных, они начинают притормаживать. Но сзади на них напирают, подталкивают те, кто еще не разглядел военное каре. Поэтому разноцветная легкомысленная колонна медленно приближается к серым, застывшим шеренгам.

Дубравин внимательно вглядывается в решительные и испуганные, раскрасневшиеся и бледные лица парней и девчонок, выхватывает взглядом из толпы какие-то особенные детали их экипировки и одежды. Неожиданно во втором ряду он натывается взглядом на знакомое, круглое, усатое, нахмуренное лицо: «Ба, да это же Ербол Утегенов, бывший водитель Амантая. И с дрыном в руках... Что бы это значило?»

Раздается команда. И офицеры, резко печатая шаг, двигаются вперед. Это движение настолько неожиданное и стремительное, что толпа толком и не успевает среагировать, как в нее с ходу, давя все на своем пути, врезается тяжелая, как бетон, серошинельная масса.

Столкновение происходит прямо перед ним. Демонстранты кидаются врассыпную. Кто куда. Дубравину видны только взлетающие поверх голов свистящие кабельные плети.

Молодняк разлетается, как воробьи от ястребов. Одна черноголовая,

перепуганная девчонка в коротенькой красненькой курточке и джинсиках вылетает из бегущей толпы и быстро подскакивает к нему. Хватает за руку и, как ребенок, прячется за него. Видимо, инстинкт самосохранения подсказывает ей, что этот широкоплечий, с крупной высоколобой головой мужчина в случае чего заступится, защитит ее. Честно говоря, глядя на то, как орудуют кабелем и дубинками бойцы спецназа (потом выяснилось, что это были офицеры подмосковной дивизии), Дубравин слегка струхнул: «Как бы в пылу битвы меня самого не огрели чем-нибудь по голове». Но внешне он соблюдает полное спокойствие. Стоит не шевелясь, словно каменная статуя командора. И возбужденные, разгоряченные бойцы, тяжело дыша, проходят мимо них, обдав особым военным духом. Запахом шинелей, кирзы, кожаных портупей и оружейного масла.

Через минуту, когда опасность минует, он молча стряхивает со своей руку вцепившейся в него кызымки. И так же молча, не сказав ни слова, идет к своему дому.

На душе смутно. И мысли тяжелые, как камни, ворочаются в голове: «Как мы все ждали обновления. Надеялись на лучшие времена. На свободу. И вот они пришли: перестройка, гласность, ускорение. Народ воспрял духом. Можно критиковать. Спорить. Переустраивать жизнь. И никто, собственно говоря, не ожидал, что эти благие пожелания станут дорогой в ад. И перестройка выльется в разрушение, развал всего привычного, ставшего обыденным и удобным строя жизни. А на поверхность выйдут тяжелые и неудобные для народов и партии вопросы. В том числе и национальные».

Дискуссии с экранов телевизоров, со страниц газет, кухонь и клубов вылились на площади и улицы. А у толпы на улице свои законы.

И еще он чувствовал, что в этом выступлении таилась какая-то скрытая угроза. И ему самому. И всем русским. Все-таки их родиной была другая земля. И слова «Россия, Москва, Кремль» они воспринимают по-иному, нежели местные жители.

Всю его жизнь с утра до вечера ему вдалбливали, что они советские люди. Братья. Интернационалисты. И вот появились откуда ни возьмись тысячи тысяч, которые своим выходом на площади и улицы опровергают это. Будят и у него какое-то еще не до конца понятное чувство. Своей какой-то особостью они как бы говорят: «Нет, мы не такие, как вы. Мы другие. Мы не советские. Мы — казахи».

А кто тогда мы?

* * *

Еще целый день бушевал город. Власти, не справившись с волной, призвали на улицы с заводов, фабрик и учреждений тысячи дружинников. И так уж получилось, что в их рядах большинство оказалось русским. И когда демонстранты ринулись на республиканский телецентр, их первой жертвой стал русский инженер.

Так был вбит клин в «вечное дерево дружбы наших народов».

На смертоубийства власти ответили еще более жестко. Начались аресты. Спецоперация под поэтическим названием «Метель» так вымела улицы когда-то мирного города, что к ночи они полностью обезлюдели.

В столице наступило затишье.

В декабрьские дни 1986 года состоялось первое в новейшей истории СССР крупное национальное выступление. Оно стало прологом к гибели великой империи.

VII

Вдоль по улице метелица метет. Ну а улица через город нас ведет. И называется она именем Ленина.

Чугунно-черный, слегка припорошенный снегом памятник вождю мирового пролетариата стоит в самом сердце города оружейников. Позади него куб серого бетонного здания обкома партии. Впереди площадь. На краю ее примостились два крутобоких храма. Это центр Тулы.

На дальнем конце улицы другой памятник. Бородатому мужику с простой крестьянской внешностью. Только не мужик это вовсе. А граф. И гений.

Между двумя этими символами и живет теперь Галинка Озерова. Кстати, она вовсе и не Озерова. Женщины, как монахи, отрекаются от своей природной фамилии, а заодно и от прошлой жизни, выходя замуж. Вместе с замужеством приходят в их жизнь не только радости. Но и проблемы.

* * *

Доктор старенький, маленький, седенький. С острой бородкой. В очках. И говорливый. Усаживает в кресло, а сам все выпрашивает:

— Мужа любишь?

А что она может ответить?

— Люблю!

— Ну тогда потерпи, голуба. Потерпи, милая!

Приходится терпеть. Ведь в жизни каждой женщины есть такие неприятные моменты, как визит к врачу-гинекологу. Осмотр. Досмотр. Лежишь и чувствуешь себя... Ох! Кем только себя ни чувствуешь, пока врач что-то делает между твоих раскинутых ног...

Наконец доктор присел за столик. Склонился розовой лысиной над синей медицинской карточкой. Галина тихонько слезла с кресла. Оделась. Тоже присела на краешек беленького хлипкого стульчика.

«Что скажет? Чем обнадежит?»

— С вами, голубушка, все в порядке, — наконец прерывает молчание он. — Ищите причину в любимом муже.

И как сказать теперь ему, Владиславу, чтобы он сходил к врачу? Уже два года живут. Ее и мама, и теща, и подруги ну просто достали. Ну когда? Ну что? Когда ждем? Кого ждем? Вот вынь и роди. Она уже и ругаться

перестала.

Осторожно прикрыла за собой дверь женской консультации. И мимо памятника графу-мужику пошла на работу.

Холодно, ой как холодно на морозе песни петь. За коленки хватает. Подгоняет. Надо побыстрее по хруп-кающему снегу добежать до конторы.

И что привязалась к ней, крутится в голове эта глупая, невесть откуда взявшаяся песенка:

В деревне Ясная Поляна
Жил Лев Николаич Толстой.
Не ел он ни рыбы, ни мяса.
Ходил по деревне босой.
Жена его Софья Толстая,
Напротив, любила поесть.
Она не ходила босая,
Спасая дворянскую честь.
Я этому графу Толстому
Прихожусь двоюродный внук.
Подайте, подайте босому.
Из ваших мозолистых рук.

«Вот граф Толстой не заморачивался. Восемьерых с графинюшкой сподобились родить. А тут беда. Никак. А ребеночек все снится и снится. Каждую ночь. Мальчик такой. Нежный. Беленький. Тьфу, жизнь какая. И привяжется же».

Галина, быстро проскользнув мимо недовольной очереди, молча входит в рабочий кабинет в ЖЭКе, где ее уже ждут подруги по работе — пожилая, серьезная и полная Марь Ивановна и беленькая хохотушка Леночка.

— Галинка, садись, чай пить будем! — встретила ее радостным возгласом оплывшая от тортиков Марь Ивановна.

— Да там посетители, человек пять, — отвечает она, усаживаясь за рабочий стол и раскладывая квитки.

— Да успеем их принять! Что мы, не люди? Не можем чаю попить? — отозвалась из угла Леночка. — Работа не волк. В лес не убежит. Смотри, мне какие конфеты принесли!

Кто такое мог придумать? И предугадать три года тому назад. Что расстанется она с Дубравиным. Выйдет замуж. Окажется здесь, в городе оружейников. И будет отчаянно, с замиранием сердца ждать.

* * *

Людка тогда пришла вечером. Озабоченная такая. Взвинченная. Психованная. Видно было по тому, как разувалась. Как сбросила с ног туфли. Как бегали, перебирали пуговицы ее длинные красивые пальцы. С решительным и хмурым видом приступила к рассказу. Что у них случилось. И выходило из ее рассказа, что пьяная скотина Дубравин, можно сказать, изнасиловал ее, бедную. Надругался над сиротой...

А сама все заглядывала ей в глаза. Смотрела. Высматривала. Ну как? Попала я тебе в самое сердце? Убила? И лицемерно жалела ее. И утешала. Как умеют только женщины. Мол, все образуется. Мужики все такие! Сволочи — одно слово!

Но она-то, Галинка, знала, что ничего не образуется. И было такое ощущение, будто упала она с какой-то невероятной высоты. В пропасть. В пустоту. И в ужасе летит, летит без руля и ветрил вниз. На камни.

Год жила в каком-то тяжком сне. Как зомби. Спасал ее только бассейн. В его голубой воде на дорожке чувствовала она себя легко и свободно. Как в детстве.

Там она его и встретила.

Вода в тот день была теплая. И оттого сильно пахнувшая хлоркой. Солнечные лучи проникали сквозь стекла, переламывались и играли бликами на дне бассейна. А новый тренер пришел неожиданный и жутко красивый. Широкие плечи. Треугольная спина. Рельефные икры ног. Как-то она так снизу из воды одним взглядом схватила его всего. И лицо. Приятное, красивое, породистое лицо.

«Ну прямо Апполон», — подумала. И... пропала.

А он? А что он? В бассейне всегда полно одиноких теток с жадными, тоскующими глазами. Так что он уже привык к определенному стилю общения. Простому, спортивному. А посему, встретив ее как-то возле раздевалки, приобнял, чмокнул в щеку и, заглянув в огромные глаза, предложил:

— Давай сегодня ко мне поедem. Посидим. Музыкачку послушаем...

То есть, по-простому говоря, он предложил ей переспать с ним.

А она привыкла к другому. Вспыхнула. Сбросила его руку со своих плеч. Резко повернулась. И ушла, не сказав ни слова.

И только в раздевалке разрыдалась.

После этого случая стала она дичиться его. Не разговаривать. Вопросов не задавать. Ну, в общем, действовать в соответствии со своей женской природой.

Естественно, уже у него заиграло мужское начало. Как так? Меня, такого красавчика, отвергла?! Шалишь...

Одержала она свою маленькую женскую победу.

Дальше все шло как положено. Цветочки-лютики. Свидания. Охи. Вздохи. Поцелуи. И всякое такое. С соответствующим антуражем. И предложением руки и сердца в придачу.

Свадьбу решили играть в Жемчужном. У него одна мама. А в деревне всего вдоволь. Да и теще хотелось отличиться. Прогнуться перед зятем. И показать всем соседям, что они не лыком шиты. Тем более что Дубравина и его семейство она недолюбливала. Да и за что любить? Простые крестьяне. Старший сын Иван — пьяница. Шурка вроде неплохой. Но еще неустроенный в жизни. Не ровня, как ей казалось, ее любимой дочечке.

А тут жених из города. Образованный. Красивый. Обходительный. Так что счастливая мама радовалась от души. Устроила дочку. Выдала замуж.

В общем, свадьба пела и плясала.

Дубравина, естественно, никто не приглашал. Но он все знал. Людка описала. В специальном письме. Как ни странно, ее тоже не пригласили. Почему-то подруга, которую она, можно сказать, просветила, открыла ей глаза, не позвала ее на торжество.

И вот наступил этот святой для каждой женщины день. Торжества! Победы! Счастья!

В белом пушистом шифоновом платье с красною розой в руке вышла она к гостям. Сама не своя. Вся воздушная, непорочная. И жаждущая семейной любви. Муж был ей дан. На зависть подружкам. В черном костюмчике — молодой, непьющий, положительный красавчик. Сели, как голубки, во главе стола. И... пьянка удалась. Записные гуляки оттянулись по полной. И дорогу перегораживали. И выкуп за невесту требовали. И бутылочками. И деньгами.

Конопатый Толька Сасин да ее бывший одноклассник мордатый Колька Рябуха ухитрились украсть у невесты туфлю. То-то шуму, гаму было, когда она пошла танцевать. Босая. А уж потом они все вместе созорничали. Они предложили. А она согласилась. Чтобы ее «украли».

Сказано — сделано. Вместе с «похитителями» она потихоньку вышла из зала, где проходило торжество. И спрятались на кухне. В подсобном помещении.

Ну а Шурки Дубравина друзья — Вовка Лумпик да Валюшка Лисикина — пустили среди гостей слух: «Приехал Дубравин и увез невесту на каких-то новых „жигулях“».

Бедный жених весь потерялся. Принялся метаться туда-сюда по залу. Заламывать руки.

То-то деревня потешилась над городом.

Но в конце концов все утряслось. Уладилось. Невесту вернули.
И догуливали свадьбу еще два дня.

* * *

Начали они жить-поживать. И добра наживать. Муж оказался добрый. Ласковый. Отогрел ее после прабабки. (Злобная старуха оставила в ее жизни и душе неизгладимый след.) Все стало на свои места. Ее любили. И она, ни минуты не сомневаясь, торжественно поднесла ему свой девичий дневник. Тем самым давая понять, что ради семьи полностью отказывается от своей личной, потаенной жизни. «Владик, я вся твоя», — говорила она ему этим жестом. Он, соответственно, доверил ей свои записи. Прочитали. Обменялись. И торжественно, как мосты, сожгли дневники, поклявшись быть верными друг другу до гробовой доски.



Так стала она из Озеровой Шушункиной. Фамилия теперь у нее такая.
По мужу. Шушункина.

Ну а первая любовь? Так то была греза! Какое-то наваждение! Мечта!

Первое время казалось ей, что у нее явный педагогический талант. Удалось найти через родных и знакомых мужа хорошую школу, в которую она и пошла учительствовать. Сеять разумное, доброе, вечное.

Но почему-то ученики, черт бы их побрал, это не оценили. Вредные, непослушные и тупые. Уроков не учили, вертелись, хулиганили.

Она сильно переживала. И, приходя домой, часто плакала.

Промаялась таким образом целый год.

И тут поступило из России интересное предложение. В городе-герое Туле жила у мужа Влада бабушка. Старушка приятная во всех отношениях, но главное — совсем дряхлая. Бабушка писала. Так, мол, и так. Старенькая я. Может, скоро помру. А в городе у меня есть квартирка двухкомнатная. Чтобы она не пропала, надо вам переехать ко мне. Прописаться. Найти работу. И жить-поживать. Какая вам разница, где учительствовать.

Голому собраться — только подпоясаться. Почитали они это письмо. Подумали. Поразмахивали руками. Посоветовались с родственниками. Пролили слезы расставания. Да и поехали в Тулу. Где и начали старую-новую жизнь под крылом у бабушки.

Устроились неплохо. Молодой муж, несмотря на ранние по юности лет плейбойские замашки, оказался хорошим семьянином. Как и все физкультурники, талантами он особыми не блистал. Но вакантное место преподавателя в медучилище получил. Галина пошла работать в Дом культуры на полставки художником-оформителем. Писала плакаты, афиши для кинофильмов, лозунги к праздникам. Впрочем, не это сегодня составляло смысл ее жизни. Муж есть. Теперь надо вить гнездо. И, повинувшись инстинктам, она вся отдалась этому увлекательному процессу.

А какая же семья без детей? С надеждой и робостью она ждала своего часа. Но он почему-то не приходил. Не приходил, и все тут. Сначала, как водится, забеспокоилась мама. «Что-то ты, доченька, не сообщаем мне радостные вести?» К ней подключились свекровь и бабушка. Потом родные, подруги, знакомые. Вокруг молодой семьи всеми этими расспросами, охами, вздохами, тонкими намеками на толстые обстоятельства создавалась атмосфера напряженного ожидания. Они, как могли, отбивались: «Не время! Молодые еще! Для себя пожить надо!» Но месяцы складывались в года. И теперь уже начала беспокоиться она сама. Стала задавать разные вопросы. Пошла по врачам. Консультациям. И вот сегодня старенький доктор окончательно развеял все ее сомнения.

Она сидела на работе. И мучительно размышляла о том, как ей сказать мужу, что ему тоже надо провериться. Найти причину бесплодия их семейной пары. И может быть, пора ему что-то делать! Лечиться, к

примеру!

Она весь день готовилась к этому семейному разговору. Хотелось не оскорбить его. Не обидеть. Но в то же время быть настойчивой. Добиться результата.

Пришлось сильно постараться. Приготовить ужин — пальчики оближешь. Застелить постельку новым покрывалом. И уже вечером, лежа на ложе в своей комнате, она наконец завела беседу на интересующую тему.

— Влад, я сегодня была у врача! — глядя на закрытые тенью от абажура глаза мужа как бы невзначай говорит она.

— Ну и что? — лениво цедит он.

— Доктор сказал, что у меня нет проблем.

— И что дальше?

Ее даже как-то завело его равнодушие. Стало обидно.

Душа болит. А он...

— А то, — чуть раздраженно сказала она. — Это значит, проблемы с тобою!

— Да ну, ты что? — он приподнялся на локте с подушки так, что красивые мышцы пловца заиграли под нежной загорелой кожей. — Я в порядке. У меня со здоровьем всегда все было отлично!

«Какой он у меня красивый. Ухоженный. Следит за собой», — почему-то с продолжающимся раздражением подумала она, вспомнив, как старательно каждое утро Влад бреется, душится, причесывается. И вдруг с неожиданной, неизвестно откуда взявшейся решительностью, которая удивила и его, и ее саму, говорит:

— Все-таки тебе надо сходить к врачу. Немедленно!

Слегка ошарашенный таким ее тоном, он ответил, поддаваясь:

— Хорошо! Я как-нибудь схожу!

— Не как-нибудь! А на этой неделе. Если хочешь, я сама договорюсь с нужным доктором...

Какой в действительности женой будет девушка, мужчина обычно узнает через пару лет после свадьбы, когда суженая-ряженая почувствует себя в роли этой уверенно. И прекратит притворяться, угождать мужу. Когда у нее проявятся свои собственные интересы и наконец в полную силу заговорят все женские инстинкты. Обычно это случается после рождения ребенка. Тогда женщина наконец чувствует свою власть в семье. Впрочем, «в каждой избушке свои игрушки». И с этими «игрушками» приходится иногда возиться всю совместную жизнь.

С того дня власть в доме переменилась. Первую скрипку в семье

Шушункиных стала играть Галина. У нее есть цель. И она неуклонно движется к ней. А Влад из главного стал в этом деле «пристяжным».

VIII

Сегодня в комсомоле пленум. Это когда собираются молодые карьеристы со всех концов республики. И начинают говорить разные красивые слова. Клясться в вечной верности партии. И рассказывать сказки о какой-то необычайной, прodelьваемой ими ежечасно и ежедневно работе с массами молодежи. Этакая виртуальная реальность, данная всем в ощущениях. Работы в природе никакой нет. Но о ней говорят. Оценивают. И даже в это верят.

— Елки-палки лес густой! — восклицает водитель корпунктовской машины Сашка Демурип, увидев у стеклянного аквариума ЦК припаркованное на стоянке огромное механизированное стадо из черно-белых «Волг». Да все с такими специальными номерами и сериями, что ого-го!

— Чьи это? — спрашивает его сидящий рядом Дубравин.

— Вчера из Москвы аисты прилетели! Наши из гаража встречали. Комиссия. Соломенцев — секретарь ЦК КПСС. Из комсомола тоже. С утра сюда прискакали. Видно, полетят головы местных вождей...

Демурип, молодой, жилистый русский парень с твердым, будто вырубленным из дерева лицом, как и большинство водителей, быстро усвоил образ мыслей своего шефа. Поэтому, как и сам Дубравин, отзывается о начальстве не слишком почтительно.

Дубравин поднимается по лестнице к кабинету первого секретаря. Сегодня в здании ЦК комсомола все демократично. Снуют по лестницам туда-сюда молоденькие инструктора. Толпятся в курилках какие-то незнакомые люди. Но не видно хорошеньких секретарш, несущих чай. И водителей, ожидающих боссов.

За дубовой дверью приемной первого стоит шум и гам. Идет экстренный пленум. И Дубравин, никого не спрашивая, потихоньку приоткрыв массивную дверь, проникает в просторный кабинет Серика Абдрахманова.

Странное дело, несмотря на то что всякий отбор кадров в комсомольских, советских и партийных органах давно превратился в борьбу анкет, личных дел и родственных связей, иногда наверх попадали при всем при том люди, имеющие несомненные личные достоинства. Абдрахманов относился именно к таким. Небольшого роста, живой, энергичный, молодой, но уже с легкой сединой на висках, он отличался от

массы функционеров «лица не общим выражением». Его индивидуальность еще не была до конца стерта долгой и тщательной обработкой в аппарате.

Он, как и все, мечтал сделать большую карьеру. Но не надеялся только на привычные методы, а еще и работал для этого, не щадя ни себя, ни комсомольский аппарат. Конечно, работа эта уходила по большей части в песок. Форма заедала. И аппарат существовал как бы сам по себе, а молодежь жила своею жизнью.

Абдрахманов был в Москве, когда в Алма-Ате началась заваруха. В предрассветной темноте спящей гостиницы, в постоянном представительстве Казахстана раздался звонок. Звонил всегда улыбчивый и веселый, душа-парень секретарь по идеологии Серик Дарменбаев. С несвойственной для него тревогой он коротко рассказал о случившемся.

После ряда уточняющих вопросов в трубке повисло тягостное молчание. Затем Москва отключилась.

Абдрахманов плакал. Все рухнуло для него в этот день. Не только карьера. Но и вера в то, что они делали правильное, нужное всем дело.

Теперь, когда собрался пленум, на котором неминуемо будут сделаны оргвыводы, он не стал прятать голову в песок подобно страусу. И выступил со своим видением произошедшего. И это видение, эта точка зрения разительно отличалась от той, которая на сегодняшний день господствовала среди аппаратной казахской молодежи.

— Здесь идут постоянные кулуарные разговоры о том, что русские виноваты. Это они привели ситуацию к такому финалу. А я вам отсюда, с трибуны, ответственно заявляю. Не русские, а система давила и подавляла не только Казахстан, но и всю страну. Вы говорите об аилах. Но посмотрите. Поезжайте в Россию. В Нечерноземье вымирающие деревни. Нет света. Нет воды. Нет газа. Нет дорог. Остались одни старики и старухи. Народ спивается...

Дубравин сидел в своем кресле и буквально кожей чувствовал по реакциям зала, что Серик не убедил аудиторию. И все эти молодые, сытые чиновники, которые сейчас хмыкают и перешептываются, абсолютно по-другому воспринимают ситуацию. Для них сегодня враги те, кто десятилетиями жил рядом. И он в том числе. Просто они пока помалкивают. Пока.

Вчера наконец вышла в свет его статья. Острая. Боевая. И, судя по всему, ее внимательно читали все сидящие в зале. И она большинству активно не понравилась. Да и кому понравится, если тебя тычут носом в лужу.

А уж он постарался. Разнес в пух и прах всю их работу. Конечно, кое-что добавили и на этаже. Ведь молодежка выступила первой среди всех других газет. И статья, его статья становится как бы официальной оценкой событий. Задает тон обсуждению.

И конечно, на пленуме о ней также вспомнят. Только вот как? Если примут в штыки, то трудно ему придется работать. Тяжело будет. Поэтому он и прискакал сюда, чтобы увидеть реакцию. Быть готовым ко всему.

Поднялся со своего места московский гость. Первый секретарь ЦК ВЛКСМ Мишин. В руке экземпляр «Молодежной газеты». Сказал, как гвоздь вбил в дискуссию:

— Здесь, в этом номере, статья о событиях в Алма-Ате. Я считаю, что в ней все изложено правильно, ясно и четко. Так, как и должно быть. С партийной позиции. Читайте! Делайте выводы. Исправляйте ситуацию... Ведь на самом деле все произошедшее не случайность, не ошибка. Вы прекрасно знаете, как республику лихорадило еще целую неделю. Были всплески национализма в Джекказгане, Караганде, Павлодаре, Джамбуле, Чимкенте, Талды-Кургане. Только задержанных около десяти тысяч человек. А расходы какие? Войска самолетами перебрасывали из Сибири и Дальнего Востока... Это все результат нашей плохой работы с молодежью...

Дубравин не ликовал. Но от сердца немного отлегло. Теперь, после оценки, которую дала Москва в лице первого, местные комсюки не посмеют начать явную травлю строптивного корреспондента. Будут, конечно, ворчать. Гадить потихоньку. Но на открытое противостояние не пойдут. Побоятся.

В сущности, так оно и получилось. Все заткнулись. И когда он убежал с пленума, чтобы подготовить и передать отчет, к нему даже подошла пара русских комсомольцев с периферии. Оглядываясь, пожимали руку. И искренне добавляли:

— Спасибо! Молодец! Давно пора было об этом рассказать!

Правда, после тут же растворились в коридорах.

Но русских в ЦК с гулькин нос. Основная же серая масса старалась не замечать корреспондента. Ну а если уж это не получалось, то по-восточному лстиво улыбались. Кланялись, пожимали руку. А за спиной шушукались, бросая злобные взгляды. Оклеветал нас, понимаешь.

Уже на площадке перед зданием ЦК ЛКСМ он увидел друга Амантая Турекулова.

Подошел. Поздоровались. И Амантай, может быть единственный из всей этой толпы, честно высказался:

— Дубравин! Не ожидал я от тебя такого!

— Какого?

— Ну такого выступления. Оскорбил ты весь казахский народ.

— Ты, Амантай, за весь народ-то не запрягайся. Народ — он разный! — тоже ошетинился Александр.

— Назвал нас националистами. Разве мы националисты? Да казахский народ, может, среди всех других народов Советского Союза самый интернациональный. А ты нам ярлык приклеил. Газета разошлась по всей стране. Мне уже звонили знакомые ребята из Омского обкома комсомола. Из Москвы. Спрашивают: «Как же так, Амантай Турекулович? Вот в „Молодежной газете“ написано, что декабрьские события спровоцированы националистами. Все провозглашенные лозунги являлись националистическими. В общем, взрыв „казахского национализма“. На площадь вышли якобы отбросы общества. Анашисты, пьяницы, чуждые элементы. Разве это так?»

Амантай вспомнил, что там, на площади, был и его верный Ербол. И замолчал.

— А что, не так?! — Дубравина тоже заел его тон. Он чувствовал себя героем. Его статья наделала столько шума. Ее только что цитировали. А тут! Чего он передергивает? Пришивает ему то, чего там не написано. Может, и есть какие-то неточности. Но не в них дело. Это пустое. — А по-твоему, они герои? Да? Вышли с палками. И давай жечь. Грабить, убивать. Машины поджигать. А я их воспеть должен был?

— Ничего ты не понимаешь! — сверкнул глазами и мотнул челкой, как в детстве, обиженный Амантай. — Это же потом началось. Когда разгонять стали. Началась драка. Побоище! А до этого все шло мирно.

— Нечего сказать. Мирно. Кто первый начал швырять в солдат и курсантов снежки?! А потом и куски облицовки мраморной, а?!

— Что «а»? — Амантай раскраснелся. Куда девалась его вновь обретенная важность и солидность? Он стал таким же, каким был в Жемчужном. Пацаном. Подростком. — Это побочный эффект! Случайность! Мы все ущемлены решением центра. Потому и вышли. И что, я, по-твоему, тоже националист?

— Не знаю! Не знаю!

В общем, поговорили. Прояснили позиции.

Разошлись они еще не врагами. Но уже не друзьями.

Долго Дубравин в тот день еще не мог остыть от разговора. И, готовя заметку о пленуме, то и дело отвлекался от клавиатуры телетайпа, где набивал текст на ленту. И спорил, размышляя вслух:

— Тоже мне! Деятели! И чего им надо? Каких еще не хватает благ? Приобщили к цивилизации. Дали образование. И вот она, благодарность. Еще сто лет назад у них ни письменности, ни ученых не было. Ни рабочих. Все Россия им дала. И вот теперь... Русские им мешают жить. Баранов пасти мешают!

Дубравин действительно, как большинство русских, живших на окраинах великой империи, верил в цивилизаторскую миссию России. И в то, что эти патриархальные, байские замашки и заморочки абсолютно не нужны казахскому народу.

«Надо же. И Амантай туда же. Друг! С которым вместе в школе. В походах. Пили. К девчонкам бегали. Теперь смотрит на меня степным волком. Я, видишь ли, его обидел своей статьей. А что я в ней такого написал?! Что комсюки ни хрена не работали со студентами.

Вызверился на меня... Школ казахских вообще почти не осталось. Детских садов — всего один на всю Алма-Ату. Язык их, видишь ли, исчезает с лица земли. А что это за язык? Там двести слов, обозначающих лошадиную масть. И ни одного о кибернетике.

С этим языком окажешься далеко на задворках цивилизации...

И чего он связался с этим хреном — с поэтом Мухтаром Шахаивым? И что у них такого общего нашлось?

Амантай — тот начальник. Лощеный. Важный. Вальяжный. Этот взлохмаченный какой-то. Взвинченный. И все про свой аул стихи пишет. Тоскует. Не понимаю я их. И по-своему. Гыр! Гыр! Раздражает.

Амантай с ним уходит в какую-то им одним понятную реальность. В мечтания какие-то. Начитались Чингиза Айтматова с его манкуртами, потерявшими память, анашистами. И носятся с ними, как дураки со ступой.

Вишь, чуть до драки не дошло. И горечь какая-то во рту.

Ведь это же идут объективные процессы. Отмирают малые языки. Вытесняются, растворяются малые народы. И чего жалеть-то? Скулить? Вперед надо смотреть. За прогрессом поспешать».

IX

Белые горы, полукольцом охватившие расположившийся в зеленой долине город, сегодня снова закрыты плотным серым войлоком облаков. Улицы Алма-Аты в этот ранний утренний час пустыни. Всё дремлет в ожидании пробуждения. Только изредка проедет, орошая асфальт, оранжевая поливалка. Или загремят алюминиевыми бидонами с молоком

во дворе магазина грузчики.

Пешочком, пешочком, не обращая внимания на выходящие из парка пустые голубые троллейбусы, шагает вниз по проспекту, вдоль журчащего арыка Амантай Турекулов. Он взял за правило хоть изредка ходить на работу пешком. Есть время подумать, подышать свежим утренним воздухом с гор. И размяться.

«Наши любят за дастарханом посидеть. А нам надо поучиться у русских больше двигаться. Чуть что — взял рюкзачок. И вперед. В горы. С этим они нас опережают...»

Ранняя весна. Снег растаял. Сыро. Провисевшие всю зиму отмершие одинокие листья осыпаются с тополей. Один пустой сквер перетекает в другой. Наконец из-за аллеи голых черных деревьев показывается чуть выдвинутый вперед, поддерживаемый четырьмя массивными, облицованными белым мрамором колоннами серый фасад. Под ним стеклянные двери внизу.

Равнодушный сонный охранник на входе. Большой холл. Внутри белая мраморная лестница, окаймленная широкими черными деревянными перилами. Длинные ломаные паркетные коридоры. Массивные двери с надписями «Приемная». Кабинеты.

В этом здании располагается и обком комсомола, где он теперь работает. Первым секретарем. Боссом.

Старая-молодая гвардия после декабрьских событий разогнана. Освободились высокие кресла. Вот одно из них он и занял.

Место первого секретаря ЦК ЛКСМ ему пока не досталось. По настоянию москвичей привезли из Павлодара первого секретаря Сергазы Кондыбаева. Но и обком — это неплохо. Если учесть, что бывшего главного Серика Абдрахманова отправили на перековку на домостроительный комбинат. Инженером.

Так что Амантай уцелел. И даже прибавил в аппаратном весе. Видимо, зачли ему декабрь те, кто вместе с дядей постарался тогда. Сохранили ценный кадр на будущее.

Он заходит к себе в кабинет. Поудобнее устраивается в черном кресле. И берется за бумаги.

Для него рабочий день начался. Так, в утренней тишине, проходит пара часов. Наконец хлопают двери. Слышатся голоса.

На приставном столике в кабинете стоит ядовито-красный аппарат так называемой вертушки. Вдруг он беспокойно мигает, и раздается резкий звук зуммера. Турекулов, однако, читает. Не шевелится. Этот телефон, по которому напрямую общается с ним высокое начальство, вызывает у него

двойственное чувство. С одной стороны, его появление льстит самолюбию, поднимает Амантая в собственных глазах. Как ни говори, а вертушка для политика — это то же, что звезда на погонах для военного. А с другой, ее звонков он где-то в глубине души побаивается. Все разговоры с начальством заканчиваются либо очередным поучением, либо новым заданием. Поэтому он поднимает модерновую, почти плоскую, только чуть надломленную посередине под тупым углом красную трубку с опаскою, словно по ней пропущен электроток.

— Приветствую! — слышит негромкий, но властный и напористый голос первого секретаря ЦК ЛКСМ. Голос человека, который привык, чтобы его слушали.

Настороженный Турекулов к легкому тону не подстраивается. Отвечает просто:

— Здравствуйте, Сергазы!

— Я просил подготовить мне данные на выдвижение на должность первого секретаря Алма-Атинского райкома нового человека.

— Собираем!

— Понятно! — протяжно послышалось в трубке.

Они перекинулись еще несколькими фразами о делах, о здоровье. О язве Кондыбаева. Однако все это время «дипломатического ритуала», как называл его про себя Турекулов, он ждал. И все-таки вопрос хлестнул неожиданно, как выстрел из-за угла:

— Ну что? Как там Абишев? Будешь выступать на собрании?

Турекулов не хочет говорить прямо. Отвечает уклончиво:

— Давайтеждемся вас из Москвы. Обсудим этот вопрос! — а сам чувствует, как под напором первого секретаря тает его решимость. Тает, как гривастая волна, пробежавшая тысячи километров по пустынным просторам океана, но не сумевшая преодолеть полметра песчаного пляжа.

Видимо, собеседник улавливает в его голосе этот сбой. Замолкает на секунду, соображая, что он может означать. Но на всякий случай добавляет:

— Надо выступать!

В таких разговорах главное не слова, а интонация. Тающая решимость Амантая мгновенно вырастает на гребне самолюбия. «В конце концов, если ты такой великий баскарма, — ядовито думает он, — то обойдешься и без моей помощи. Сам и выступи. А я остаюсь при своем мнении». И, уже ожесточившись на свою слабость, сухо отвечает:

— Я подумаю.

То ли Кондыбаев понимает, что перегнул палку, то ли считает, что

достаточно нагнал волны, но он не спорит и заканчивает разговор, положив трубку.

А Турекулов еще долго держит свою на весу и с иронией, за которой даже от самого себя старается спрятать тревогу, думает: «Этот телефон похож на змея-искусителя. Однажды он засвистит, загудит. Вот тут, где решетка, откроется пасть, и тускло-влажно блеснут ядовитые зубы. Тяпнет он меня за руку».

Он поднимается из-за стола. Подходит к окну. Задумывается. Смотрит на весеннюю, поливаемую каким-то механическим, равномерным, словно идущим из машины, дождем улицу. Люди за окном иногда оборачиваются на его пристальный взгляд. И тогда из-под зонта или капюшона появляются глаза. На секунду встречаются два взгляда, два таинственных и непостижимых мира. Но человек уходит. И через мгновение его мир со всеми своими проблемами, радостями и болями уплывает по серому мокрому асфальту...

Собственно, проблема вот в чем. Надо читать доклад на съезде, который собирается по итогам декабрьских событий.

Разные на этот счет есть мнения.

И что же греха таить. Был Амантай Турекулов обычным комсюком, каких в этой молодежной организации масса. Хотел сделать карьеру. Пользовался родственными связями. Ну, в общем, как все. Если бы не одно «но»...

С той стародавней поездки с дядей на Иссык-Куль проснулся в нем необычный интерес ко всему родному. Казахскому. Как будто что-то глубоко сидевшее в его душе вдруг стало выходить на поверхность. И несомненно, это было свое, национальное. Когда-то Лев Толстой в «Войне и мире» описал этот процесс, происходивший с Наташей Ростовою, приблизительно так: откуда в этой графинечке, воспитанной эмигранткой-француженкой, проснулся этот дух? Но было это все русское, наше. Так и теперь. Откуда у казахского паренька, выросшего среди русских, воспитанного в советской школе партией и комсомолом, вдруг стала просыпаться любовь к своему степному?

А теперь, после декабря, как ему представлялось, надо было все это предать. Отказаться. Выступить на съезде. Заклеймить тех, кто вышел на площадь. Кто, в сущности, был таким же, как он. Своим.

А значит, выступить против самого себя. Снова врать. Изгаляться.

Ему этого больше не хотелось. Даже ради карьеры.

Сколько можно?! Ради нее он отказался от Альфии. Первой любви. Теперь от него требуют новую жертву.

Нет! Он больше не может! И не хочет. Он просто физически не сможет. Его задушит это стеснение в груди. Забьет кашель, если он начнет говорить то, что от него хотят. Пусть давят из ЦК. Жмут из отдела пропаганды обкома партии.

Он не пойдет на это! Он чувствует то же, что чувствует его народ. Понимает социальную и национальную справедливость так же, как и они.

«Да! Развел нас всех этот декабрь. Перепахал. И с друзьями тоже. Дубравин, шайтан его побери, не звонит. Молчит. Он теперь с первой своей публикации на стороне Москвы. Отрезанный ломоть.

Бывает же такое. Странное дело. Есть люди, которые придут в твою жизнь. Что-то сделают. И исчезнут без следа. А есть такие, с кем жизнь нас держит постоянно вместе. Сводит. Казалось, уехали мы все из Жемчужного. И могли бы рассеяться по свету. Так оно и было. Только Казаков в Москве. Я в Алма-Ате. Дубравин в Сибири. И вдруг мы через какое-то время снова в одном месте. Почему так... Что нас связывает? И одновременно отталкивает?

Ведь Дубравин тоже не слишком любит советскую систему. А вот стоило случиться событиям, и он почему-то на ее стороне. А я всей душой против. Видно, когда дело касается национального, то тут ничего не попишешь. Каждый за своих. Это сильнее идеологии. Это в крови.

Ну как же все-таки быть с этим выступлением на съезде? Заболеть, что ли? — с тоскою думает он о спасительном выходе. — Не поможет! Не поверят! Значит, придется отказываться.

И зима в этом году какая-то не такая. Кончилась быстро. А теперь пошел дождик. Предвестник... Чего предвестник? Непонятно...»

Х

«И досталась нам эта работа — из болота тащить бегемота». Анатолий Казаков поморщился как от зубной боли. И снова взялся читать дело: «Пошел... Увидел... Он мне сказал»... Все как под копирку: «Не знаю. Не помню. Не был. Не видел. Не привлекался».

«А кто же тогда был? Бил? Участвовал? Громил?»

Он поднялся со стульчика в маленькой камерке следователя в следственном изоляторе временного содержания. И прошелся туда-сюда. Два шага вперед. Два назад. Все как всегда. Стол. Стул. Стул для арестованного. Обшарпанные зеленые стены.

«Одно слово — казенный дом. Ни тепла. Ни снисхождения. СИЗО он и есть СИЗО».

«Так что он там дальше пишет, этот Ербол Утегенов?»

«Гражданин прокурор! 19 декабря 1986 года я был взят под стражу по обвинению в умышленном убийстве. Кроме того, работники милиции предъявили мне обвинение в участии в организации беспорядков, имевших место 18 декабря в г. Алма-Ате, с чем я категорически не согласен. Я могу доказать следствию свое местонахождение с 15 по 19 декабря 1986 года. Однако работники правоохранительных органов, злоупотребляя своим служебным положением, необоснованно пытаются сфабриковать факт моего участия в массовых беспорядках в качестве активного организатора...»

Казаков вздохнул. «Сколько судебных сломалось. А сколько еще сломается. Один он, что ли, Ербол? Приведут его на допрос... Что он скажет? Ведь, по легенде, меня сюда, собственно говоря, и прислали, чтобы проверить, не наломали ли соседи-силовики дров...»

Уж он-то знает, что в таких делах случается всякое. «Как с этой девчонкой Асановой Ляззат. Шестнадцать лет. Из хорошей семьи. Училась в музыкальном училище. Бросилась с крыши. Или Мухамужановой Сабирой. Тоже шестнадцать лет. Студентка Усть-Каменогорского педучилища. Выбросилась из окна после „проработки“ сотрудицами КГБ».

Отшумели декабрьские события. А контора все пишет и пишет. Вся огромная государственная машина подавления, частью которой был и он сам, набирает обороты.

Ни днем ни ночью нет покоя. Как они начали с того декабрьского утра

работать без выходных и проходных, так и продолжают сейчас. А как иначе? Больше двух тысяч человек было задержано только сотрудниками КГБ! Две с половиной — МВД и прокуратурой!

А разобраться надо с каждым. Чтобы понять роль каждого. И воздать по заслугам.

Людей не хватает. Нагрузка бешеная. Задача одновременно простая и сложная. Во что бы то ни стало найти организаторов выступления. Ведь никто в органах не верит в то, что студенты-казахи как-то так сами по себе вышли ранним зимним утром на площадь. Ходили слухи о каких-то людях, приехавших в общежития. Но найти, нащупать никого конкретно не удавалось. Были козлы отпущения. Какие-то преподаватели, аспиранты. Но это все не то. Короче говоря, «крот где-то роет у них под ногами», а вот найти, нащупать, где он выйдет на поверхность, не получается. Приходится искать зацепки. Одна из таких — этот Ербол Утегенов.

Его следователи прижали и вешают на него убийство. Формула простая. Не хочешь попасть лет на двадцать пять в тюрьму или получить вышку — колись. Рассказывай, кто тебя на площадь посылал. Мне рассказывай. Доброму следователю. Товарищу.

Лязгают замки на открываемой двери. Раздается команда контролера:

— Лицом к стене!

Пожилой седой контролер-казак в пропитанном запахом тюрьмы зеленом мундире докладывает:

— Арестованный Утегенов доставлен для допроса.

— Заводите! — Казаков вздыхает и отходит от двери.

В узком проеме появляется широкоплечая фигура и усатая плосколицая физиономия Утегенова с подбитым глазом и красной полосой — царапиной на щеке.

Ербол останавливается в нерешительности у стены. Ждет команды.

— Садитесь, Утегенов, — не давая времени на раздумья, говорит Анатолий. И сразу быка за рога. Пока не успокоился. Не осмотрелся: — Прочитал я ваше заявление по поводу перегибов. Что могу сказать? Я-то верю, что это не вы убивали инженера Савицкого. Но вы прекрасно понимаете — кто-то должен ответить за это, — помолчал, чтобы дошло. — Вы не хотите сотрудничать с нами? Почему мы тогда должны вас выручать? Мы давали время вам подумать. Не отправляли дело в вышестоящие инстанции. Не сдавали в суд. Ждали. Долго ждали, пока вы поймете свое незавидное положение. Вы понимать не хотите. Так что у нас с вами сегодня последний разговор. В принципе он может закончиться по-разному. Либо вы пойдете в суд и получите в лучшем случае срок. А в

худшем сами знаете. Либо согласитесь нам рассказать все, как было. И тогда выйдете отсюда... Свободным.

В тесной камерке повисло тягостное молчание.

Минута. Две.

Наконец обвиняемый прервал его самым банальным образом:

— Дайте закурить!

Опустив голову низко над столом, Ербол ковыряет пальцем обшивку. Размышляет о ситуации. Впрочем, обдумывает он свое положение уже давно. С того момента, когда его свалили ударом резиновой дубинки на холодный асфальт, а потом, заковав в наручники, отвезли в отделение милиции. Неделю держали там. Неизвестно зачем. А потом... Потом стали шить дело об убийстве. Крутили, вертели. Подбирали свидетелей. Следователь Нурманбетов смеялся над ним и говорил: «Я из любого говна конфетку сделаю». И слепил. Сшил. Сделал.

Откуда знать Ерболу, простому парню, что это просто шантаж. С целью оказать давление. И получить показания на его бывшего начальника и друга Амантая Турекулова. А через того ниточка потянется дальше. Выше.

А настоящего убийцу или убийц уже давно нашли.

Курит Ербол свою сигарету. И думает нелегкую думушку: «А может, и прав следователь? Он тут сидит. Мыкается по камерам. А они, те, кто тогда подстрекал, теперь новые посты получили. Сладко спят. Хорошо кушают бешпармак.

Может, действительно рассказать, как ездили. О чем говорили. И опять же семья. Как ей помочь? Жена приходила. На свиданку. Живут все там же. В холодном полуподвале. Дочка болеет. Теща пилит. Требует, чтобы уезжали из Алма-Аты.

А этот молодой гэбист... Может, он правду говорит. Отпустят его тогда».

Ербол даже задохнулся, когда представил, как он пойдет по улице. Свободный, как птица на взлете. И лицо у этого парня знакомое. Хорошее лицо. Местное. Наверное, не обманет. А надо что-то решать. Сегодня последний разговор. Да и в камере ребята советуют: «Сдай ты их, бабаев. Чего тебе за чужие грехи отдуваться?».

Наконец после долгого тягостного молчания он, сжимая желваки, медленно, глядя в стол, произносит:

— Только я бы хотел, чтобы никто об этом не узнал...

— Конечно! Какой может быть вопрос! Все оформим так, что комар носа не подточит, — ответил с облегчением Анатолий. И про себя подумал: «Ишь, поговорками заговорил. Ну все, кажется, процесс пошел».

Он знал, что будет дальше. Хоть и недавно работал в органах, а уже кое-что повидал. Сколько их, обиженных на шефов водителей, недотраханых секретарш, всякого рода обслуги и прислуги, стучат на своих благодетелей. Да почти все. Вот и этот теперь расскажет все, что знает. А потом подпишет бумагу о неразглашении. Возьмет псевдоним какой-нибудь высокопарный. Ну что-нибудь типа «Аристан» — по-русски «лев». И перейдет в разряд «источников», а на профессиональном кагэбэшном жаргоне — «дятлов». И будет регулярно стучать. И даже оправдывать себя какой-нибудь обидой на своего бывшего шефа и друга. Ну, что-нибудь типа: «Обещал сделать малосемейное общежитие для жены с ребенком. А не сделал».

А они уж постараются. Помогут. Чем еще больше привяжут его к комитету.

И ниточка потянется. К Амантаю. Попал он в поле зрения органов неслучайно. Сильно изменился их друг в последние годы. Какие-то новые люди вокруг него завертелись. Писатели, поэты. И все с определенной направленностью. Сам он весь погрузился в национальные предрассудки. Всё обычаи блюдет. Женился. Опять же на своей. Дочке ректора. Ну свадьба она и есть свадьба. Делал бы как все. По-советски. С шампанским. Цветами. Кольцами. Куклами на капоте. Нет. Он и тут отличился. Закатил настоящий той. Человек на триста. Из прежних друзей только Дубравин, Казаков да Андрей Франк были. И надо сказать, чувствовали они себя на этой свадьбе, на этом празднике жизни чужими.

Конечно, сначала все шло как положено. Посетили Дворец бракосочетания. Напротив цирка — круглое здание с орнаментами на фасаде и в форме кольца. Потом памятные места Алма-Аты. Монумент Ленину. Парк двадцати восьми героев-панфиловцев. Кок-Тюбе. Медео. А затем в ресторан. «Алма-Ата» называется.

Там толпа гостей. Родственников. Гостям — подарки. По обычаю. Так называемый кийт. Кольца, серьги, цепочки золотые. Отрезы ткани. Кримплена.

Появился какой-то специальный народный ансамбль. И стал распевать непонятные свадебные песни. На своем языке. Спасибо, заведующий отделом культуры ЦК комсомола, сидевший рядом с ними, такой маленький, тихий, очкастый, переводил им, о чем поют выстроившиеся друг против друга юноши и девушки в своих пестрых национальных костюмах и войлочных шапочках с узорами.

А смысл песни был приблизительно таким.

Мужики поют, завлекая девок, а в данном случае невесту:

С базара вернулись со всяким добром, жар-жар,
Вот бархат в невестин приносят дом, жар-жар,
Голову сжал, как тисками, убор, жар-жар,
Высок саукеле, оторочен бобром, жар-жар,
Отца не оплакивай ты без конца, жар-жар,
Свёкор невесте заменит отца, жар-жар.

А девушки им в ответ:

Пруд возле дома, как зеркало, чист, жар-жар,
Вижу я в зеркале бледность лица, жар-жар,
Ярко блистает под солнцем вода, жар-жар,
Девичья вольность ушла без следа, жар-жар,
Как же мне, горькой, слезы не пролить, жар-жар,
Отца не заменит никто никогда, жар-жар.

И долго пели так. Дубравин не удержался тогда, спросил у переводчика:

— А что значит этот припев «Жар-жар»?

— Это означает, — ответил тот, — «друг-супруг»...

Потом пошли долгие тосты — сначала за родителей жениха и невесты. Потом за родственников.

Тут трое друзей жениха увидели наконец дядю Марата. Он был самым почетным гостем. Самым веселым. Ему пелись самые большие дифирамбы. Потому что это он помог Амантаю выбиться в люди.

Достаточно странно на этом празднике выглядели отец и мать Амантая, приехавшие из Жемчужного. Хоть и пили за них тосты, хоть и славословили их гости, но как-то было заметно, что чувствовали они себя не в своей тарелке.

Посмотрели они и на новых родственников Амантая. Пузатого ректора. И кучу другой разной публики.

Эти знатные гости прямо таяли от лести тамады, который был сплошное лизоблюдство. Впрочем, это чисто его, Казакова, мнение. Русские все-таки отличаются по менталитету.

Жена у Амантая вроде образовалась неплохая. Но, конечно, далеко ей до Альфии. Та была девка-огонь. Сколько уж времени прошло. А она все еще спрашивает про него. Что да как...

* * *

...Впрочем, ищут они организаторов в общем-то вслепую. Парадокс. У

каждого офицера КГБ десятки источников. Система, казалось бы, прошла все и везде. На крупных предприятиях имеются первые отделы. Все отрасли курируются.

А выступление в декабре проморгали.

Вот теперь на ходу выстраиваются версии и цепочки. Кто организовал? Кунаев? Назарбаев? Камалиденов? Ауельбеков?

Кому выгодно, тот и организовал.

Контора пишет. Справки и донесения направляются строго по команде. От оперативника — в отделение. Оттуда ценная информация подается в отдел. Там она обобщается, анализируется. И идет в управление. А потом уже к руководству.

Сейчас он оформит подписку агента Данко, как когда-то Маслов оформлял его самого. И в папочку с грифом «Совершенно секретно» ляжет первое донесение Ербола Утегенова. Рассказ о том, как Амантай направлял его с миссией в общежития. Там же окажется анкета агента с псевдонимом, датой вербовки и прочими подробностями личной биографии. Анкета заполняется оперативником и знакомить с нею агента категорически запрещается.

Ну а затем он должен на основе донесения подготовить агентурное сообщение, в котором изложит собственное видение ситуации.

И Анатолий даже привычно прикинул в голове, как оно будет начинаться: «С агентом проведена экстренная встреча... Источник сообщает, что шестнадцатого декабря к нему подошел...»

А вперемешку с этими обычными рабочими мыслями лезут в голову, создают душевный дискомфорт, проще говоря, мучают, другие: «Как же так все это получилось? Перепуталось в их жизни? Кто прав? Кто виноват во всем случившемся? Отчего такое тоскливое настроение у него самого? Радоваться надо. Ведь додавил. Добился! А на душе гнусь и тоска. Жалко Амантая. А что делать? Сам полез!»

XI

Есть такое место в степной Целиноградской области, где среди зеленых озер, окаймленных густыми камышовыми зарослями и лесом, расположилось царство водоплавающих птиц. Сотни тысяч диких гусей, уток, цапель, чирков, вьюнков, жаворонков и всякой прочей разной живности обитают здесь среди камышовых островов и на отмелях. Гордость здешних мест — розовые фламинго. Тут их родина. И

единственная точка в огромной стране, где эта прекрасная птица еще встречается в естественной среде обитания.

Называется это место Кургальджино.

Сюда, на глухой кордон, и попал по распределению молодой выпускник университета Владимир Озеров. Да не один попал. А с женою. Городскою. Образованной. И амбициозной. Была она из эдакого абсолютно женского семейства, где мужиков отродясь не водилось. А жили в большой семейной квартире бабушка — доктор наук, профессор, мама — кандидат наук, доцент. И две сестры — девушки на выданье. В общем, цветник, да и только. И конечно, в таком цветнике без мужского начала, с несколько странной, выпендрежистой мамой сложился свой, ни на что не похожий образ жизни и свои собственные, ни на что не похожие заморочки.

Ну, конечно, свадьба у них была «самая шикарная». Невеста в белой шляпе и ослепительно белом платье — «самая красивая» во Дворце бракосочетания. Кафе, где гуляли, — «самое культурное». Новые родственники со стороны жениха хоть и деревенские, но «самые настоящие интеллигенты».

И правда, все было пристойно, без мордобоя и битья посуды.

А поехали в глухомань. Всю дорогу молодая жена восторгалась прекрасными пейзажами. Съехали с трассы и под знак «Проезд запрещен» двинулись вглубь леса. Километров пять чередуются то заросли, то поляны. На одной из них пасутся олени.

— Ах, как чудно! — восклицает Надежда. — Глянь, Володя, на ту парочку. Ну прямо как мы с тобою.

Потом искусственное зарыбленное озеро. И дальше песчаная дорога приводит их к порыжелым металлическим воротам с навесным замком. Впрочем, ржавый замок не закрыт.

И по обсаженной елочками асфальтированной аллее они торжественно выезжают на кордон. Здесь поляна и площадка. На ней три дома. Тот, что поближе к лесу, это их.

В стороне, на высоком берегу тихой прозрачной речки, еще один деревянный старый дом с открытой верандой. Это для гостей. А метров двести пройти по аллее, вырезанной в лесу вдоль речки, — будет собранная деревянная баня. Возле нее спуск к воде. Длиннющая деревянная лесенка с перилами, ступеньками уходящая прямо в воду.

Что сказать? Дичь! Глушь! Тишина! Благодать!

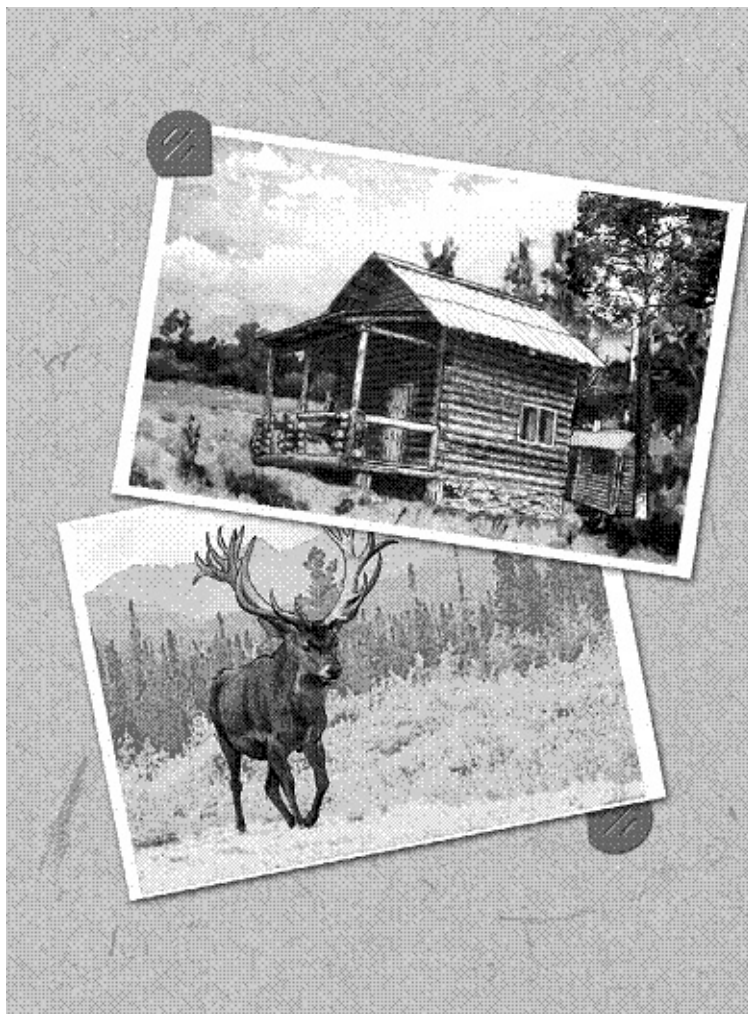
В самом охотничьем гостевом доме уютно и тепло. В прихожей чучела кабанов, птиц, олени рога. В гостиной большой длинный стол, стулья в рядках, резной буфет с посудой. И как водится, краснокирпичный камин.

В доме несколько спален. Биллиардная. Кухня. Апартаменты. Так что при случае может разместиться большая компания охотников.

Все это называется дача Кунаева. Изредка он приезжал сюда на охоту. Для нее на берегу Кургальджинского озера, в камышовых зарослях, оборудованы вышки. Эдакие деревянные коробки с сиденьями. Поутру притаится в такой коробке стрелок. И ждет, когда к нему на выстрел подлетят утки или гуси. А они точно подлетят. Не зря же егерь Сэмэн их подкармливает все лето. Подсыпает янтарное зерно и отруби...

...Ну а дом для охотоведа с егерем попроще, поприместее. Все как у простых, обычных людей.

Вот тут и начал свои трудовые будни их семейный дуэт. Прямо скажем, место специфическое. Блатное место.



Но жизнь, пока не приспособились, была трудная. Он мотается по лесу. Охотится. Или сопровождает так называемых «гостей». Она по хозяйству. А тут вам не там! И воды надо принести. В ведрах. И обед приготовить. На плите. И свиньям дать. Кормов. И курятник почистить. Крутится молодая

хозяйка как белка в колесе. И слезает с нее постепенно вся позолота. Глядишь — прошел год, и не узнать уже в этой загорелой, крепкой деревенской хозяйке городскую фифочку, что не знала, с какой стороны к корове подойти.

В эту весну приехал к Вовуле в гости долгожданный друг — корреспондент центральной молодежной газеты Александр Дубравин. Собственно, приехал он в командировку в столицу романтиков-первопроходцев город Целиноград. Ну а оттуда сюда — рукой подать.

С раннего утра засели они у тихой заводи. Зорьку встречать. Замаскировались. Притихли. Ждут. Только сердца бьются: тук, тук, тук.

Чу! Вдруг в прозрачном утреннем воздухе раздается шорох раздвигаемого воздуха и свист крыльев. Стая из пяти серых шеек неожиданно выскакивает из-за камышового горизонта. И плюхается прямо на воду. Шум, гам, кряканье. Один, видно селезень, осматривается, плавает в заводи по кругу. Остальные ныряют. Прозрачные капли воды скользят по серому перу, не смачивая его.

А охотники все сидят. Ни живы, ни мертвы. Любуются. Но сжимают в ладонях холодную сталь. Ждут удобного момента. Медленно, медленно, травинка не шелохнется, выцеливают. В животах холодок.

И гром выстрелов разваливает на куски тишину.

Есть!

Пара уток лежит на воде головой вниз. Селезень-подранок хлопает перебитым крылом. Кружится по заводи.

А собака уже плывет за добычей. А потом, отфыркиваясь, стряхивает с себя капли. И, повиливая хвостом, ждет благодарности от хозяина.

Солнце высоко. Отражается огромным огненным шаром в озере. Поднимается пар от воды. Серые шейки свешиваются с охотничьих поясов. Здравствуй, хозяйка! Мы с добычей. Гордые!

Летят пух и перья в разные стороны. Отменный будет супчик из дичи. И в который раз, переживая, удачливый охотник повторяет рассказ о том, как он осторожно, стараясь не спугнуть, взял на мушку самого жирного, крупного селезня...

Вечером у камина, растопленного по такому случаю в гостевом доме, душевный разговор за рюмкой чая. На столе дичь, запеченная в фольге кабанятина, оленина. И не счесть солений и варений. Вовуля по-хозяйски угощает друга, нахваливая свой чистейший продукт. Разговор обо всем. Перескакивает с темы на тему, как у людей, которые хорошо понимают друг друга.

— Я когда женился, — похрустывая соленой капусткой, говорит

Озеров, — то был в большом сомнении. И как Надюха тут приживется? Ведь глушь. А она городская. Да еще из какой семьи. А оказалось-то все по-другому. Не прошло и двух недель, а она уже освоилась во всем. Как будто родилась в колхозе. О чем это говорит? Женщины, они интересные. Я бы сказал, очень приспособляемые. Как правильно-то? А, журналист?

— Я бы сказал, приспособленные! — отвечает, накалывая на вилку огромный кусок черного кабаньего мяса, Дубравин.

— Во-во! Способные. В любых условиях выживают. Так и моя Надюха. Ни разу от нее жалоб не слышал. Никаких охов и вздохов. Будто другой жизни и не знала. Да и сам знаешь, вижу изменения. Особенно теперь, когда ждем с нею ребенка. Я на сына надеюсь. Научу его. Охотником будет...

Дубравин слушает Вовулины текущие речи. Вовремя выпивает свою рюмку. И думает о том, что жизнь, так разбросавшая их, в конце концов дала каждому то, к чему они стремились со школы. И может быть, это не до конца похоже на те мечты, которыми они себя осеяли, но все равно это то, что каждый из них заслужил.

— Дубравин! — прерывает ход его мыслей Озеров. — Ты-то чего не женишься? Уже вроде на колею стал. Крыша есть. Чего ждешь-то?

— Человека жду! — невесело отвечает Шурка, чувствуя, что ему наступают на большую мозоль. — Знаешь, после твоей сестры какая-то пустота. Как будто все в моей жизни закончилось. Навсегда. Пустой я! Понимаешь? — он хлопает себя рукой по груди в том месте, где по идее должно быть сердце. — Ничего тут нету. Нечего дать женщине. Выгорело все. С этим и живу.

— Да усложняешь ты все, Александр. А годы идут. Вот сеструха Галка тоже чего-то ждет. Детей нет. Матушка наша извелась. До того ей хочется внуков понячить.

«Да, далеко ты заглядываешь, Вовуля Озеров! Как-то быстро матереешь. Вчера еще был мальчишка, а сегодня хозяин. Мужик, — с удовольствием глядя на загорелого, несмотря на весну, жилистого поджарого мужичка и сравнивая с беленьким, лопухим мальчишкой из Жемчужного, думает Дубравин. — Сильно изменился. А стержень остается тот же. Семейный. Патриархальный».

— Ну и чё ты думаешь? — гнет свою линию Озеров. — Когда женишься-то? Когда погуляем на твоей свадьбе?

— Вот когда твоя сеструха разведется, я на ней и женюсь! — вспыхнув гневом, с подковыркой отвечает Дубравин. — И еще твоему зятю кости переломаю, если встречу!

— Ты че? Шурка! Ты че!

— Да так, Володя! Грусть. Тоска! Давай лучше выпьем.

— Давай! Да я спать пойду. Завтра какие-то гости из Целинограда должны приехать. Черт их носит, — замазывая трещину, рассказывает о своих заботах Озеров. — Едут охотиться. Обычно пьяные. Рази таким оружие можно доверять? А гонору! Утром, с похмелья, не поднимешь на зорьку.

Шурка уже подремывает, а Вовуля все рассказывает и рассказывает о нравах сановных охотников.

— Не знают, с какого конца ружье-то заряжается. А туда же... командовать берутся. Здесь и сам Кунаев был... Егерь рассказывает...

XII

— Ну, кто пойдет за шнапсом? — задает сакраментальный вопрос пузатый фотограф Лео Вайдман. — Кончается ведь!

В полутемной зашторенной лаборатории, где ставит прощальный «пузырь» перед отъездом на родину предков худенький молодой спецкор Владимир Штирц, повисает тишина. Никто из компании не хочет бежать за водкой. А почему? Да потому, что после постановления по борьбе с пьянством и алкоголизмом очереди за национальным продуктом стали такими огромными и такими озлобленными, что интеллигентному человеку в них не выстоять. Можно, конечно, подойти к магазинным грузчикам. Но у них полбанки стоит целый червонец. А немецкая душа не такая широкая, как русская. Поскупее будет, попржимистее. Платить две цены для нее дорого.

Решили кинуть жребий. На спичках. Тянут все. Кроме отъезжающего, который уже проставился. Короткую вытаскивает заведующий отделом писем Александр Дейе. Но бежать ему не приходится.

С улицы неожиданно вваливается Андрей Франк. Гибкий, спортивный, одетый в замшевую куртку и фирменные джинсики, он выглядит как иностранец. Если бы не советская плетеная авоська в правой руке. А в ней бережно завернутые в бумагу две бутылки с «бескозырками» на горлышках.

Увидев его, народ оживляется.

— Откуда, майн фройнд? — спрашивает его герой дня Штирц.

— На талоны взял в нашем магазине при издательстве.

— Без очереди? — спросил с надеждой в голосе заведующий отделом партийной жизни и пропаганды Иван Альбертович Райзвих. И прояснил свой интерес:

— У меня с прошлого месяца еще два неотоваренных талона на водку осталось.

— Где там! — безнадежно машет рукой, усаживаясь за импровизированный стол, Андрей. — Разве сейчас где-то без очереди купишь? Отстоял! Ну поменьше, конечно, чем на улице. Но печатники набежали.

— Наливай по пять булльков! — устанавливает норматив раскрасневшийся Лео. — Деньги мы тебе соберем.

— Ты только пришел! С тебя тост! — напоминает Андрею его обязанность пожилой, замшелый литературный консультант Евгений Гильденбрандт.

Франк поднимается со стаканом в руке. Его треугольное личико выражает всю торжественность момента:

— Майн готт! Ну что сказать? Сегодня мы провожаем отъезжающего в Германию, на родину, нашего товарища и друга! История немецкого народа в России заканчивается. Это была тяжелая история. Но теперь открывается ее новая страница. Мне часто говорят: «Зачем вам это надо? Вы же там будете людьми второго сорта?» А я отвечаю: «А здесь мы сейчас кто?» Так пусть хоть наши дети станут настоящими немцами. И будут жить у себя дома. Давайте выпьем за то, чтобы у Владимира все там сложилось как надо. Да, мы верим в это.

Все дружно встали. Чокнулись хорошо. По-русски:

— Прозит!

А выпили по-немецки. По чуть-чуть.

Пропало их немецкое счастье. Вернее сказать, оно просто не состоялось. Вроде бы все уже было готово к объявлению немецкой автономии в Казахстане. Секретно подобрали столицу — Целиноград. Поделили должности. Провели работу среди людей. Говорили: «Потерпите. Скоро будет и на нашей немецкой улице праздник». Но не сложилось. Поднялись казахские жузы и роды. Выступили с заявлением, что не допустят разделения республики на какие-то дополнительные автономии. Пригрозили Москве. Соберутся, мол, старики, ветераны, орденосцы. И выйдут маршем из Целинограда на Алма-Ату. Пойдут по степям от аила к аилу с лозунгами: «За единый и неделимый Казахстан».

Ну и власть, мягко говоря, но грубо выражаясь, сдулась. Партийная пресса сменила тон. Заговорила не об автономии немцев в Казахстане, а о

развитии культуры. О немецких школах. Литературе. В общем, замяли вопрос для ясности. Но немцы еще ждали. И надеялись. На чудо.

Но чудес, как известно, на свете не бывает. И когда надежда умерла последней, начался исход народа. Сначала медленно. На пробу. Выехали первые семьи. Для воссоединения с немецкими тетками и дядьками в Германии. Которых, кстати говоря, не видели кто двести, а кто и все триста лет.

Пошли из-за границы письма. С фотографиями. Стоит какой-нибудь «облом» на фоне подержанного автомобиля стоимостью пятьсот западногерманских марок. А на обратной стороне приписка: это, мол, моя машина. В СССР автомобиль был огромной роскошью. А подержанная иномарка — это вообще отпад и предел мечтаний. Глянет на такую фотографию вся многочисленная немецкая родня в славном городе Кентау. Охнет. И засобирается срочно на родину предков.

А потом процесс пошел. И принял лавинообразный характер: «Как? Федька Богер уже уехал? А я еще здесь!»

Инстинкт. Стадное чувство гнало людей вперед. Всех захватил процесс движения. Надо ехать? Не надо ехать? Никто уже об этом не думал. Все без сожалений становились в гигантскую очередь жаждущих воссоединиться соотечественников.

Дольше всех держались они. Журналисты, интеллигенты. Потому что пограмотнее, чем вся немецкая крестьянская масса. Поумнее были. Кое-что повидали в этой жизни.

Но и их ряды поредели. Чаще всего из-за родни. Ох уж эта родня по немецкой линии.

Так уж они тебя обложат. Так уж обработают.

Но Андрей пока держится. Врос он корнями в эту землю. И неплохо себя здесь чувствует. Работает в своей «Фройндшафт». Рассылает фотографии во все возможные газеты и журналы. Получает гонорары. Ему хватает. До поры до времени.

Но мало кто знает, что жил он здесь в основном мечтой. Когда у Дубравина с Галкою все рассыпалось, распалось — он даже воспрял духом. Но Галка была как мертвая. Ей, по-видимому, было не до него. И вообще ни до кого. Так что он ждал. Терпеливо ждал. Чтобы дать ей отойти. Остынуть. Все равно ведь жизнь свое возьмет.

Может, так бы оно и вышло. Но человек предполагает, а Господь Бог располагает.

Их редакцию в полном составе перевели в Алма-Ату. Все получали квартиры. Меняли прописку. Он тоже. Успел. А вот ее потерял. Вышла она

замуж. За другого. Спортсмена. Отловил он свою золотую рыбку в хлорированной бассейновой воде.

С этого момента стал Андрей податливее на уговоры. Не хмыкал больше, когда родственники начинали расписывать прелести старой новой родины.

И вот сегодня их редакция отправляет первую ласточку. И хоть одна ласточка не делает весны, но она ее предвещает.

Андрей вместе со всеми поехал на вокзал. Провожать своего немецкого брата. Приглядываться.

И когда перегруженный переселенцами поезд на Москву издал прощальный гудок, а потом застучали колеса, что-то ёкнуло в его немецко-советской душе. И больно тукнуло в сердце.

ХІІІ

Зеленый городок Талгар. Уж такой зеленый, что и домов не видать за садами-огородами. Только маленький очень. И народ живет тут разный. Коренные — русские казаки. Пришлые — уйгуры, казахи, дунгане. Ссылные — немцы, чеченцы, турки.

Дичайшая смесь языков и обычаев. Но как-то уживаются.

Прижилась и она. Людмила Крылова. Закончила свой экономический техникум. Получила распределение. Приехала сюда. В райфинотдел. Приехала вместе со своими мечтами и надеждами. А о чем мечтает каждая девушка? Конечно, о принце! На белом коне. Поэтому во все времена такой популярностью пользуется сказка о Золушке. Вот он приедет, посмотрит на тебя, замарашку. Поймет, какая ты добрая да умная. Душечка-красавица! Оценит!

Крылова не исключение. Она тоже верит и надеется на то, что в один прекрасный день судьба улыбнется ей. И не какой-то щербатой гнилозубой улыбкой, а широко, по-настоящему. Во все тридцать два фарфоровых зуба.

После Дубравина она долго и мучительно пыталась понять, что же делала не так. Почему все распалось, раскатилось. И так больно ударило их всех. И красавица она, каких еще поискать. И умница. А вот не смогла подцепить мужичка. И все тут.

В конце концов плюнула. И о Дубравине старалась больше не вспоминать. А если вспоминала, то как лиса из басни то ли Эзопа, то ли Крылова: «Зеленый он еще! Недостоин моей любви. И моих слез. Да пошел он... Только время на него потратила. Драгоценное девичье время. Лучшие

годы жизни. А он никто! И звать его никак!»

На том и остановилась.

Короток девичий век. И все надо успеть. Еще вчера девчонки крутили романы. Примеривались. Приглядывались. И все говорили друг дружке: «Да рано еще. Я еще не хочу!»

Врали, конечно. Все хотели. Чтобы все было. И белое платье. И кольца. И муж законный. Хороший. Непьющий. Кормилец. И с достатком. И с родней подходящей.

А где их взять таких-то? Прынцев? Они на дороге не валяются. Не хватает на всех. Значит, надо отвоёвывать.

Подкатывались к ней разные Ваньки да Петьки. Но она их подсознательно примеривала к Дубравину. И все без толку...

Но должна женщина с кем-то жить!

Тут и явился он. Герой ее романа.

Странное дело. Кочует по литературе один и тот же сюжет. И никак без него не обойдешься.

Спасение красавицы.

Строится он на твердом мужском убеждении, что «свободная женщина — общая добыча». Если у девушки есть друг или возлюбленный, значит, место занято. И серьезный парень в таком случае клеиться не будет. Ну а если нет, то каждый имеет право... Ухаживать. Липнуть. Цепляться. Это у цивилизованных...

А у диких, или, говоря толерантно, у недоразвитых, свои методы.

Как-то вечером по осенней улице Людка Крылова в белом плащике и платочке пробиралась со службы домой на квартиру. И уже почти рядом с калиткой, на кривой дорожке подстерегли ее два «абрека». Как водится, прыщавые дети гор начали за нею по-своему ухаживать. То бишь клеиться. Достали ножичек и, приставив его к боку, стали требовать любви. Обычай у них такой. И то дело. Не своих же насиловать. За своих, если притронешься, убьют. Братья или родственники. А за русскую ничего не будет. Они же все проститутки. А главное, заступиться за них некому. Так что смелей. Один с ножичком, а другой лезет под юбку:

— Давай!

Людка много об этом слыхала. И от подруг тоже. Статистики, правда, нет. Но, судя по косвенным признакам, насилуется приблизительно треть девушек и женщин. Просто большинство предпочитает помалкивать. Поплачут, утрутся. А как представят, что нужно идти в ментовку с заявлением, а там тебя облают. И скажут: «Сама виновата!» И сникают. Позора боятся.

Людка — девчонка бойкая, дерзкая, на язык смелая. Но тут перепугалась до смерти...

Спас ее романтический случай. Мимо проходил крепкий рыжий парень. Он-то и увидел «сцену у фонтана». Подошел. Оценил картину. Взял «мальчика с пером» за руку. И так нежно зажал в своей лопате, что тот заверещал, заорал дурным голосом на всю улицу. Второй, который уже лез под юбку стягивать трусы с брыкающейся жертвы, тоже было рывнулся. За свой ножичек стал хвататься. Но парень так дал ему ногой в пах, что тот завыл и стал кататься по грязной земле. Ваха ножичек у первого отобрал. А потом перехватил его за горло. И харей, свиным рылом долго бил о забор, пока щенок не завалился набок, икая и блюя под себя.

Вот так вот случайный прохожий выполнил разом все функции органов правопорядка.

Людка стояла ни жива ни мертва. Ноги тряслись. Кудри растрепались.

Потом кинулась было бежать. Ан нет! Силы покинули ее.

Рыжий парень упасть или осесть на землю не дал. Поддержал.

Так вот они и встретились. Русская красавица Людмила Крылова и цивильный чеченский парень Вахид Сулбанов.

Завязался у них большой и красивый роман. Наконец-таки в кои веки почувствовала она себя защищенной от вечного дыхания опасности. Перестала быть «общей добычей» назойливых ухажеров и поклонников. Теперь-то она знала, что стоит только сказать им: «Я все расскажу Вахе!», как они тут же рассыплются в извинениях и быстро исчезнут.

Жизнь вроде ладилась. И было им вместе хорошо.



XIV

«Та-та-та-та. Та-та-та!» — стоящий в углу кабинета новенький телетайп пулеметными очередями выстреливает очередную порцию информации. Длинная белая бумажная лента с набитыми дырочками кольцами стекает на обшарпанный паркет. Дубравин, сидя на раздолбанном рыжем диване, чутко прислушивается к боевому ритму. Неожиданно в мелодию делового стука вплетается телефонный звонок. Откуда-то из прошлого раздается голос его бывшего редактора Акимова:

— Здорово, Александр! Слушай, собственный корреспондент! Тут у нас одно дело есть. Требуется твоя помощь. Или хотя бы присутствие...

Дубравин уважает старика. А «Волга ГАЗ-3102» под задницей. Так что через полчаса он уже входит в редакцию. Господи! Как недавно все это было! А он уже чувствует себя в этих стенах чужим. Володька Пьянков, белесый, лохматый, с белыми бровями и красной рожей, широко расставляя руки, пьяно лезет целоваться. Он уже с утра «на кочерге». Иван Изжогин, серый с похмелья, расцветает золотозубой улыбкой. Что-то бормочет, кудахчет. Обеими руками тянется с рукопожатием:

— Ну ты как?

— Читали, читали твой «Горький урок». Так их, сволочей! Мочи дальше!

— А Куделев где?

— Да у него люди. Жалобщики.

Теперь здесь все свои. Родные. Поэтому Дубравин смело вваливается к Мишке Куделеву. Уставленный новыми безделушками его бывший кабинет наполнен эмоциями.

«Люди» — это громадный, черноволосый, носатый, одетый в форменный синий китель и фуражку с золотыми пуговицами водитель междугородного автобуса. Журналисты хорошо знают, что кроме тех, кто посещает редакции по делам, бывают и другие: графоманы, жаждущие славы и публикаций, «правдолюбцы», изобличающие своих соседей, профессиональные жалобщики и «опроверженцы». Сегодня к Куделеву как раз пробился «опроверженец». Держа в руках яркий номер журнала и резко отчеркивая на странице волосатым пальцем свою фамилию, он сверкает выпуклыми наглыми глазами и нахраписто повторяет:

— Это клевета! Я буду жаловаться министру! Я рабочий класс! Дети вычитали в вашем журнале, что я вор... Как я буду смотреть им в глаза?

Давайте опровержение. Не было этого!

Он, видимо, до того уже привык разводить демагогию, привык присваивать выручку, что это уже не кажется ему воровством.

Но он не на того напал. Мишка Куделев сам мастер «вешать лапшу на уши» и «разводить демагогию». Он находит постановление коллегии министерства, на основании которого была сделана статья. И наконец «затыкает фонтан». Выставляет «люди» за дверь.

Здороваются они холодновато. Михаил Эрастович протягивает Дубравину для пожатия мягкую, пухлую, видно, никогда не знавшую тяжелого физического труда, ладонь и без интереса глядит на него своими голубыми, никогда не пропускающими внутрь и от того будто зеркальными, глазами.

Он постарше Дубравина. Крупный, представительный. Умело сшитый серый элегантный дорогой костюм скрадывает некую рыхлость фигуры. Аккуратный проборчик, круглое лицо, на котором застыло обычное для него при разговоре с начальством выражение постоянного внимания, дополняют образ сытости и довольства.

По образованию он журналист. Однако после окончания университета не пошел в газету, а предпочел освобожденную должность в комсомоле. Когда вышел возраст его как номенклатурного кадра, устроили на освободившееся место редактора отдела в «тихом» техническом журнале.

Новую должность Куделев не любил, как не любил и новую работу вообще. Считал себя обиженным тем, что его направили заниматься делом по специальности, а не повысили по партийной линии. Мечтал о том, что его принципиальность когда-то оценят. И он, уйдя из редакции, сделает карьеру в самом Министерстве транспорта. А пока ждал случая, чтобы выдвинуться. Был секретарем партийной ячейки редакции. И все время старался проявить «принципиальность».

Его постоянно грызла зависть к более удачливым, как ему казалось, сотоварищам по комсомолу. Не раз бывало, он взахлеб рассказывал о них, с деланным возмущением намекая, что их успех в жизни обеспечивает «волосатая лапа». При этом сам Куделев испытывал странное чувство, такое, какое человек испытывает, расковыривая заживающую болячку.

Жажда почитания заставляла Куделева как-то даже бессознательно стремиться выглядеть важным и значительным. Проявлялась она даже в бытовых мелочах. Сотрудники редакции обедали в столовой все вместе. В очереди, как правило, рядом стояли редакторы, уборщицы, наборщики.

Куделев же считал, что это не для него. Но так как отдельных кабинетов не было и в помине, он завел себе подхалима из сотрудников. И

тот каждый день аккуратно брал ему первое, второе, третье.

Куделев приходил прямо к столу.

Никогда Михаил Эрастович не рассказывал новости просто так. Он всегда сначала таинственно намекал на свои высокие связи и лишь затем сообщал, что ему по большому секрету сказали там...

Дубравин как-то побывал у него дома. Куделев завел его на кухню показать большой холодильник. И поведать, через какие великие блаты он его достал. Потом они пошли по комнатам. Где такие же вдохновенные рассказы пришлось гостю выслушать о японском цветном телевизоре, финской стенке и других приобретениях.

Простоватый Дубравин сидел как на иголках, согласно кивал, чтобы не обидеть хозяина. А когда появилась возможность, то, как говорится, «схватил шапку в охапку». И ходу.

С людьми Куделев работал своеобразно. Главной своей задачей считал давить на сотрудников. Заметив какую-нибудь ошибку, неточность или несуразицу в материале, он вызывал журналиста и принимался его распекать.

При этом он и сам не знал, как ее исправить. Однако в редакции привыкли, что все здесь работают. И манера Михаила Эрастовича указывать пальцем симпатий не вызывала.

Общее мнение выразил как-то молодой корреспондент Пашка Прудько, заявивший, что не любит Куделева за «барские замашки».

Люди чувствовали чуждый им чиновничий дух. И сторонились.

В глубине души Михаил Эрастович догадывался об этом. Но никогда не позволял себе задумываться, а просто гнал такие мысли.

— Что тут у вас приключилось? Зачем меня Акимов зовет?

— Здравствуйте! Сейчас узнаешь, — таинственно, как всегда, ответил секретарь парторганизации. — Пойдем. Зайдем к нему.

В чинном, завешанном картами, заставленном шкафами с книгами кабинете редактора царил странный беспорядок. На длинном полированном столе для совещаний были свалены в кучу газеты, иллюстрированные глянцевые журналы. Тут же стояла полная окурков пепельница. Густой дым висел пеленой, которую не мог пробить даже неутомимо гудевший вентилятор. Дверца массивного сейфа в углу открыта. И в ней торчит тяжелая связка ключей.

Пожилой редактор, невысокий, худощавый, как мальчишка, человек с совершенно седым ёжиком волос на голове и лицом аскета, курил одну сигарету за другой. Дымил как паровоз. Глаза его возбужденно поблескивали. На обычно желтоватом морщинистом нездоровом лице

проявлялся какой-то тусклый румянец.

Дубравин только вошел в кабинет, как сразу по едва уловимым признакам, по тому, например, как были сплетены в узелок сухие пальцы рук у Акимова, ощутил: здесь случилось что-то необычное, из ряда вон выходящее.

— Василий Яковлевич! — обратился он к редактору. — Когда вы бросите курить? Мало того что себя травите, так и нас в гроб загоните. Ведь здесь хоть топор вешай.

Александр сказал это не потому, что действительно боялся за свое здоровье. Ему был важен тон ответа.

Вспыльчивому, старенькому, щупленькому Акимову нравился молодой, здоровенный, немного медлительный, но основательный его бывший заместитель. Так что Александру, который теперь стал шишкой, позволялась и некоторая фамильярность в отношениях с редактором.

— Ладно-ладно. Расшумелся! — с удовольствием оглядывая его широкоплечую фигуру, ответил главный. — Ты вон какой здоровенный. Сдюжишь. — А затем, искривив губы усмешкой, сказал: — Познакомься! — и кивнул на второго сидевшего за столом.

Это миниатюрный длинноволосый человечек, крутящий в маленьких белых ручках листок бумаги.

«Значит, сумятицу принес он. Но в чем дело?» — мысль тотчас нырнула в глубину сознания и уже через мгновение оттуда услужливо всплыл привычный, на десятках ситуаций проверенный стандартный ответ: «Наверняка очередной горе-изобретатель. Пришел требовать, чтобы напечатали его гениальное открытие. Акимов хочет подсунуть этого чудака мне. Придется два часа растолковывать, что он изобрел велосипед».

Зазвонил один из стоящих на приставном столике разноцветных телефонов. Редактор поднял трубку, сердито ответил кому-то, затем бросил ее на белый аппарат и, помедлив секунду, повторил:

— Познакомься! Оперуполномоченный ОБХСС из города Кентау Константин Андреевич Кремень.

Дубравин опешил и первую секунду только механически фиксировал внешность этого Кремня: «Остроносенький. Вот уж никогда не думал, что в милиции могут работать такие человечки. Сколько же в нем роста? Про таких говорят: „Метр с кепкой“. Впрочем, такие и любят показывать свою власть. Интересно, что его привело?» ОБХСС в его представлении был настолько далек от дел редакции, что попытки строить версии о причинах появления опера сознание моментально отбрасывало.

Однако Александр привык к редакционным посетителям и потому

внешне никак не выразил своего удивления. Пожимая маленькую, но неожиданно сильную ручку, старомодно спросил:

— Чем обязаны?

— Туманов-то нас в грязь втянул! — опередив Кремня, с какой-то болезненной запальчивостью в голосе почти выкрикнул Акимов. — Спекулянтom оказался!

Александр вторично посмотрел на опера и взял у Акимова протянутый упругий белый листок объяснительной, написанной знакомым с завитушками почерком. Прочитал о том, как его бывший заведующий, вместо того чтобы напрямик направиться к месту командировки, решил заехать в Кентау к родным. Но там его задержали на толкучке с книгами. Обвинили в спекуляции. Дубравин перечел еще раз. По привычке все править механически поставил в двух местах пропущенные запятые.

Объяснительная ничего ему не объяснила. Он сразу понял, просто физически ощутил всю нелепость высказанного обвинения. Против этого восставал сложившийся образ Туманова, его жизнь, все, что Александр знал о нем.

«Да разве такие спекулянты бывают? — подумал он, отодвигая от себя бумагу. — Даже смешно. Впрочем, несмешно. Не так давно вышло постановление ЦК КПСС по борьбе с нетрудовыми доходами. И сейчас принялись шерстить всех, кто под руку попадется. Облавы кругом. Кружат вокруг торговцев с цветами и помидорами... Хватают взяточников в ЖЭКах... В общем, борются. Вот и наш, наверное, случайно попал в сеть. То-то они рады. Для них он птица высокого полета. Как же, редактор отдела республиканского журнала», — точно случайно ухватился он за мысль.

Определив для себя ситуацию, он сразу ощутил глубокую, скрытую в каждом из нас неприязнь к органам, да и вообще к людям, которые разрушают привычные представления.

— Дело, конечно, неприятное. Но мне что-то не верится! — сказал он, обращаясь к Кремню. — Может, вы ошиблись? Случайного задержали человека?

— Это вряд ли! — вмешался в разговор Куделев. — Я давно за Тумановым наблюдаю. Какой-то он не наш, — и заметив, что бывший заместитель редактора что-то хочет возразить, поэтому не давая ему вставить слово, продолжил: — Даже если Туманова просто задержали на рынке со спекулянтами, он уже виноват. Тут разбираться особенно нечего. Пусть сам выпутывается...

— Я знаю его несколько лучше, чем вы, — наконец перебил Дубравин

Куделева. — И вы сразу предлагаете не верить ему из-за какого-то пустяка. Так не пойдет!

Куделев осторожно саркастически улыбнулся. И хотел что-то возразить.

— Ладно-ладно. Хватит вам пикироваться, — прервал их напряженный спор редактор. — Сейчас речь идет не о мерах.

Он погасил сигарету о край пепельницы, встал из-за стола и несколько раз прошелся по кабинету. Акимов чувствовал какое-то стеснение в груди, отсутствие внутренней свободы от происходившего в душе раздвоения.

— Вы с другой стороны гляньте! Вам, я вижу, обоим не дорога честь коллектива! — с каким-то ожесточением сказал он, давая выход накопившемуся раздражению. — А я здесь двадцать лет работаю. И не хочу позора, пятна! Ведь если его посадят, будут говорить: у Акимова в редакции пригрелся спекулянт. Каково?

— Да и не спекулянт он! — возразил Александр. — Это ясно как божий день. Выдумали просто эти, — он раздраженно кивнул в сторону Кремня.

Кремень, до сих пор стойко державшийся в этой накаленной атмосфере и спокойно воспринимавший нападки здорового, нахального, как он про себя окрестил, Дубравина, журналиста, в этот раз вспылил:

— Да что это вы в конце концов все киваете на нас?! За дурачков нас выставляете! Если бы мне руководство не приказало взять это ходатайство, я бы и пальцем не пошевелил для вашего Туманова. И давно бы его за решетку упрятал. Наш Туманов! Наш Туманов не такой! Он не мог! Это ошибка! Никакая не ошибка. Жулик он и махровый спекулянт!

Чуть опешивший от такого натиска, Александр, склонив над столом лобастую голову, ответил:

— Ну вы уж и зашибаете! Привыкли ярлыки клеить людям!

Он вспомнил свою историю «антисоветчика», и раздражение, прозвучавшее в его голосе, переросло в еле сдерживаемый гнев.

— Знаете, сколько при нем денег было при задержании? — спросил Кремень. И сам же ответил: — Две тысячи рублей.

По инерции Александр ответил:

— Это еще ни о чем не говорит!

— Ах, не говорит! Мы насчитали только за год наживу в десять тысяч! А вы сидите слепые здесь и доказываете мне ерунду. Это факты! От них никуда не денешься! — Кремень самолюбиво отвернул остренький нос к окошку. Его взъерошенный вид был настолько смешон, что Александр, несмотря на то что был ошеломлен услышанным, в особенности суммой, не выдержал и растерянно, недоумевающее улыбнулся.

— Но если он такой, — сказал Акимов, — что ж вы тогда ходатайство ему помогаете добывать?

Кремень понял, что сказал лишнее. Он поколебался с минуту, но, видно, мысленно махнул рукой на полученные инструкции и ответил правду.

— А то, что у него там, — пальцем выразительно показал на потолок, — родственники. Вот они и хотят его вытащить. А потом, нам сейчас не до них, не до спекулянтов. У нас сейчас всех кинули на «декабристов». Студентов этих, рабочих. У нас же тоже было их выступление. Правда, небольшое. Так что такие дела закрываем и передаем людей на перевоспитание ввиду чистосердечного раскаяния и отсутствия социальной опасности, — помолчал, добавил с сожалением в голосе: — Не моя воля, — оперуполномоченный достал из-под стола портфель. — Пусть я нарушу порядок, получу втык. Натё, смотрите! — он достал несколько отпечатанных листков. И бросил их на стол перед ними.

Дубравин спокойно взял бумагу. Это было признание Туманова:

«...Приобрел двадцать книг „Волшебник Изумрудного города“ в магазине по цене один рубль девяносто пять копеек. Перепродал их на рынке города Кентау по цене десять рублей за штуку».

Он споткнулся на этих фразах. И перечел еще раз. Почудилось что-то знакомое. Александр отодвинул постановление в сторону. С минуту сидел, не шевелясь. Пытаясь вспомнить. В груди теснилось и ворочалось ему еще неизвестное, до конца непонятное чувство:

«Как это все можно сплести! Волшебник Гудвин. Изумрудный город. Туманов. Притворялся кем? Хорошим? Может быть это? Ну и чушь, я думаю! Тогда что?»

Александр перестал напрягать память, поняв, что так и не сможет уловить связь только что прочитанного с чем-то уже случившимся и оставившим след в душе.

Он снова подвинул листок к себе. И только в эту секунду вспомнил. В последнее воскресенье перед майскими праздниками он ездил на толкучку. И там, на базарчике, купил в подарок ребенку друзей «Книгу будущего командира». За десятикратную стоимость. Как он тогда возмущался спекулянтами. Как ненавидел их! Н-да!..

А все ж Туманов свой человек... И что делать-то?

Оперуполномоченный поднялся из-за стола. Со значением глянул на задумавшегося Александра. Произнес:

— Мне надо в одно место еще съездить. Ну а вы, товарищи, пока решайте, как быть.

* * *

Акимов читал дело по-старчески медленно. Постоянно возвращаясь назад. Чтобы точнее понять смысл написанного.

Дубравин давно сделал для себя одно интересное открытие. Для тех, кто участвовал в каком-либо великом историческом событии, это событие было звездным часом их жизни. А потом они как бы просто доживали, вспоминая то незабываемое время, тот переломный момент. И пользовались «дивидендами» с того звездного часа. Такое «золотое время» для фронтовиков началось с приходом Брежнева к власти. А тут еще на жизнь Акимова наложился «предпенсионный синдром». Это когда руководитель готовится к пенсии и, понимая, что с уходом поступления всех благ прекратятся, торопится устроить личные дела. Акимов заканчивал отделку дачи, ремонтировал «Волгу», на которой катался сын, устраивал поудобнее в жизни младшую дочь.

Приходилось доставать дефицитные запчасти. Знакомиться с нужными людьми. Все замечали, что в последние годы он стал осторожнее. Ветеран, орденносец, который в общем-то презирал всех этих мелких и больших жуликов и торгашей, вынужден был улыбаться и «водить знакомства». Так уж была устроена эта жизнь. Без связей и блата — никуда.

Как-то Акимов со значением рассказал Александру историю дерева:

— У меня, Саня, возле дачи в горах растет яблоня-дичок. Я за ней уже лет двадцать наблюдаю. Поднялась она рядышком с огромнейшим, знаешь, с таким покрытым мхом дедом-валуном. И чтобы пробиться к свету из-за его бока, пришлось ей самым невероятнейшим образом прогнуться, вывернуться в росте. Чуть ли не в узел завязаться. Вот так и человек должен своего добиваться.

Он очень гордился своим так трудно обретенным умением лавировать и приспособливаться. Хотел передать его Дубравину. Но с огорчением видел, что тому оно дается еще хуже, чем давалось ему самому. Александр умом-то правильно воспринимал уроки Акимова. И даже старался научиться этой необходимой для выживания жизненной тактике. Но было в нем что-то такое, что, несмотря на все прилаживания, независимо от желаний Дубравина, выпирало наружу. Это что-то люди называют независимостью суждений и взглядов.

Акимов уже давно не верил никаким указаниям сверху. Поэтому начавшаяся недавно борьба с нетрудовыми доходами и коррупцией его нисколько не вдохновляла. «Сколько их было на моей памяти. Кто знает, удастся ли сейчас перестроить, вдохнуть в жизнь, в то, что многие годы

мертвело и застывало. Да и кто будет очищать. Федор Степанович? Или Колька Федун? Они сами погрязли в пустословии. Нужны свежие люди! А где они?»

Сейчас, читая признания Туманова, он чувствовал, что эти строки просто налиты, пропитаны опасностью для его спокойствия.

* * *

Пока в кабинете занимались чтением бумаг, которые выложил на стол уже пожалевший об этом опер, Валентин Петрович Туманов ходил по приемной и с тревогой прислушивался к голосам.

Если для всех его дело началось только час назад, то для него самого это давний случай.

И началось оно со страсти. А куда же без нее. Он уже много лет подряд собирал книги. Для этого посещал магазин и «пяточки», где сходились библиофилы. Отправляясь туда, он испытывал особое, благоговейное чувство собственной важности и значительности, принадлежности к особому кругу. Книги приходили и уходили. Обменивались и продавались. Но Туманов никогда ими не спекулировал. То, что он продавал их за свою цену, тоже возвышало его в собственных глазах.

Падение же случилось неожиданно.

Однажды ему предложили за только что приобретенное сочинение академика Тарле «Наполеон» три номинала. Валентин Петрович не устоял. Оплошал. Когда легко добытые купюры хрустнули в кармане, он понял, что может исполнить давнюю мечту. Купить редкое издание Кафки.

Через неделю ему опять понадобились наличные. Вспомнив первый легкий заработок, Валентин Петрович уже сознательно сбыв книгу Пикуля «Моонзунд» за пять номиналов. Тогда и пришло понимание, что страсть к хорошим книгам можно оплачивать скупкой и перепродажей. Взыграла и природная скупость, подстегиваемая ворчанием жены, видевшей, как часть семейного бюджета уходит на сторону.

Постепенно он втянулся в дело. Завел знакомство с приемщиком вторсырья, юрким смурным уйгуром Аликом. Стал через него доставать талоны на особо дефицитные издания.

Случай свел его с жаждущими приобщиться к его величеству «книжному дефициту» книголюбями малой родины, на которую он частенько выезжал в командировку. Здесь хороших книг было мало, а цены на них выше.

У него даже руки задрожали, когда серию «Проклятые короли» удалось сбывать одному из местных «книжных жучков».

Так что, добыв книги, он брал командировку или отпуск за свой счет. И мчался в Кентау. Звонил обширной клиентуре по телефону. Называл товар, стоимость и договаривался о встрече в условном, обычно многолюдном месте. Книги и деньги незаметно передавались из рук в руки.

Если бы тогда его назвали спекулянтом, он бы оскорбился. Валентин Петрович уже усвоил правила игры и считал себя просто ловким, умеющим жить человеком. Спекулянты — это небритые личности, что стоят на базарах, выжимая трешки и рубли.

А здесь интеллигентный человек оказывает услуги таким же интеллигентным людям, книголюбам. Правда, не бесплатно. Но он ведь тоже тратит свое время, силы, энергию. Да в принципе так жила вся страна. В условиях тотального дефицита люди вынуждены искать блат, знакомства, обменивать услуги на услуги. Принцип «ты мне, я тебе» заменил привычную формулу Маркса «товар — деньги — товар».

Так жили все, кто имел хоть малейший доступ к дефициту.

В Туманове, как и во всяком советском человеке, поселились как бы две разные личности. Он активно выступал на собраниях, пылал поддельным негодованием по поводу недостатков, чиновников, бюрократов. И в то же время по-настоящему вспыхивал и переживал, если, скажем, покупатель «Сказок народов мира» пытался недоплатить хотя бы рубль.

Он все еще считал себя библиофилом, хотя времени на чтение не оставалось. Да и книги на продажу требовались совершенно новенькие, чистенькие, лучше всего нечитанные.

Деньги давали ему ощущение собственной значимости. И действительно, на работе в казенном журнале он был всего-навсего журналистом средней руки. А в рыночной стихии стал деловым человеком, «консультантом», как величали его на развалах.

И вот все кончилось. Это произошло в рейсовом автобусе. В степи. В салоне «Икаруса» к Туманову подошли два ничем особенным не примечательных, разве что излишне старательно-вежливых молодых человека. И попросили его выйти на следующей остановке. Там их уже поджидала белая, покрытая легким налетом пыли «Волга ГАЗ-24».

Он настолько растерялся, что даже забыл на сиденье целую связку книг. Может быть, «Икарус» так бы и ушел с ними, но у Туманова еще теплилась надежда на удачу. И потому верх над осторожностью взяла жадность. Валентин Петрович сказал о товаре задержавшим его оперативникам.

А дальше пошли допросы, опросы. Очные ставки. И разная прочая

дребедень. Особенно его потрясла пожилая заведующая продовольственным магазином. Он три года возил ей дефицит. Верил в ее дружеское расположение. А тут она кричала, тыча ему в лицо толстым пальцем с туго надетым на него дутым золотым перстнем:

— Ханыга! Жулик! Настоящий спекулянт! Ему и прозвище у нас на рынке в городе дали — Паук. Потому что он никогда никому и рубля не уступал.

Во время допросов, очных ставок Валентину Петровичу хотелось остановиться хоть на секунду и крикнуть:

— Я все осознал! Простите, отпустите меня!

Но он, словно замороженный ходом следственной машины, продолжал делать то, что ему говорили. И молча подписывать подаваемые бумаги.

В эти дни в его поступках не было даже элементарной хитрости. Всеми действиями руководил только парализующий душу животный страх. И страх этот подсказывал ему одно: надо не разгневать, угодить тем, от кого теперь зависит его судьба.

«Выбраться во что бы то ни стало!» — решил Валентин Петрович для себя. И готов был сделать для этого все.

В изоляторе временного содержания, лежа на жестких грязных нарах, под храп сокамерников, обливаясь горячими слезами, он страстно, безыскусно и неумело молился: «Господи, если ты есть, помоги мне! Только бы выбраться. Мне больше ничего не надо!»

Наконец петля ослабла. На третий день его выпустили. Правильно посчитав, что он никуда не сбежит.

Валентин помчался к отцу. Отец, крупный руководитель, которого знал весь город, схватился за голову. У матери случился сердечный приступ.

После всех трагических сцен отец предложил выход. Оказалось, что начальник милиции — его старый друг. Но и он теперь не мог помочь сразу. Дело уже обрело ход. Решили, что единственная возможность закрыть его заключается в передаче Туманова на поруки коллективу редакции. Для этого нужно было ходатайство с работы. И от серьезных людей.

* * *

С того мгновения, как Дубравин увидел «другого» Туманова, одна мысль не давала ему покоя. О чем бы он ни думал, покрутившись, опять возвращался к ней. Прикидывал ее так и эдак. Пробовал на вкус, пытался растянуть, подойти логически. Через полчаса она уже стала ему глубоко противна, но избавиться от нее он никак не мог:

«Что-то не так у нас в стране. Какая-то всеохватная ложь. И неразбериха. Все мы люди с двойным дном. Туманов на работе пишет одно, в жизни делает другое. Куделев — тот вообще чудной. Секретарь партячейки. Всех изобличает, говорит на собраниях красивые слова, а шмотки составляют истинный смысл его жизни. Акимов — фронтовик. Заслуженный ветеран. А вынужден договариваться с начальниками автопарков о покупке списанной „Волги“ и ее ремонте. Чтобы было на чем после выхода на пенсию ездить. И хвалит этого ворюгу начальника со страниц журнала.

Кто-то хитроумный так эту жизнь устроил, что человек за все должен биться. Лавировать. Врать. Приспосабливаться.

Вот люди между природой и идеологией зажаты. И корежатся душой. Какими-то двуличными становятся.

Так, глядишь, и меня жизнь эта согнет в дугу.

Партия тоже. Только что было постановление о развитии кооперативного движения. А теперь вдруг объявили борьбу с нетрудовыми доходами. Хрен их поймешь! Там, наверху!

Конечно, и я дам поручительство за Туманова. За этим Акимов меня и позвал. Но все равно. Не может такая двойная мораль держаться вечно. Ведь так у нас во всем. Вон, в национальных отношениях что произошло. А тоже кричали: „Лаборатория интернационализма“, „Новая историческая общность — советский народ“. И чем вся эта брехня кончилась? Площадью кончилась. А вспомнить бывшего министра Карабаева. Вот уж точное выражение: „Подгнило что-то в датском королевстве“».

Часть II

На войне как на войне



I

Адам уснул. Господь Бог открыл его грудную клетку. Вынул нижнее ребро. Положил рядом. Затем аккуратно закрыл обнажившиеся кости живой плотью.

Работа предстояла нехитрая. Создать из ребра, взятого у первого человека, женщину.

Пару часов неустанных трудов. И все готово! Вот она стоит за спиною Бога. Ева! Кость от кости мужчины. Плоть от плоти его.

Замысел Господа Бога прост: «Да оставит человек отца своего и мать свою. И прилепится к жене своей. И будут два — одна плоть».

А вот и Адам просыпается. То-то ему будет сюрприз.

Бог отходит в сторону. Указывает на свое произведение. И произносит торжественно:

— Ну, Адам! Получай жену!

II

На улице яркое солнце. А в комнате полумрак, потому что шторы закрыты наглухо.

Но он отлично ориентируется в темноте, так как точно знает расположение каждой вещицы. Уже два года он живет здесь на квартире. А вот она здесь впервые. Вообще у них все здесь впервые. И этот шепот. Робкое дыхание. Постукивание часов.

Казаков, стараясь не спугнуть удачу, потихонечку-потихонечку, осторожно спускает ей трусы. Сначала до колен. А потом все ниже и ниже. Она подгибает ноги, позволяя ему закончить подготовку. Затем одной рукой он обнимает ее за плечо и целует, а другой потихоньку раздвигает ей ноги. Сегодня, как ни странно, она не сопротивляется...

Наконец-таки он овладел ею. Сколько же они ходили, терлись, ласкали друг друга откровенными ласками. Сколько же он пристраивался к ней, пока наконец дошло до дела...

С тех пор как вернулся он в этот солнечный город, непрерывно продолжается их сериал. Мыльная опера, главными участниками которой помимо них с Ириной являются мама и папа Смирнитские, их родственники и друзья. Вот уж где на практике проверяется древняя мудрость: «Любовь зла...»

Не глянулся молодой бравый гэбист родителям девушки. А отсюда все и пошло. Сначала мама — главврач большой поликлиники — просто пилила дочечку с утра до вечера, заочно доказывая, что он, деревенщина, не пара ей, культурной и высокообразованной девушке.

Затем папочка — крупный «тыловик» в военном округе — предложил все-таки пригласить суженого-ряженого домой, так сказать, для визуального знакомства.

Что и было проделано. Казаков явился. Был оценен по достоинству. И допущен в круг семьи. Где периодически обедал. И иногда даже выпивал с отцом Ирины рюмку чая.

Но мама не сдавалась. В ход пошли неизменные или низменные женские методы. Как то: подслушивание, подглядывание, перехват писем. И соответствующие внушения с тещиными комментариями в адрес будущего зятя. История банальная, как весь наш мир. Может, Казаков походил бы, походил да и отвалил. Но тут выиграло ретивое. Тем более что Иришка постоянно докладывала ему о ходе боевых действий на домашнем

фронте. И тоже отвечала маме коварными женскими шпильками. В общем, в этой бесконечной борьбе «нанайских мальчиков» победителя пока не просматривалось.

Что двигало этот процесс?

Все помаленьку. Немножко тщеславия. «Как же, девушка из такой семьи!»

Чуточку упрямства. «Я докажу ее родителям!»

Привычка. «Сколько времени ходил!»

А главное — желание. «Очень хочется иметь ее во всех видах».

С ее же стороны это была борьба за независимость. Впервые в жизни она сделала самостоятельный выбор.

Раньше родители определяли круг ее друзей и подруг, место в жизни, профессию. А вот теперь впервые она сделала выбор сама. Познакомилась с парнем. Закрутила любовь. И отказаться от него — это значит отказаться от самостоятельности. И вечно находиться под маминой опекой.

Она боролась, как умела. Самоутверждалась не только в своих глазах, но и в глазах подруг, друзей. «Вот вам. Я — серый мышонок, вечный предмет для шуток и насмешек — отхватила такого парня. Знай наших!»

И еще! Какое-то физиологическое тяготение. Неведомая ей сила. В нем. И так хочется прислониться к этой силе. Спрятаться за чьей-то широкой спиной. Ведь все эти ребята, которые в малом количестве учились у них на филфаке, не были настоящими мужиками, о которых они все грезили и мечтали.

Вот и тянется этот роман без конца и без края. А ведь каждые отношения имеют свою фабулу, свою логику, свой срок. И тут, как говорится, ничего не попишешь. Нельзя все время находиться на одной стадии. Девушка созрела. Ей давно уже пора. Груды у нее хорошие, круглые, налитые. Бедра крепкие, нежные. Горячая южная кровь закипала быстро. Так что, когда он запускал ей руки под лифчик, она вся трепетала и горела. А финал не приходил. Потому что Ирина страшно боялась. Вдруг мама узнает! Из-за сопротивления родителей процесс первичных ухаживаний сильно затянулся. Их взаимные ласки становились все смелее. Но тень мамы в белом халате и с острым скальпелем в руке постоянно витала над постелью влюбленных.

Да и была ли это любовь? Анатолий и сам уже не мог ответить. Настолько запутался в своей затянувшейся мыльной опере.

Но сегодня он наконец-таки перевел их отношения в другую, более естественную, горизонтальную плоскость. Только вот к неподдельной радости и сейчас примешивается немалая толика тревоги и разочарования:

«Почему между нами остается какая-то натянутость. С чем она связана? Неплохо бы это все понять».

* * *

Прошла пара недель. И радость от близости вообще улетучилась. Всклипывая у него на плече, она «по секрету» сообщила, что, кажется, они «залетели».

Решили подождать. Однако прошли все сроки, а толку не было.

И снова проклятые вопросы не дают ему спокойно спать.

«Как так могло получиться? С первого раза? Через десять дней? Что-то тут не вяжется. Никак не сходятся концы с концами! Надо мне разобраться в этом деле».

Ну что ж, разобраться так разобраться. Не зря же он учился на шпиона.

Решил применить полученные навыки в семейной жизни.

Каких только связей, в каких только сферах не имеют работники комитета. А как же иначе! Ведь они, что называется, курируют все стороны жизни. Их представители имеются на каждом предприятии. А агентурная сеть плотно покрывает всю страну. Так что для него не составило особого труда найти умеющего помалкивать доктора. Молодая, яркая, черноглазая, полногрудая, вся так и благоухающая духами врачиха в белом-белом, тщательно отутюженном халатике его огорошила своим диагнозом:

— У вашей невесты беременность. Срок пять-шесть недель!

Вот тут-то он сначала призадумался: «Откуда?» Долго они с Ириной мусолили варианты. Но правды он так от нее и не узнал. Сошлись на том, что бывает и так. С первого разочка.

Как благородный юноша, он вел себя предельно порядочно. Предложил кинуться в ноги родителям. Поженимся. Покроем грех законным браком. И родим. Они добрые. Примирятся.

И здесь она опять повела себя как-то странно.

— Нет! Нет! Мне надо доучиться! — Она заканчивала четвертый курс. — А потом родители — такие враги. Устроят скандал. Не простят. Изгонят из дома. Лишат крова. И материальной поддержки.

И так две недели подряд на все его уговоры. В конце концов он махнул рукой.

— Решай сама.

Она и решила. И проявила в этом решении невиданные доселе упорство и твердость.

И сейчас, и тогда все было просто. Никто из окружающих ничего не распознал. Казаков забрал ее из учреждения. Отвез домой.

Все вроде бы уладилось. Но грызли его после этой истории новые сомнения.

И вот однажды, проводив ее с факультативных занятий по английскому языку домой, он не ушел, как обычно. А скрылся в одном удобном местечке в арке между домами. Неподалеку от входа в ее подъезд. И стал поджидать.

Что-то ему подсказывало: она выйдет снова.

Ровно через пять минут переодетая в новую желтую куртку Ирина Смирнитская показалась из двери. Внимательно огляделась. И зацокала каблучками, засемила тонкими лодыжками вдоль по улице.

Он за нею.

Через квартал она шмыгнула в дверь подъезда, в котором, как Казаков знал, жил некто Саша Абрамович.

С ним была отдельная история. Мама, чтобы избавиться от нежелательного жениха, решила свою дочечку свести с мальчиком из хорошей семьи. Предложила Саше, как отлично знающему аглицкий язык, заниматься со своим чадом дополнительно и за деньги. Тот согласился. Ирина постоянно смеялась над маминой интригой. Но на дополнительные занятия ходила регулярно.

«А зачем она пошла к нему сейчас? Время уже позднее. Вечереет. Что она там делает? — задавал себе вопрос Анатолий. — Раньше я не был столь подозрительным, — поймал он сам себя на этих размышлениях. — Но теперь, после всего это выглядит странным».

Постоял он так в подъезде с полчаса. Пострадал. Но как-то стало ему стыдно. Вышел на улицу. И даже попросил у прохожего мужичонки покурить. Так-то он не курил. А тут вот... От волнения.

Вдруг хлопает дверь. И вываливают они. Субчики-голубчики. Под ручку. Он едва успел залететь за угол, как парочка, весело болтая, на всех парах пронеслась мимо него. Тут уж, как говорится, гляди в оба. Он за ними. На безопасном расстоянии.

При входе в парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев Казаков приотстал и потерял их в сумерках из виду на некоторое время. Но прошелся по аллеям и снова засек парочку по яркой желтой, отсвечивающей куртке Ирины. Сидят они на скамеечке в кустах, Абрамович приобнял ее нежно. Запустил руку под кофточку. И давай целоваться.

Горячая кровь бросилась Анатолию в лицо. Ударила в голову. Руки, ноги затряслись. Все в тумане. Гнев подкатывает к горлу. Но видно, не зря с ним так долго возились наставники и учителя. Удержался. Устоял. Решил: «Подожду ее возле дома. Там разберемся».

Вернулся на позицию. Постоял. Опять покурил. Чуть остыл.

Через полчаса она идет. Юркнула в двери. И наверх.

Он следом. Окликнул не своим голосом:

— Ира!

Она не отозвалась. Только каблучки скорее застучали по лестнице. И хлопнула дверь. Он за ней. Вдох! Выдох! Вдох! Выдох! «Вдруг дома мама. Надо быть спокойнее». А дверь на замок не закрыта. Просто захлопнулась. Вошел в прихожую потихонечку. И слышит обрывки фраз. Она по телефону с кем-то разговаривает:

— Я боюсь. Он здесь возле подъезда меня ждал! Мне страшно!

Казаков опять окликнул ее:

— Ира! Солнышко! Я все видел. Что ж ты делаешь, гадина?! Мразь! Тварь! Змея подколотная! А? Я ж тебя любил...

Она бросила трубку. И к себе в комнату. Спряталась, мол. Он за ней. Она дверь закрывает. Он ногу подставил. Не дает.

И тут истерический крик:

— Что ты пришел! Что ты все меня выслеживаешь?! Ненавижу тебя!

Казаков думал, она будет каяться. А она на него поперла. И он гад. И заел ее жизнь. Лишил ее молодости. Мерзавец.

Он весь в недоумении. Стушевался. Как же так? Вел себя по-рыцарски все это время... Одно слово — конфуз.

А она распалилась. Выскочила. Глаза сухие. Злобные. Сумасшедшие. Ведьма, да и только. Кидается на него. Норовит коленкой ударить. В общем, когда крысу загоняешь в угол, смотри в оба глаза. Покусает.

Пока они выясняли отношения, время шло.

Внезапно хлопает дверь. И влетает, вкатывается сам Саша Абрамович. Весь на нервах. Красный как рак. Готовый к бою.

Как кинется к ней. И тоже с истерикой:

— Сука! Ах ты, сучка! Ты мне говорила, что уже давно ушла от этого козла. А сама!..

В следующий миг он оказывается в углу комнаты на полу. Кулак Казакова сработал инстинктивно и четко. Абрамович садится, трясёт головой, вытирает кровь с разбитой губы.

— Только и можешь, что драться... Лучше ей вмажь. Она ведь и со мной, и с тобой! И еще с одним парнем с факультета крутила!

— Да врешь ты все! Заткнись! — Ирина вскакивает. И, как пробка, вылетает из комнаты.

— Она хуже любой проститутки. Потому что притворяется. И всегда лжет. Мне сказала, что с тобой разошлась, — продолжает кипеть

Абрамович.

— Как разошлась? Она беременная от меня была!

— От тебя?! — Абрамович делано, криво усмехается. А у Анатолия в голове сумасшедшая догадка: «Е-мое!

Вот они и вылезли все нестыковочки. И сроки». В голове у него кружится, скачет. Кажется, что он куда-то проваливается.

«А я-то дурак! Господи, за что ты меня так наказал этой любовью?»

Он идёт искать Ирину, находит её во дворе.

Она рвется, что-то кричит ему в лицо. Бьется, как птица в силке. Захлебывается. А он стоит как пень, словно смотрит немое кино, и думает:

«Кто она мне? Чужой, ненужный человек, который чего-то почему-то хочет от меня!»

И в груди какой-то холодный, жгуче-ледяной камень. Все-то ему понятно. И нечего больше сказать. И еще усталость. Откуда-то из глубины души, уставшей чувствовать себя нелюбимой.

«Да пошли они все! И чего она орет благим матом? А теперь вот зарыдала. Зачем?»

И вдруг ее слезы как-то опять толкнулись в сердце. И оно отозвалось болью. Такой болью. Он вдруг понял, что это конец. Обнял ее. Прижал к себе. Эту сучку. Родную сучку. С которой он так долго был связан. Которая дала ему такой жестокий урок на всю жизнь. Сломала, искорежила что-то важное в его душе.

Они стояли так несколько минут в обнимку. Боялись оттолкнуться друг от друга. Понимали, что это навсегда.

А потом вдруг заплакали вместе...

* * *

Через три месяца он уехал на курсы усовершенствования офицерского состава. И то дело. Где-то наверху было принято решение. Не копать дальше. Не искать тех, кто организовал декабрьское стояние на площади. Поэтому те, кто много знал и лез куда не надо со своими открытиями и рапортами, больше не требовались. Пусть едут подальше от Алма-Аты. С повышением вас!

III

«Новый кабинет. Новый секретарь. Новая должность. А работа старая. Бумаги. Бумаги...» — Амантай Турекулов поморщился и убрал соринку,

попавшую в глаз.

Какая-то необъяснимая, давящая, сосущая душу тоска напала на него в последнее время. То ли достала сырая, невнятная зима, то ли дела семейные. Постылая жена со своими вечными претензиями. Проблемные дети.

Не так давно у него родились близнецы — мальчики, похожие на всех родственников сразу.

Вот уж поздравляли его, поздравляли. Все холуи сбежались: «Амантай Турекулович! Какая у вас радость! Какое у вас счастье!»

А какое у него счастье? Счастья-то и нету. Жаловаться особо нечего. Но и радоваться особо нечему.

Может, зря он когда-то так рвался к карьере, к власти. Может, ему для души лучше было бы баранов пасти. Или работать каким-нибудь трактористом, механизатором. Ведь любит же он прокатиться на мотоцикле.

«Ладно. Хватит. Раскис, понимаешь!»

Амантай встал из-за большого полированного, уставленного разными безделушками стола. Прошелся туда-сюда по просторному кабинету. Подошел к сейфу. Достал оттуда початую пузатую бутылку армянского коньяка и лимон. Аккуратно налил полстакана. Выпил духовитую жидкость залпом. Не морщась, закусил лимончиком.

«Ну вот. Кажется, настроение поднимается вместе с градусом. Что там у меня на столе? Доклад к пленуму? Надо выправить. И добавить что-нибудь значимое».

Допинг подействовал. Он вернулся к столу в приподнятом настроении. Взял в руки беленькую брошюрку «Конституция СССР». Наугад открыл раздел «Основы общественного строя и политики СССР». Нашел седьмую статью, в которой говорилось о работе общественных организаций. Стал читать, подыскивая подходящую цитату. Ничего не нашел. Покрутился в своем зеленом кресле. Достал из большой тумбы стола домбру. Ударил по струнам. Инструмент ответил недовольным глухим гулом.

«Что-то не работается. Вызову-ка я помощника. Пускай он правит доклад. В конце концов, за что я ему деньги плачу? Взял его с собою сюда, в центральный комитет. Пусть работает».

Нажал на кнопку звонка. Бесшумно открылись сначала одна, потом другая дверь. Показалась стройная, строго одетая — белый верх, черный низ — секретарша Гузель. Красивая. Но Амантай строго, никакой фривольности:

— Вызовите Сергея Трутнева!

Через минуту в дверях очутилась узкая, носатая и бровастая физиономия помощника по литературной части.

— Сергей Павлович! Я тут посмотрел подготовленный в отделе мой доклад на пленуме. Ну никуда не годится. Просто верх безобразия! — На самом деле Амантай даже не открывал присланной ему писанины. Просто у вышестоящих товарищей он научился такой манере работы с подчиненными. Сначала опустить. А потом озадачить. — Поэтому прошу вас посмотреть его свежим взглядом. Переделать. А уж потом приносить ко мне.

Когда за помощником тихо закрылась дубовая дверь, снова присел к столу. Почитать газеты. Что там пишут о республике в центральной прессе?



«В биографии декабрь...» — «Опять Дубравин разразился статьей на тему зимних событий. Прошло. И забыли. Так нет же. Все дует и дует в свою дуду. А ведь времена меняются. А он этого не понимает». Вздохнул. Перевернул страницу. «С одной стороны, после декабрьского шока потихонечку, полегонечку напуганный народ восстанавливается. Какие-то вещи стали подвигаться. В ЦК Компартии создали сектор межнациональных отношений. Посадили туда немца Шепеля, чтобы разгрел дела. В первую очередь языковые. Начали казахский язык

продвигать. Детские сады, школы на казахском появились. Закон о языке приняли. Требуют двуязычия в официальных делах. А с другой, как обошлись с молодежью, участвовавшей в декабрьских событиях? Плохо обошлись! Вчера приходил к нему один из таких ребят. Просит восстановить его в комсомоле. На работе. Принес заявление. Где оно лежит? А вот, кажется». Амантай подвинул к себе с края стола написанное мелким убористым почерком заявление. Стал читать:

«...Сейчас у меня на многое открылись глаза. С раннего детства нас учили верить в идеалы коммунистов. В их честность, принципиальность. Но только сейчас мы узнаем о фальсификациях, подтасовках, приписках. Все это проделывали не только с планами, орденами, но и с честью...»

— Ишь, как пишет! — вслух произносит Амантай. — Смелые теперь стали все. И про Кунаева тоже...

«Трудно вообразить, кем был для нас бывший первый секретарь ЦК партии республики Кунаев Д. А. И кем он стал для нас сейчас. Ладно мы, молодежь, заблуждались в те декабрьские дни. Но где же был он, наш первый секретарь? Ведь предлагало же ему бюро выступить перед собравшимися. Он отказался, спрятался. А ведь мог бы объяснить, предотвратить, помочь разобраться в ситуации, когда та возникла. Видимо, в то время не интересовали его наши судьбы...»

Амантай снова отложил заявление. Странные мысли, двойственные и не до конца понятные, мучили его, кружили голову. «Кто друзья? Кто враги? Где враги?»

Жизнь вроде как после всей истории осталась такой же, как и была. Но это все внешнее. Снаружи. А в воздухе самом, в какой-то ауре над республикой, над городом... Впрочем, в какой там ауре?! В головах людей все изменилось. Вот друг Ербол. До площади он, Амантай, ему доверял. Целиком и полностью. А теперь? Что-то в нем переменялось после следственного изолятора. Внешне все то же. А чего-то не хватает. «Может, продал он меня? Может, стучит? И так голова кругом идет».

И народ весь изменился. Партийные органы, постановления, съезды говорят об одном. А люди шепчутся на кухнях. Гнут свое. Как будто что-то давно сдерживаемое, зябкое, евшее душу вышло наружу. Казахстан — колония. Сырьевой придаток. Русские — колонизаторы. Высосали республику. Вроде правда. Так и есть. А с другой стороны. Есть друзья. С детства. Настоящие. Незаемные. Какие из них колонизаторы? Смешно. Или их родители. Такие же труженики, как и его отец с матерью. Как совместить? Трудно. Скорее всего, невозможно. Запутаетесь. Туман. Один туман. В голове. И главное, не к кому пойти с этими мыслями. У кого

искать поддержку? Кто объяснит? Единственная отрада — новые друзья. Писатели... Книги... Мухтар Шаханов.

IV

Время идет. Но ничего не лечит. Александр Дубравин чувствует это. И боится этого. Он даже пытается снова вести дневник. Чтобы хоть как-то выразить, сбросить с души боль потери и в надежде через эти строки заочно объясниться с нею: «Пишу в пустоту. В небо. В звезды. В безмолвие, которое окружает меня. Ты молчишь... А я не могу...»

Он встает из-за стола, переворачивает несколько страниц. И снова читает старые записи:

«Мне говорят, что необходимо как-то выяснить отношения. Чего уж выяснять... Я запутался... А потом надеялся, что все пройдет само собою. Ну, предположим, что я заболел каким-то видом психического заболевания. Но, увы, не могу вылечиться. И что самое главное, не хочу. Это факт.

О Крыловой. Тогда, после школы, она прислала письмо, в котором предложила „дружбу“ на всю жизнь. И так далее. Можно ли не ответить на такое предложение? Я и ответил. И с этого началась наша переписка. Конечно, никаких особых чувств я к ней не испытывал. Но у нее было одно преимущество. Она умела писать. И ждать. И, честно говоря, ее письма представляли для меня особый интерес. У нее всегда были особенные новости. Частенько (что греха таить) я с откровенностью, которой никогда не было между нами, признавался ей в своих слабостях. В общем, она заняла совершенно особое место в моей жизни. Она стала другом по письмам. С ней было легко и просто... Потом она ждала. Беспokoилась. А это льстило самолюбию. Когда я написал, что мы с тобою поженимся, она резко замолчала. Тогда-то я и подумал, что она не просто так писала. А тут сестра Зойка нарисовала передо мною такие картины о ее расчетливости. Но сестре я не поверил. Не смог поверить. Но видно, зря...»

Дубравин почитал еще свои старые записи, которые начал писать тогда, в дни кризиса. И отложил их в сторону: «Сколько воды утекло в Гульбе. А мы все никак не успокоимся. Какой-то парадокс. Люди уже давно разошлись. Каждый по своей дороге пошел. А отношения все еще остаются. Выясняются.

Круги на воде. Просто круги на воде... Жизнь же требует каких-то

изменений. Как там в Священном Писании сказано? „Авраам родил Исаака, Исаак родил Якова...“ Ну, в общем, и так далее. А кого я родил? Или чего? А жить как-то надо! Устраивать как-то судьбу! Не будешь же вечно чего-то ждать. Ясно, что теперь ее не вернуть. Пиши в дневнике — не пиши».

Все чаще Александру Дубравину приходили эти мысли. Ведь даже пора свадеб его поколения и то заканчивалась. Как водится, мужчины уступили дорогу девушкам. И те торопливо повыскакивали замуж. Потом начали жениться сами. И как-то все неожиданно, резко. А он оставался один. Было у него за это время пару романов. Но каких-то вялых, бестолковых, сумбурных. Ни к чему не обязывающих. И ничего не дающих. Одно слово — бесплодных.

Новой любви не было. Но при всем при этом он оставался здоровенным мужиком. Ему нужна была близость с женщиной. Да и честно говоря, надоела неухоженность, неустроенность. Общежитский стиль жизни.

* * *

Может, так и не появился бы в его жизни просвет, если бы не его бывшая однокурсница Светка Ганиева. Однажды весной они встретились в кафе по какому-то неотложному делу.

— Ну что, Дубравин, как дела? Не женился еще? — Светка, ухоженная, яркая, красивая, черноглазая и черноволосая метиска. Отец — татарин, мать — русская. На правах старой университетской подруги могла задавать любые вопросы.

Александр машет отрицательно головой. И переходит к разговору о публикации, которую он должен ей заказать.

Дело в том, что собственные корреспонденты обязаны готовить не только личные материалы, но и так называемые авторские.

Вот и приходится привлекать друзей и знакомых. Чтоб писали в молодежку.

Но Светка не дает ему изложить суть дела:

— Слушай! Тут мне надо срочно заехать к одной подруге. А потом поговорим...

Дубравину деваться некуда. План по авторским выполнять надо.

Повез ее на своей «Волге» к подруге. И следом за нею поднялся на второй этаж старенького чистенького дома.

Ах ты Боже мой! Дверь открыла хорошенькая, чистенькая девчонка. В домашнем халатике и тапочках. Увидела его огромную фигуру в пролете и круглое удивленное лицо. Покраснела вся. Пошла пятнами. В это-то

мгновение стала видна Дубравину вся ее наивная чистая душа.

На контрасте — Светка-то деловая, в модном джинсовом прикиде. Шустрая. А эта маменькина дочка. Домашняя.

Стала Светка их знакомить:

— Мой бывший однокурсник Александр Дубравин!

— Таня! — мягко и тихо произнесла девушка.

Дубравин разглядывает ее: «Симпатичная, спокойная. Беленькая. Нос с горбинкой. Глаза внимательные. Детские. Наверное, отличницей была в школе и университете. Но чего-то в ней не хватает. Какого-то штриха. Яркости какой-то! Вся приглушенная».

Сели пить чай. Так как-то уютно, спокойно стало Дубравину в этом чистеньком ухоженном доме, что и уходить не хотелось. А надо!

На прощание поцеловал хозяйке кончики пальцев. Тут уж она залилась краскою до корней волос.

А Светка — девка хитрая. Все-то ему и выложила. Университет подруга заканчивает. Никого у нее нет. А хочется любви. Тепла. Семья хорошая, интеллигентная.

Щебечет себе Светка в машине. А сама все поглядывает на него. Видать, что-то задумала.

Договорились. Заметку в его газету она напишет. Через неделю передаст при встрече.

* * *

Дубравин продолжает носиться по республике, как «черный вихрь». Правда, теперь интересуется как бы невзначай у Светки: «Ну, как там твоя подруга? Все скучает?»

Голова, конечно, все время занята в основном работой. Но нет-нет да и вспомнит о встрече: «Хорошая девчонка! А главное, неиспорченная!»

А тут уже наступает золотой век советской журналистики. Газеты живут в свободном режиме. Можно писать о чем угодно. А экономика еще не тревожит. Рублем никто ни за что не отвечает.

Одна за другую увлекают нашего корреспондента острые, животрепещущие темы.

Жареные факты сыплются как из ведра. Газетные «гвозди» один за другим появляются на страницах молодежи.

Эх, золотые эти годы! Молодо, но уже не зелено. Гуляй, Вася! Разоблачай врагов народа! Поливай недостатки! Критикуй! Бичуй! Все в твоих руках.

И он лез из кожи. Засыпал отделы мощными, как снаряды, статьями,

пробивавшими насквозь броню лжи и официального лицемерия, которое окутывало в эти последние годы всех и вся.

А какие шикарные получались у него заголовки. «Шагреновая кожа» — это об умирающем Аральском море. Как и у героев одноименного романа, жизнь уходит по мере того, как высыхает море. Красиво сказано: «Теперь корпуса рыбацких сейнеров и пароходов, словно тела выбросившихся на берег океана китов, чернеют на барханах». Жутковатое зрелище. А чего стоят сравнения: «Болота из ядовитых коктейлей». «Соленые бури». «И течет теперь по Сырдарье и Амударье не вода, а какой-то электролит, насыщенный минеральными солями».

Да, погулял он. Поработал. И бросало его от Арала до Экибастуза. От соленых пустынь до чудовищных, гигантских открытых угольных карьеров, которые, словно кровоточащие раны на теле Земли, никогда не заживали, не затягивались.

И наконец, Ленинск — город-мираж, которого нет ни на одной карте. А там какой простор для толкового корреспондента!

Домик, в котором ночевал перед полетом Гагарин. Стартовая площадка для ракет.

Солидные каменные городские урны. Не поднять. Не перевернуть. Поэтому их сделали без дна. Мусор собирают прямо с асфальта.

Да, действительно чертовски находчив наш народ.

И вечный дефицит. Даже здесь, в космической гавани и колыбели: народ, стоящий в суровой очереди... за пуговицами. Индийский чай — по талонам. Космическая гостиница — с гигантскими мутантами-комарами.

Все как везде. И дураки. Дураки! Дураки! У власти.

Ликвидация ракет средней и малой дальности. Обвязали взрывчаткой. И... Ба-бах! Улетел в небо, фейерверком рассыпался труд миллионов людей. «А американцы-то свои разбирают. Ведь там столько цветных металлов, золота...»

Насмотрелся он. Написался. Нажил себе славы, врагов и «геморрой».

Но странно. Большая интересная работа так и не смогла вытеснить из его жизни Галинку. Вроде все! Забыто. Похоронено в тайнах памяти. И только ночью. В цветных снах. Когда он не мог контролировать себя, приходила она. Часто с другим лицом. В другом обличье. Но он узнавал ее по каким-то никому неизвестным тайным знакам, а главное, по всеохватывающему, всеобъемлющему, щемящему чувству любви и радости. Но это были грезы. А реальная жизнь все подкидывала и подкидывала новые сюжеты.

V

Сколько всего случилось в его жизни за это время. А здесь будто бы ничего не изменилось. Тишина и покой в этом парке густом.

Дорога идет зеленым лесом. Петляет туда-сюда. Поворот за поворотом. А потом выскакивает на простор, на поляны, на поле, засеянное густо ненатурально зеленым овсом и еще какими-то злаками. Для подкормки зверья.

Опять лесок. И капот машины упирается в металлические зеленые решетчатые ворота. Если их открыть, то прямо по уже асфальтированной аллее попадаешь на кордон.

Дежавю.

Александр Дубравин вышел из машины. И пошел напрямик к дому лесника. Его шаги учуял лохматый пес. Выскочил перед калиткой. Залаял предупреждающе. Дубравин остановился, ожидая, пока на лай выйдет кто-нибудь из хозяев.

Через минуту заскрипела входная дверь. И на крыльце показалась знакомая поджарая фигура в зеленом, с засученными рукавами кителе лесной охраны. Вовуля Озеров. Радостно кинулись друг к другу. Объятия. Похлопывания по спинам.

— Не ожидал! Не ожидал! — растерянно улыбается сквозь веснушки лопухий Вовуля. — Какими судьбами?

— Да вот решил к тебе заехать по пути! — ответил Александр. И соврал. Потому что ехал он сюда не по пути. А специально. Целенаправленно. Узнать новости о Галинке Озеровой. — А у тебя, я смотрю, ничего не меняется?!

— Как не меняется? Смотри! — И Володька показывает ему на вышедшую в халате на крыльцо Татьяну с каким-то белым свертком в руках. Они подходят. Откинув одеялко, она показывает ему маленькое, чмокающее соску голубоглазое чудо. Ребенок таращит на Дубравина глазенки и неожиданно улыбается беззубым ртом.

— Мда! — Опешенный Шурка, неловко сгибаясь, берет тяжеленный перевязанный сверток в руки и трясет. — Дочка, что ли? — растерянно спрашивает он.

— Ну да! — отвечает за жену Вовуля.

— Е-мое! — только и может пробормотать Дубравин...

* * *

...В этот раз Вовуля Озеров с гордостью селит друга в гостевом доме. Чтобы ребенок не мешал спать. Да и гость не стеснял хозяев. Селит. И рассказывает. Чтоб чувствовал. Не абы куда попал. А туда, где гостевали сами члены Политбюро.

— Здесь прихожая! — Открывает створчатые двери. Дубравин ахает и пятится. Прямо на него смотрит здоровенный клыкастый кабан.

Вовуля смеется, довольный произведенным эффектом:

— Это чучело! А как сделано! А?

Дубравин приглядывается в полутьме. Серая шерсть дыбится. Клыки оскалены. Ну прямо как живой.

Тут же, в прихожей, висят гигантские рога. Наверное, сброшенные лосякой. Черные, страшные, с острыми, как шипы, отростками.

Еще дверь. Гостиная. Обита старым деревом. В центре у стены, выложенный фигурным, каким-то рыжим специальным кирпичом, камин с кованой черной решеткой внутри. На камине разные безделушки, фигурки из фарфора. Напротив на стене картина. Схватка с медведем. Рукопашная. Старинные охотники с рогатиной прут на гигантского медведя в зимнем лесу. Лают собаки. Летит в стороны белый с кровью снег. Дым коромыслом.

В парадном углу — портрет самого хозяина республики. Димаш Ахмедовича. В полном охотничьем параде. С ружьем и патронташем на поясе.

— Чего не снимаете-то? — спрашивает с усмешкой Дубравин. — Теперь другие наверху. Банкуют!

— А нам-то что? Мы далеко. Сами по себе. Живем натуральным хозяйством. Скажут — снимем, — объясняя свою аполитичность, отвечает Озеров.

А Дубравин уже разглядывает большой деревянный буфет с полным набором посуды. Потом подходит к широченному окну.

«Все по фэн-шуй!» Из окна сверху видна тихая прозрачная речка с косами водорослей, мотающимися по течению. Ближе к берегу — кувшинки. Белые цветы — лилии.

Пошли по извилистому коридору. Смотреть спальни. Все наготове. Кровати застелены. Подушки разложены по цветастеньким покрывалам. Кинули вещи на тумбочку. «Здесь будешь спать».

Заговорщицки подмигнув, Вовуля показал ему идущую прямо из прихожей вниз в подвал скрипучую лестницу с перилами. Спустились в могильный холод подполья. Слева полностью оборудованная кухня. Газовая плита. Буфет. Холодильник. Нагреватель горячей воды.

Прямо еще одна дверь. Озеров толкает ее. Включает свет. Большой зал. В центре здоровенный зеленый стол для русского бильярда. Предмет роскоши и гордости хозяев.

«Не хило живут члены Политбюро!» — невольно думает Дубравин, щупая ладонью плотное зеленое сукно бильярдного стола.

Разместились. Попили чаю. Решили побродить по местности, пока варится обед, он же ужин, а заодно и завтрак, так как Дубравин еще ничего не ел с утра.

Надели большие болотные сапоги, зеленые штормовки с капюшонами. Подпоясались патронташами. В руках двуствольные ружья.

Побрели по местам боевой славы членов Политбюро.

Прошли по едва заметной тропе к удобным вышкам, с которых именитые старцы стреляли приходящих кормиться кабанчиков. Добрались до стационарных шалашиков, из которых «гости» выслеживали водоплавающую живность.

По пути Вовуля захлеб рассказывал о жизни Кургальджинского заповедника. Нет, не о жизни людей. О жизни зверей.

— Вот тут семейство кабанов корни копало, — показывает он стволом на взрытый, перевероченный дерн. — Чем больше я за ними наблюдаю, тем больше удивляюсь! До чего похожи на людей. Такие же, как мы. И среди них есть разные характеры. И порядки у них похожие. Такие же семьи. Со своими ссорами, любовями... Такое же доминирование крупных, сильных, а главное, умных особей. Один к одному.

— Ну да! — хмыкнул Дубравин. «Досиделся Вовка тут в лесу».

— Тут у меня друг даже завелся. Молодой кабанчик. Гоша я его зову. Ну прямо вылитый Вовка Лумпик, — и Озеров крикнул куда-то в лес: — Гоша!

А в ответ:

— Хрю!

Дубравин шагает по траве вслед за Вовулей. Слушает его рассказы. Сравнивает с прошлым приездом. Думает о своем: «Откуда что у него взялось? Видимо, есть какие-то тонкие нити, гены или что-то еще такое, что определяет интересы и судьбу человека. Вот у них трое в семье. А все такие разные. Галинка одна. Вовуля другой. Младшая вообще чудо огородное.

Кстати, как бы похитрее у него узнать о Галке побольше. Ведь я для этого и приехал. Приму решение. И ошибусь. Может, она живет как кошка с собакой. И меня вспоминает».

Как и все мужчины, он не считал в глубине души себя виноватым. Ну

было у них с Людкой. Ну и что. Подумаешь, какое горе. С кем не бывает? Секс — он и есть секс. Дело физиологическое. И из-за этого все погубить. Ну нет! Мнилось ему, дурачку, мальчишке, что замуж выскочила она потому, что хотела ему досадить. Не понимал он еще, что естественное состояние женщины — быть при ком-то. И всей душой и телом она стремится к этому своему состоянию. И если мужчина рвет и мечет, ищет свою половину, то женщина приспособливается и готова любить того, кто дает ей семью, гнездо, чувство защищенности. Конечно, она выбирает. Но ее конечный выбор всегда ограничен предложением. А потом надо привязать его к себе. Пристроиться. Прилепиться. Угадать его желания.

Для нее близость важнее, чем для мужчины. И рассматривает ее она по-другому.

А уж измена! Это крушение всей жизни. Всех трудов и стараний. Удар по самолюбию.

Топают Дубравин по сырой траве. Идет себе расслабленно. Посвистывает. Вдруг прямо из-под ног выскакивает хитромудрая серая утка, на которую он чуть не наступает резиновым сапогом. Провожает он ее недоуменным взглядом. Опять прозевал. А Вовуля — тот нет. Мгновение. Ружье в плечо — бах! Готово. Он уже подбегает, подбирает добычу.

«В чем проблема? — думает Александр. — Наверное, нет во мне нужного азарта. Страсти к убийству. А без этого какой же охотник может обойтись?»

Наверное, от этого и ружье у него самое простенькое. Двустволка двенадцатого калибра с простым деревянным прикладом и жесткой отдачей. Дубравин получил ее, когда редакция начала делать бартерные обмены с оружейниками. Можно было завести оружие и помощнее. Нарезной охотничий карабин, например. Но он считал, что и у зверя тоже должен быть шанс.

У Озерова же охотничья жилка заложена где-то глубоко. Судя по всему, в генах. А иначе никак не понять, каким образом мальчишка из интеллигентной семьи может не спать ночами, караулить зверя, выслеживать, топтать по лесу десятки километров. И все ради того, чтобы в один прекрасный миг завалить точным выстрелом дичь, а потом со звериной радостью тащить добычу домой.

Тут на тропе наконец и завел Дубравин потихонечку разговор о Вовулиной сестре, о ее житье-бытье. Завел с тайной надеждой.

— Живут складно! — лениво наклоняясь, чтобы подобрать добычу, отвечает Озеров. — Он работает учителем физкультуры. Она художник в

ЖЭКе. Квартиры пока нет. У бабушки прописались. Надеются на помощь родителей.

«Вот оно как!» — вздыхает про себя Дубравин. Так поговорили они о Галке. О ее семье. А потом постепенно разговор зашел о других делах. О своих бедах.

— Вот мы тут просидели уже почти два года, — рассказывает Вовуля. — Я с лихвой насобирал материалов на диссертацию. Прошлой зимой ездил в Алма-Ату на факультет. Хотел договориться там, на месте, чтобы взял меня кто-то руководить защитой. Но знаешь, что-то такое в Алма-Ате происходит для меня непонятное. Вроде все свои. Факультет свой. Преподы свои. А когда сунулся... Тот не может. Здоровье не позволяет. У того уже набраны аспиранты. Я говорю, у меня уникальные материалы наблюдений. Все готово. Вам же нужны ученики. А они что-то мнутя. Не нашел я поддержки. Фигня какая-то! Везде только казахам дорога. У меня там будущего нет. Ни хрена! Галка к себе приглашает. В Тульскую область. Может, поеду. Осмотрюсь. А там и махнем.

* * *

Вернулся он из заповедника домой. А это только так называется домом. Жилище. Пусто, холодно. Некому руку подать. Никто не встречает. Никто не рад.

Куда крестьянину податься? Некуда!

Позвонил он Татьяне. А на том конце провода такая неподдельная радость. Тепло в голосе. Ну прямо как в телефоне доверия. В гости? Ну в гости так в гости!

Заехал.

Она стоит в дверях. Встречает. И вся прямо светится изнутри счастьем. Зашел он. Сидят на чистенькой кухоньке. Пьют чай. И думает Дубравин: «А чего ждать-то? Чего искать? Смотри, какая ясная, счастливая душа. Вот бы прислониться к этому счастью. К этому миру. Может, и моя жизнь как-то наладится. Отогреется. Опять же искать ничего не надо. Все твое при тебе!»

И невдомек ему, что счастливая она от любви. К нему.

Тут сомнений не было. А парень он решительный. Сделал ей предложение. Сказал: «Давай поженимся!»

И было это на десятый день.

VI

Леха Пономарев подносит бинокль к глазам. И долго-долго оглядывает черные скалы, с уступов которых злой вершинный ветер пригоршнями сметает сухой от мороза белый снег. В окуляры морского, с двадцатикратным увеличением бинокля как на ладони видны отшлифованные бока валунов и даже мельчайшие трещины на них. Вдруг там, вверху, среди камней, что-то зашевелилось, двинулось. И Леха восторженно зашептал Анатолию:

— Архар! Самец!

— Где? Где? — торопливо спрашивает тот, шаря настороженным взглядом по высокой гряде, на которую уставил окуляры его друг.

— Там! На! — протягивая ему бинокль вместе с кожаным коричневым футляром, ответил Алексей. — Правей бери!

И правда, в центре градуированной шкалы двигается огромный, с острыми, загнутыми назад рогами красавец архар. Остановился на мгновение, словно высматривая там внизу кого-то или что-то, и снова двинулся по склону.

— Винтовку бы с оптическим прицелом сюда! — мечтательно говорит стоящий рядом краснорожий от холода верзила Симоненко, прикрывая коричневой рукавицей от солнца глаза.

— Кто ж даст-то? Это демаскировка будет, — разочарованно отвечает Анатолий, опуская бинокль.

Все трое дружно вздыхают. Глотают слюну. И идут своей дорогой. И то дело. На подножном корму они уже второй день. Двигаются по верхней кромке зимнего горного леса, уходя от засад и погони.

Курсы усовершенствования офицерского состава — это вам не хухры-мухры. Тут все настоящее. Всамделишное, начиная от голода и заканчивая холодными ночевками на снегу.

* * *

Солнце едва только зацепилось краем за скалу, а в горах сразу начало холодать. Пора становиться на ночлег.

Выбрали место, где еловый лес погуще. Вытоптали площадку в снегу. Нарубили штык-ножами зеленого лапника. Застелили лежанку. Сверху — плащ-палатку. И спальные мешки. Долго спорили, нужен ли огонь. Не выследят ли их по дыму кострища. Но мороз так жмет, что в конце концов решаются. Цепью-пилой сваливают сухое дерево. Аккуратно разделявают шершавый сосновый, липкий от смолы ствол на ровные куски. Складывают донью. Разжигают. И укладываются у костра на импровизированное ложе.

Анатолию сегодня повезло. Он в карауле первый. Дежурит только до полуночи. Сидит у потрескивающего огня на корточках. Поправляет бревна в кострище. Прислушивается к глухому бурчанию в пустом животе. И сам не замечает, как от усталости клонится вниз голова, тяжело закрываются каменные веки. И он плывет, плывет куда-то к солнцу, к свету, к небу...

Жгучая боль от ожога в руке выводит его из забытья. Оказывается, он уснул и случайно угольком прожег рукав своей десантной куртки.

Сбрасывает тлеющую одежду. Тушит рукав снегом. Оглядывается. Никого вокруг. Ребята дрыхнут без задних ног. И только причудливые тени от костра скачут по девственно-белому, нетронутому лесному снегу.

* * *

Вот уже третью неделю они живут такой первобытной лесной жизнью. Всех их, курсантов, тогда, в начале декабря, привезли в предгорье. Выгрузили из машин. Старший по боевой подготовке привел группу к разбитой — без окон и дверей — кошаре. И сказал:

— Вот здесь будете жить!

А на улице холодища. Бр-р-р. зуб на зуб не попадает.

Так началась их переподготовка на курсах усовершенствования офицерского состава. После «вышки» Анатолий Казаков уже проходил сборы на базе Псковской воздушно-десантной дивизии. Тогда они, молодые офицеры КГБ, получали разные диверсионные специальности на случай войны. Но то все было как-то проще и легче. Похоже на игру. А тут все жестко.

...Начали они с того, что принялись утеплять это брошенное в незапамятные времена помещение для овец подручными средствами. Тащили откуда могли все, что могли найти. Затянули окна на скорую руку полиэтиленом. Двери — плащ-палатками. Настлали на земляной пол еловых лап. Сделали из разбросанных кирпичей очаг. Чтобы обогреться и хоть раз в сутки иметь горячую пищу.

Но холод все равно донимал постоянно. Температура в этой импровизированной казарме никогда не поднималась выше шести-семи градусов. А спать разрешалось только в трусах. Причем инструкторы частенько приезжали по ночам. Поднимали всех. Проверjali, кто в чем спит.

И не дай бог найдут на ком нижнее белье. Кальсоны или трико.

Переночевали в холодке — и в зимний лес. Обучаться выживанию. Искать пищу, воду, делать лежки, маскироваться.

Но выживать — это полдела. Надо было учиться воевать в таких условиях. Без фронта и тыла. На территории врага.

Первейшее дело — пострелять из всех видов оружия. Тут уж они оттянулись. Чуть не оглохли от каждодневного хлопанья выстрелов на полигоне. Зато как красиво — попал из стенобойного ружья в дерево, и оно заваливается набок.

Учили и парашютному делу. Прыгали в самых разных условиях. С разных типов летательных аппаратов. С разных высот.

Страшнее всего было прыгать на бреющем полете. Ночью. Метров со ста. На верхушки мелькающих внизу деревьев.

Для чего? Чтобы противник не засек группу.

Жутко было. Но и это преодолели. Только навсегда запомнился и отложился в каждой клеточке тела страх. И никогда больше лейтенант Анатолий Казаков не верил рассказам «бывалых солдат» о том, что они ну «нисколечко не боятся прыгать». Он понял. Боятся все! И боятся всегда! Хоть на первом прыжке. Хоть на тысячном. Потому, что для человека дело это противоприродное и противоестественное. Просто люди привыкают. И учатся собою управлять в экстремальной ситуации.

Но есть и награда за страх. Когда он кончается, приходит выброс адреналина, вызывающий дикую эйфорию. Кайф, как у наркомана. И этот кайф заставляет некоторых снова и снова лезть в темное брюхо самолета.



От многих заблуждений и понятий, привычных в мирной жизни, заставляла отказаться эта учеба. Как устраивать засады. Нападать из-за угла. И убивать. Убивать всеми доступными способами. Голыми руками. Ножом. Саперной лопаткой, ломом, дубинкой. Даже соломинкой.

Учили допрашивать подозреваемых. И в случае необходимости пытаться людей. Долго. Изощренно. Чтобы мучились. И выкладывали все нужные сведения.

Пробовали на себе. И понимали. Выдержать пытки невозможно никому. Значит, надо их избегать...

Но это грубая, жестокая сторона тайной войны. Собирать информацию, общаясь с местным населением. Придумывать легенду. Избегать засады,

поймки. И выполнить задание. Вот главное для разведчика.

Особый раздел. Умение слушать самого себя. Полагаться на интуицию. Становиться как зверь лесной.

Вот и сейчас, сидя у костра, вспоминая, как нечто далекое, полузабытое, их встречи с Ириной, лейтенант Казаков каждой клеточкой тела ощущает обстановку вокруг их бивуака. Вот где-то хрустнул снег, треснул сучок. Он машинально фиксирует все. До любых мелочей.

«Ах, Ирина, Ирина! Что же ты так? И почему? Откуда эта патологическая лживость? Ведь я ничем тебя не обидел.

Что за всем этим стоит? Скорее всего, это страх. Ведь она боялась родителей. Боялась меня. Боялась Абрамовича. Боялась всего. И хотела всем угодить. Вот и завралась. Кругом.

Но разве она одна такая? Не скажу за весь народ. Страх есть у каждого. И у меня тоже. Когда за Дубравиным наши следили, я ведь тоже испугался. Как бы не попасть с ним в одну сеть. Может, я и помог ему больше из страха за себя, чем из дружбы. А? Анатолий Николаевич? Колись перед самим собою. Перед совестью своею. Кто знает...»

Треск и хруст снега под ногами пронзили мозг до мозжечка. «Кто-то идет сюда, — панически думает он. — Наверное, выследили! Группа захвата. Бежать! Немедленно бежать! Нет. Это не группа. Это один человек. Может, турист заблудший. Может, охотник. Хрен его знает. Приближается! Ребят, что ли, разбудить? Пока не буду!»

Казаков осторожно встает от костра и, стараясь не шуметь, делает пару-тройку шагов в лес, в темноту.

Встречные шаги затихают. Кто-то в темноте остановился. И так же, как он, сам прислушивается.

Казаков вытаскивает из ножен тяжелый, стреляющий лезвиями, десантный нож. Перехватывает поудобнее рукоять.

Стоит только нажать кнопку. И тугая пружина выкинет острое, как бритва, лезвие навстречу идущему. Мягко, как в тесто, оно войдет в человеческое тело.

Лейтенант словно забыл о том, что вокруг мирная жизнь. И они всего лишь на учениях. В нем за эти недели появилось какое-то параллельное мышление. Он одновременно был как бы в двух измерениях. А вот сейчас, в секунды опасности, целиком переместился в военную игру. Жестокое правило которой гласило: «Если вашу группу во время боевых действий случайно засек местный житель, охотник, пастух, шофер, то во избежание осложнений обстановки он подлежит ликвидации».

Проще говоря, случайного свидетеля надо убить. И Анатолий сейчас

готов был это сделать.

Тот, в темноте, постоял еще минуту. Тяжело вздохнул. И пошел прочь.

Анатолий дождался, пока стихнут шаги, и вернулся к огню. После пережитого напряжения его била нервная дрожь. Он трясущимися руками достал алюминиевую кружку. Насыпал в нее доверху снега. И поставил на огонь.

Когда снег растаял и вода зашипела, снял кружку и долго грел через рукавицы руки, а потом грелся пустым кипятком изнутри. Отходил.

«Что же это получается! К чему нас готовят? Ведь то, о чем нам сегодня говорят инструкторы, вдалбливают в наши головы, все против правил мирной жизни. Значит, на войне они не нужны».

И от этих новых мыслей у него перехватило дыхание. И земля уходила из-под ног:

«Ведь я мог убить человека. И может быть, даже убил бы его. А за что? Ни за что! Просто так положено. Чтобы нас никто не видел... Никак не укладывается в моей голове это правило. Хорошо, что все обошлось. Но я-то. Я сам. Как я мог утратить понимание, где мирная жизнь, а где война. А это самое страшное».

* * *

Первое, что он сделал с восходом солнца, — прошел по лесу, тайно надеясь, что следы будут звериные. Может, лося, может, оленя, барана.

На чистом девственном снегу четко отпечатались тракторные подошвы новомодных туристических сапог.

Такая вот она — игра в казаки-разбойники.

VII

Открылся «ящик Пандоры». И оттуда на страну посыпались бедствия.

Хотели как лучше. Чтобы чинно, благородно советский народ переделал свою жизнь, построился и пошел колоннами к светлому будущему. Не получилось. Вместо этого все стали вспоминать старые обиды. Кричать. Устраивать митинги, демонстрации. А под конец перестройки крушить все, что попадет под руку. И остервенело драться между собой. Армяне сцепились с азербайджанцами. Грузины с абхазами. Осетины с ингушами. Прибалты с русскими. Киргизы с узбеками. Таджики между собой... И пошло-поехало. На фоне всего этого как-то померкли события в Алма-Ате. Подумаешь, вышли на площадь. Тут дело к

локальным войнам идет. Разгорается вражда застарелая, вековая, передающаяся из поколения в поколение.

«То, что у нас было, — это так. Пустяки», — думает Амантай Турекулов, принимая прямо у себя в стеклянном аквариуме ЦК ЛКСМ бывшего комсомольца Амангельды Нупенова. Потухший взгляд, обритая налысо голова со шрамом на черепе, поношенная одежда и стоптанные башмаки лучше каких бы то ни было слов и рассказов говорят о состоянии дел осужденного за участие в декабрьских событиях.

— Амангельды, и что ты теперь собираешься делать? — наливая «гостю» в пиалу чай и подчеркивая этим свою демократичность, спрашивает его Амантай. Затравленный взгляд Амангельды, брошенный исподлобья, и дрогнувшая в руке пиала с черно-густым чаем лучше всяких слов ответили Амантаю. Да, действительно, что он может сейчас ему сказать? Но Амангельды все-таки пробормотал невразумительно:

— Сначала хочу восстановиться в комсомоле. А потом посмотрю, что можно сделать еще...

Он явно что-то недоговаривает, рассказывая о своих мытарствах по изоляторам и тюрьмам. Но Амантай и так знает. Несладко пришлось участникам тех событий не только на воле, но и за колючей проволокой. Зона тоже несвободна от политических пристрастий. И всякого рода фобий. Так что ребята, попавшие туда, чувствовали себя изгоями. Их и там унижали, избивали и всячески опускали. Участвовала в этом не только администрация, но и эки. Попали ребята в мясорубку.

— Арестовали меня... Не помню, на какой улице подъехала машина. И милиционер крикнул мне, что он казах и хочет со мной поговорить. Когда я подошел к нему, он нанес мне удар в живот. Потом меня стали избивать дубинками... И уже без сознания доставили в РОВД. Там, когда очнулся, тоже били. Два русских милиционера.

Амантай слушал нехитрый рассказ Амангельды и чувствовал, как с каждой минутой внутри его разгорается гнев и ненависть, переплетенные с жалостью...

Уже одно то, что он, секретарь ЦК, принимает лично осужденного за участие в событиях, было вызовом, смелым шагом. Хотя за прошедшее время ситуация стала кардинально меняться, общество еще до конца в этом вопросе не определилось. Более того, по мере изменения оценок происшедшего нарастало противостояние среди населения. Одни держались прежних подходов: националисты, подстрекаемые сверху, устроили беспорядки, порушили интернационализм. Другие считали их героями, поднявшими голос против давления командно-административной

системы. Но ни те, ни другие не видели того, что понимал и видел Амантай. «Судьба этих ребят сломана. Жизнь исковеркана. Вот сидит он, Амангельды. Парень честный, порядочный. Школу закончил с золотой медалью. Умница. Приехал в столицу учиться... И вот чем все кончилось. Тюрьмой. Навешали ярлыков. Накатили волной. Осудили. И пусть сейчас что-то начинает меняться. Но ведь их судьбу не исправишь.

И мой друг Дубравин тоже участвовал в этой кампании травли. И по сей день не успокоился. Называет ребят „наци“. Какие они „наци“? Ладно, посмотрим, друг Александр. Я тебе это припомню».

«Тут одним гневом и криком дела не поправить. Надо найти подходящий случай. Он ведь номенклатура ЦК ВЛКСМ. Так что надо все как следует подготовить. И нанести ему удар на очередном пленуме. После выборов». «Хватит ему навешивать на нас ярлыки. Критиканствовать. Унижать республику и наш народ. Мы тоже можем ему кое-что сказать. Если демократия, так демократия. Выставляю свою кандидатуру на должность первого секретаря. Вместо этого дятла, ставленника Москвы Кондыбаева. Выиграю выборы. И тогда уж отыграюсь по полной. Рассчитаюсь за все».

Но какой-то внутренний голос язвительно задавал ему вопрос в противовес: «А как же дружба? Что скажут другие ребята?» — «А дружба — это было в другой жизни. Все сейчас новое.

Впрочем, не надо делать все с бухты-баракты. Надо посоветоваться с агаем Маратом. Что он скажет. Поддержит или нет. Поможет найти подходящее время. И подходящую форму».

Амантай встает из-за стола. Идет к сейфу. Достает оттуда коньячок. Наливает аккуратно две рюмки. Это успокаивает. Убаюкивает...

Давно ушел Амангельды. Чай остыл. И гнев остыл. Началась долгая умственная работа. Впереди новый этап. Новые горизонты карьеры. Надо только занять правильную позицию в изменившихся обстоятельствах.

VIII

«На войну» разведчики выходили ночью. Вот и сегодня, как только начало темнеть, в серых от сумерек палатках зашевелились, задвигались, засобирались тени. Анатолий Казаков закончил подшивать надорванный карман «разгрузки» и примерил, вставив в него заряженный автоматный рожок.

«В самый раз», — с удовлетворением думает он, толкая в плечо Алексея.

— Вставай, соня! Вставай, лежебока! Уже выходим!

И действительно, в проеме палатки нарисовалась плотная, круглолицая, белобрысая, в полной амуниции фигура прапорщика Палахова.

— Вы че, отцы? Народ уже грузится. А вы еще дрыхнете. Давай быстрее. Командир зовет!

Рыжая копна волос Алексея, как Ванька-встанька, поднялась над лежанкой. Он машинально зашарил на земляном полу в поисках кроссовок. И его конопатая физиономия выразила глубокое сожаление по поводу прерванного сна. Зевнул. Потянулся. Стал собирать вещмешок.

Казаков залил в обтянутую материей зеленую фляжку воды из цинкового бака и привычно бросил туда пару дезинфицирующих таблеток. Взболтнул фляжку. И поморщился. Все равно это мало помогает. Все разведчики, да и он тоже, маются нынче животами. А как иначе. Ведь здесь не из чего выбирать. Приходится пить откуда попало. Сырую воду. А при выборе, что взять: флягу воды или дополнительный цинк с патронами, — чаще всего берутся патроны.

Вот и доигрались. Теперь маемся.

Он выходит из палатки на улицу. Суровая здесь земля. Серая какая-то. Вся выжженная. Летом — солнцем. Зимой — морозами. Хорошо, они стоят гарнизоном внизу, в долине. А каково тем, кто сейчас на заставах, на окружающих вершинах и перевалах.

«И как они тут живут — эти афганцы? А главное, чем живы? Все глиняное. Забор на заборе. Как крепостные стены. За каждым дувалом некая мини-крепость. Каждая деревня — мини-государство со своими законами и порядками».

Раздается команда:

— Выходи строиться!

Капитан Кораблев, в камуфляже, бравый, молодцеватый, весь как на

пружинах, привычно проверяет экипировку. Все ли на месте. Боезапас, продовольствие. Подает команду:

— Попрыгать! Группа скачет на месте.

Солнце быстро и неумолимо падает за горы. Пейзаж меняет очертания. Тени ползут по земле.

Уже в сумерках группа проскальзывает неслышно в ворота городка. И растворяется в воздухе.

Идти приходится долго. Ступая след в след.

Анатолий Казаков уже привык к такому ночному образу жизни. Так что ему не в тягость этот длинный переход с полной выкладкой. Главное сейчас не шуметь. И двигаться как можно быстрее.

Наконец они останавливаются в темноте. Присаживаются. Облака, доселе скрывавшие звездное небо, отползают в сторону, за вершины далекой горы. Обнажается черное звездное южное небо.

Теперь им видно сверху, что лежат они за разломанным дувалом, в зеленке, недалеко от дороги. Еще ниже по ущелью течет речка. Оттуда слышен плеск воды. И видны отблески на волне. «Индийская война! — думает лейтенант. — Сто лет прошло, а тут ничего не изменилось. Еще сто лет пройдет, и ничего не изменится. Слишком много гор. Слишком бедная земля. Вот ведь как бывает. Цивилизация. Она там, где умеренный климат. В Африке, на юге, тепло — народ работать не хочет. А зачем? Когда бананы под носом растут. Одежды практически не нужно. Жить можно в шалаше. Нет стимула.

На севере так холодно, что человек только и занят, что выживанием. Не до культуры, не до архитектуры. Как-нибудь продержаться бы.

А вот в умеренном климате, где хоть и надо трудиться в поте лица своего, но и плоды можно получить, там цивилизация и достигает своего расцвета. В Европе, например. А здесь все как на Севере. Главное — выжить. Оттого и развитие тут такое медленное. Какой тут у них век? То ли четырнадцатый, то ли пятнадцатый...»

— Тихо! — раздается над ухом шепот прапорщика Витьки Палахова. — Кто-то идет.

Анатолий прерывает свои несвоевременные мысли. И вместе со всеми прислушивается, вглядывается в темноту.

Точно, впереди раздается равномерный постук чего-то деревянного по камням. В лунном свете мелькает какая-то фигура.

— Эй, Абдулла! Мы здесь! — зовет подходящего капитан Кораблев.

Фигура приподнимается над камнями. Оглядывается по сторонам. Подходит. Это замурзанный, дочерна загорелый человечек, завернутый по

самую шею в шерстяное афганское одеяло так, что торчит одна голова в чалме. Черные, испуганные глаза шарят в темноте. Наконец останавливаются на командире:

— Салам!

— Салам!

Они отходят в сторону. Пошептаться. Казаков, как и вся группа, понимает. Это местная агентура. Принес сведения о моджахедах. Утром вернется разведгруппа в гарнизон. Доложится командир начальству. Так, мол, и так. Бандформирование численностью в сто или двести штыков зашло в кишлак.

А там начальство будет принимать решение.

Афганец уходит. Командир возвращается. Лицо его сурово. Над переносицей под шляпой застыли две морщины. Скулы твердо сжаты. От него поступает новая вводная. На перехват:

— Сегодня ночью в кишлак должны подвезти боеприпасы. На машине. Будем ждать их у поворота. Надо взять курьеров живьем.

Живьем так живьем. Всеми овладевает охотничий азарт. Желание отличиться. Группа немедленно спускается пониже к дороге. Укрывается за камнями. Ждут. Час. Два. Три.

Но напрасно они просидели почти до утра. Никто не появился. И когда солнечные лучи уже наполовину осветили противоположный, поросший чахлой травой склон ущелья, капитан Кораблев подает команду:

— Отходим!

Дорога на базу уже не кажется такой длинной. Но тут надо опасаться другого. Как бы самим не попасть духам на мушку. Или не напороться на засаду.

Казаков идет третьим. Ему видна только колышущаяся широченная спина радиста с мотающейся туда-сюда в такт шагам антенной полевой рации. Инстинктивно, опасаясь нападения сверху, они стараются идти по тропе, которая повыше. И озираются на строгие вершины. В горной войне кто выше сидит, тот царь и бог.

Но сегодня все без шума и пыли. Доходят.

Сверху, со склона, как на карте, показываются серые дувалы кишлака, редкие зеленые кроны деревьев вдоль арыков. Тонкий шпиль минарета мечети. А рядом палатки их гарнизона.

В утреннем воздухе раздается пронзительный призыв муллы. Он собирает правоверных на молитву.

* * *

В гарнизоне жизнь идет своим нерушимым порядком. Выходят на посты караулы. Мирно варится в котле каша с мясными консервами. Кипятится чай.

Бойцы хозвзвода сражаются с насекомыми. Выпаривают матрасы.

Они вернулись с войны. Живыми. Героями. В их гарнизоне заведен командирами строгий порядок. Вся группа полностью меняет одежду. Одевается в чистое. И в баньку. Гордость командования — полуземлянка-полупалатка — банька в центре, рядом со штабом. Горячая шайка воды радуется, как улыбка любимой женщины. Вот оно — счастье. Смыть с себя серую афганскую пыль. И выйти, жмурясь, на солнышко, к свету.

Поели. И спать. На белых простынях, на пропаренных от насекомых матрасах. Наряды и работы — это забота молодых, необстрелянных.

Здесь тоже действует жизнью и войной заведенный когда-то порядок. В разведрейды не берут пацанов из учебки. Ждут обычно два-три месяца, пока ребяташки пообвыкнутся, пооботрутятся в гарнизоне. Не ходят «на войну» и те, кто провинился, нарушил дисциплину, правила. И это самое худшее наказание для них. Иной терпит, терпит и пойдет жаловаться комбату:

— Товарищ майор, что я, хуже всех, что ли? Что меня ротный не берет на боевые?

Такая вот жизнь. Все воюют, как звери. Но если уж завалились спать, то никто не смеет будить до тех пор, пока сами не встанут. Не вылезут из палатки.

Могут и сапогом швырнуть в того, кто попытается нарушить покой и сон бойца!

Засады. Контрзасады. Захват караванов. Взаимодействие с вертушками. Высадки в неожиданных местах. Работа с местным населением. И так далее. И тому подобное.

Но, как говорится, война войной, а обед по распорядку. Лейтенант Казаков тихо встает с лежанки. Он сегодня собрался на базар. За кроссовками. Сапоги, ботинки, берцы — это хорошо. Но лучше обуви для войны в горах, чем кроссовки, — нет. Легкие, мягкие, удобные. Да и если на мину ненароком наступишь, то в сапоге всю ступню оторвет, а в кроссовках только пальцы. Сам-то он не пробовал. Но ребята говорят...

На пару с Лехой они вылезают на улицу. В прошлый свой поход договорились с местным торговцем Файзуллой, что придут за товаром. Деньжата уже есть. Собственно говоря, это не деньги. Это чеки. Двести двадцать таких чеков получает офицер. Они свободно обмениваются на афгани. Так что можно позволить себе купить не только кроссовки, но и

портативный магнитофон, приемник, джинсы.

По дороге к рынку на пыльной улице встречаются афганцы в просторной одежде. Торговцы и прохожие. Здравуются. Улыбаются:

— Шурави! Шурави!

«Хрен здесь что поймешь! — думает Казаков, шагая вдоль глухих заборов. — Сейчас он улыбается, а ночью возьмет автомат, припрятанный за дувалом, и станет духом».

— Восток — дело тонкое, Петруха, — бормочет он про себя.

— Ты чего шепчешь? — спрашивает его Алексей, поправляя ремень автомата.

— Да так! — уклончиво отвечает Анатолий. — Кино вспомнил.

— А, ты про этот фильм, который наши крутят во всех кишлаках? Наше непобедимое идеологическое оружие... «Белое солнце...»

Анатолию неприятен его тон. И вообще, в последнее время Алексей стал каким-то циничным. Даром что отец генерал. Иногда такое скажет и про партию, и про Политбюро, что уши вянут. А ведь они чекисты. Ну да ладно. Он сам себе ответчик.

Лавочка у Файзуллы убогая. Никакая, то ли полудоделанная, то ли полуразрушенная. Сам хозяин — широкобородый афганец в кепке-блином (как Ахмадшах Масуд) — широко улыбается белыми крепкими зубами. Лавка хоть и раздолбанная, но товару много. Товар хороший.

Выбирают кроссовки они долго. Наконец останавливаются на синеватых китайских. Дешево и сердито! Класс! Анатолию даже не хочется их снимать.

Алексей в своей стихии. Долго торгуется с Файзуллой, выкидывая пальцы по очереди. И нарочито грозясь уйти без товара. Наконец все улаживается. Счастливый громадный Файзулла получает деньги. Приглашает выпить чайку. Знают. Не отравит. Они ему выгодны. Придут еще. Купят. Шурави — они добрые.

Чай афганский. В него намешано и масло, и молоко, и черт знает что еще. Пьют, сидя на улице за столиком.

Мимо магазина снуют грязные ребяташки. Проходят «разодетые» черноволосые женщины с точеными фигурами.

— А я думал, в Афганистане все женщины ходят в чадре, под паранджой, — говорит хозяину Алексей. — А здесь не так?

— Здэсь турмэны живут! — объясняет нестыковку Файзулла. — У них женщины с открытым лицом.

— Ну да! Оно и видно, — замечает, озираясь, Казаков. — Да и те, которые в возрасте, тоже особо под паранджу не прячутся.

В отличие от Алексея ему тут неуютно. И он то и дело поглядывает на часы.

Мир-то мир, но после пяти часов вечера за пределы городка выходить и выезжать запрещается. На ночь ставятся усиленные наряды. Расположение охраняется постами. Роте придано три танка. Инженерно-саперное отделение. Связисты. Все чин-чинарем. На случай обстрела землянки, блиндажи, окопы в полный рост.

— Ну, пора! — наконец заканчивает тары-бары Пономарев. Все прощаются. И они обратным порядком идут в городок.

— Слушай, Алексей, — по дороге заводит важный разговор Анатолий. — Для чего мы здесь сидим?

— Как для чего?

— Ну да! Мы не военные. Мы из комитета. Почти месяц отираемся здесь после курсов. Зачем-то ходим на операции. Это ведь не наше дело.

— А, ты об этом! А я подумал вообще... — говорит Леха. — Мне кажется, что мы здесь просто обтираемся. Вживаемся в обстановку.

— Зачем?

— А вот зачем — это начальство знает. И мне кажется, ни Кораблев, ни его непосредственный шеф об этом ни-ни.

— Обтираемся. А что, мы чем-то отличаемся?

— Ха-ха-ха! — Леха засмеялся, откидывая назад рыжую голову и показывая крепкую верхнюю челюсть. — У нас ведь, советских, как? Как обнаружить в армии самого большого начальника среди бойцов? Да очень просто! На самом большом начальнике самая новенькая униформа. Вот так и мы. Готовят нас к чему-то. Группу. И хотят, чтобы ничем не отличались от обычных армейцев.

Действительно, история их появления в дальнем гарнизоне была самой обычной. Будто не разведчиков, не спецназ КГБ собрали сюда, а провели рядовую замену личного состава войсковой части. Все как у добрых людей. Самолет военно-транспортной авиации. Несколько групп, переброшенных в Кабул. Там центральный пересыльный пункт.

Их встретил белобрысый плотный, как гриб боровичок, боевой усатый прапорщик. Представился старшему майору Прошину и добавил:

— Я за вами. Вот и все церемонии. Опять самолетом в штаб дивизии.

А оттуда машиною с колонной отправили в гарнизон.

Стали они со своими разведчиками обживать, приглядываться, притираться. Ходили по местным горам вместе со всеми. И ждали чего-то.

* * *

Тот день начался так же буднично, как и все предыдущие. С утра задул откуда-то из-за гор, из пустыни такой дикий, озлобленный ветер, что даже ресницы не защищенных от песка глаз развевались на таком ветру. Потом неожиданно напоззли тучи, и пошел дождь. Пополам с колючим песком.

Они забились по блиндажам и землянкам. Сидели, молили разную чепуху, чтобы убить время. Неожиданно по гарнизону пошел шорох. Кого-то вызвали к комбату в палатку. Приехало высокое начальство из большезвездочных. Что-то словно неуловимо изменилось в воздухе. Засобирались, забегали командиры. Стали поднимать даже «спящих красавцев» — стариков.

Тут-то разведчики тоже сообразили, что готовится что-то серьезное.

Наконец их командира вызвали к начальству. Вернулся он не скоро. Доложил обстановку.

— Сейчас вместе с батальонной колонной выдвигаемся вот сюда и сюда, — показал на карте горный кишлак. — По ущелью. На зачистку. Пока все работают в кишлаке, мы проходим его насквозь. И углубляемся в горы. С нами будет проводник...

— Местный Чингачгук, — попытался пошутить Леха. Но на него так глянули, что он осекся.

— С нами будет проводник, — повторил капитан Кораблев. — Он доведет нас до пещер. Там, по агентурным данным, духи держат наших захваченных разведчиков. Надо их отбить. Или хотя бы забрать их тела. Вопросы есть?

— Каких разведчиков? — не удержался Семькин. — Наши вроде все целы...

— Не ротных! Не батальонных, не полковых, — усмехнулся в усы Кораблев. — Это глубокая разведка...

Никто больше не стал задавать лишних вопросов. К чему? Меньше знаешь — крепче спишь.

Вышли колонной. Как положено. С бронетехникой впереди и позади. Разведчики шли в глубине на грузовике. Следом за ними на платформе тряслась зенитная четырехствольная установка ЗПУ-23. Мощнейшее оружие для горной войны. Шестьсот выстрелов в минуту. Шквал огня по склону сметает все.

Час-два пересекали пустынную местность. Смотрели, как степные вихри поднимали пыль и песок столбом. И она крутящейся ниткой тянулась за смерчем в небо к солнцу. Пересекли пару высохших речек. И постепенно втянулись в холмы. Прошли мимо какого-то, ну ни на что не похожего места. Этакая чудесная китайская миниатюра. Посреди серо-

желтой пустыни разноцветные холмы. Между ними посередине синее озерко. А вокруг него зеленый ковер из трав. Анатолий сначала даже не поверил своим глазам. Подумал: «Мираж». Но его сосед боец спецназа Семьгин кивнул:

— Вот бы искупаться! Мы как-то раз были там. Караулили караван.

Но и эта акварель промелькнула галлюцинацией. Колонна въезжала в серое, кое-где поросшее деревьями ущелье. Горячее дыхание полупустыни закончилось. Дорога, вернее, то, что называется здесь дорогой, потянулась вверх. Непрерывная дикая тряска заставила всех покрепче вцепиться в сиденья и поручни. Держаться.

Лейтенант Казаков почему-то вспомнил, как неделю назад к ним в гарнизон приезжал поэт. Автор грустной, щемящей песни «Тополя». Как они ему спевали у костра, нарушив по такому случаю светомаскировку. Как спорили о том, что такое хорошая песня...

Мысли о приятном прервала команда:

— Спешиться!

Соскочили с машин. С брони. Размялись.

Где-то впереди был кишлак, в котором уже начиналась операция прикрытия.

Сегодня порядок ее был такой же, как и обычно. От колонны отделились представители местной афганской службы безопасности (ХАД), а также ребята из царандоя (милиция). И двинулись на уазиках к селу, которое представляет собой этакую глиняно-каменную крепость. Анатолию и разведчикам видно отсюда, из головы колонны, как они подъезжают к крайним дувалам. Останавливаются. Видимо, вызывают на переговоры старейшин-аксакалов.

Точно. Выходят несколько белобородых в халатах и чалмах. О чем-то долго толкуют с серыми фигурами представителей центральной власти. Впрочем, все и так знают о чем. Тема простая. Вчера зашла в кишлак группа моджахедов — борцов за веру. По-нашему, по-простому, душманов или духов. Царандоевцы предлагают выставить их из села. Если бандиты не местные, тогда так и будет. Ну а если они свои, доморощенные, то договориться не удастся. Царандой вместе с нашими начнет зачистку.

Точно. Не договорились. Колонна двинулась вперед. Все смешиваются. Разведчики отдельной группой следом за царандоем заходят в кишлак. Останавливаются. Ждут кого-то.

А в это время афганцы уже шарят по дворам. Устанавливают личности. Требуют документы.

Где-то впереди раздается одиночный выстрел. Наткнулись на засаду?

Или просто сорвались? Кто его знает!

К капитану Кораблеву подходит плотный, приземистый афганец в форме местной милиции с автоматом на плече. Обмениваются паролем. Это тот самый проводник.

Тронулись. И разведчики, вытянувшись цепочкой, быстрым шагом мимо бесконечных дувалов и плотно закрытых дверей двинулись к окраине кишлака. Пройдя его почти насквозь, юркнули вслед за проводником в ворота обнесенного высоченным глиняным забором дома.

Здесь они должны переждать время.

Разместились. Кто в доме. Кто во дворе. Старались не шуметь. Оглядывались.

Дом по афганским меркам большой — два побеленных этажа.

И, судя по всему, зажиточный. На побеленной стене накатаны валиком синие цветочки. Окна тоже разрисованы. В центре дома в крыше дыра. Это чтобы дым выходил от очага, расположенного на глиняном полу. Вокруг него такие же глиняные лавочки. На них одеяла-лежанки для сна. Мебели в нашем понимании никакой.

Хозяйка не показывается. Хозяин, тощий, как стебелек, прокопченный афганец неопределенного возраста, возится у очага, подкладывает кизяки и дико поглядывает блестящим глазом на забредших к нему в дом шурави.

Полно чумазных детишек.

Н-да! Чем живут люди — непонятно. Но как-то живут.

Напротив сидящего на корточках в уголке Казакова остановилась маленькая черненькая девчущка с кудряшками. И уставилась бусинками-глазенками на лейтенанта. Протянула тоненькую ручку. И что-то лопочет по-своему.

— Ну что, влюбилась в тебя? — подначивает друга Леха. — Может, женишься, когда подрастет!

Разведчики по-доброму смеются.

— Здесь это скоро, — замечает Витька Палахов, поправляя разгрузку, — не заметишь, как ей восемь лет исполнится. И уже можно замуж отдавать.

— Да ладно вам! — отмахивается смущенный лейтенант. — Тоже мне шуточки...

— А что, готовь калым, — продолжает подначивать друга Алексей.

Анатолий достает из нагрудного кармана шоколадку «Аленка» в яркой обертке и протягивает девчонке.

Видно, что той хочется взять ее. И страшно. Уставилась глазенками. А на лице хитрая улыбочка. И потихонечку-потихонечку тянет пальчики. А

потом — хватать! И бегом в комнату к матери.

Общий хохот заставляет обернуться от очага капитана и плотного царандоевца, которые в это время что-то тихо обсуждают, склонившись в уголке над картой.

* * *

...Где-то далеко внизу остался кишлак. А около него батальонная колонна.

Разведчики, пожимаясь и оглядываясь, продвигаются по тропе к указанной точке. Передовым дозором идут метров сто впереди Палахов и Семьгин. Остальные, стараясь не отставать и не шуметь, движутся следом. Тишина такая, что слышно, как хрустят под ногами камешки. До места, до пещер, где духи держат наших, осталось всего ничего.

Анатолий полез в нагрудный кармашек за конфеткой. И заметил, что уронил на тропу тряпичную маленькую куколку, которую перед уходом из афганского дома-убежища сунула ему в руку пятилетняя хозяйка. Он наклонился, чтобы ее поднять. И услышал звук: «Тью! Тью!» Пули вгрызлись в камень прямо перед его носом. И, срикошетив, с жужжанием и гулом унеслись в синее небо...

Он упал, как учили, за ближайший камень. Где-то наверху слышны хлопки выстрелов, а здесь «злые осы» впиваются в гранит и рикошетят от дороги. Огонь плотный и прицельный. Не дает подняться. Не дает перебежать.

«Где остальные? Кто жив? Кто погиб? Как духи узнали?» — мысли обрывчатые. Короткие. Все как-то непонятно. Даже не страшно. Видно, до конца не осознаваемо. Что вот она, смерть, пришла за ним.

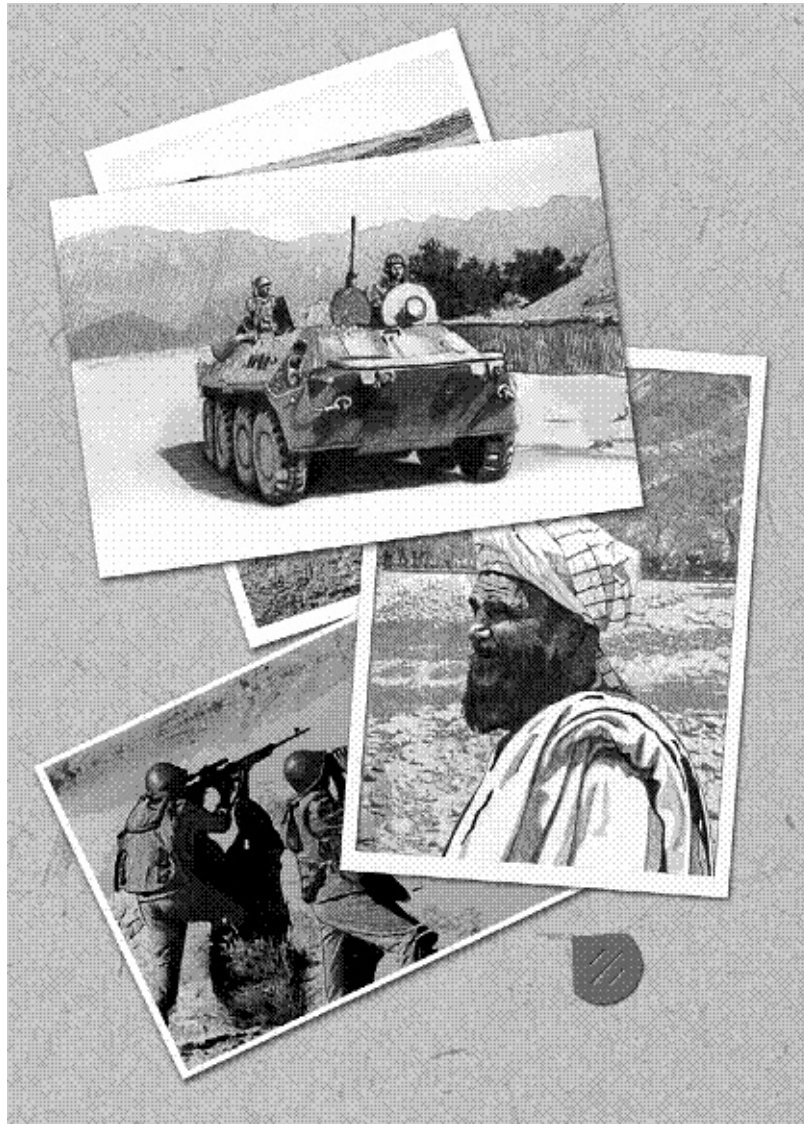
«Как они могут хотеть убить меня? Я ведь хороший человек. Да и все мы хорошие люди. Зачем они стреляют в нас? Это какая-то ошибка. Недоразумение. Бред. А может, все дело в том, что мы не такие. На них непохожие. Что мы чужие. Ну разве это повод нас убивать?»

Но духи, не давая подняться, планомерно и методично обстреливают их группу. Позади него кто-то вскрикивает. А потом стонет.

Выстрелы прекратились. Пересиливая страх, он поднял голову над камнем, чтобы оглядеться. И увиденное на всю жизнь запечатлелось в памяти. От камня к камню перебегают, приближаются бородатые люди в чалмах. Спускаясь с окружающих склонов сюда, к тропе, они неумолимо сжимают кольцо. И все это как во сне. Когда ты чувствуешь, что вот какая-то неведомая сила опускается. И душит, душит тебя. И ты размахиваешься. Бьешь, бьешь изо всех сил! А удар, который должен разметать, сокрушать

врага, падает в пустоту. И ничего нельзя сделать. Ничего!

Первая растерянность прошла. Он заметил, как рядом из-за соседнего камня огрызнулся очередью чей-то автомат. Сам поднял ствол. И, почти не целясь, выпустил очередь по спускающимся фигуркам. Казалось, и сделал-то всего два выстрела. Очнулся от щелчка. Магазин уже пуст! Он перевернул сдвоенный, скрепленный изолентой рожок. И еще раз выглянул вверх.



Нестерпимо разболелся живот. «Как не вовремя!» — машинально подумал лейтенант, ловя на мушку чуть поднявшегося, чтобы перебежать, моджахеда в накидке и широченных штанах...

* * *

...Они просили у Бога чуда. И оно свершилось. В горах темнота

наступает мгновенно. Она их и спасла. Уже в темноте, в полной, кромешной тьме они сбились в кучку. Нашли убитого наповал разведчика. Подобрали двух раненых. И каким-то чудом выскользнули из засады.

Шли всю ночь. Полуживые, утром вышли к основным силам. Там, оказывается, вчера тоже был бой.

Духи остановили батальонную колонну классическим способом. Подбили из гранатомета передний БТР. Но «разгрызть» большую, хорошо вооруженную, с двумя зенитными установками на грузовиках колонну не смогли. И с темнотой ушли.

Уже в гарнизоне они узнали правду. Весь их поход был отвлекающим маневром.

А разведчиков спасли. Прилетели ребята на вертушках. Сели рядом с пещерами. И вытащили их оттуда.

* * *

Анатолий безуспешно пытался отчистить от бурых пятен крови раненого товарища свой бушлат. И мучительно вспоминал прошедшее. До этого дня он даже как-то не задумывался о том, что они делают здесь. Зачем они тут? Приказ есть приказ! Сказано — ехать в Афган! Они и приехали. Так Родине надо.

Теперь, после смерти Симоненко, он не мог уже отмахнуться от неприятных ненужных мыслей: «Что мы тут ищем? В этой чужой стране. Ведь они здесь живут какой-то своей непонятной нам жизнью. Зачем им коммунизм? Или социализм? Живут они в средневековье. А мы пытаемся тащить их за уши неизвестно куда. При этом они отчаянно сопротивляются. И наверное, они и правы по-своему. Кто мы в их глазах? Оккупанты? Враги! Так это черт знает что.

А что, если бы в нашу страну пришли они? И стали бы устанавливать свои порядки? Понравилось бы нам в Союзе это?

А как же интернациональный долг? Так, кажется, нас учили... И кому все это нужно? Вообще, какая-то путаница в голове. Мы чувствовали себя героями. Идем спасать товарищей. А на самом деле нас использовали как подсадных уток. В большой игре. Но это оказалась совсем не та игра. И лежит сейчас Витька — молодой, красивый парень — с разбитой головой в соседней палатке... И кто в этом виноват? Кто? Капитан? Майор?... Они тоже пешки. Так кто же этот бездушный, кто нас сюда пригнал? И убивает. Кто?»

* * *

Через пару дней в гарнизон пожаловало высокое начальство. Разбирать итоги операции. «Награждать провинившихся», «наказывать отличившихся». Глядя на свеженьких, чистеньких, в новом полевом обмундировании инспекторов, приехавших неведь откуда, может, даже из Москвы, он чувствовал к ним какую-то непонятную, неведь откуда взявшуюся враждебность, которую обычно чувствуют армейцы к штабным, никогда не нюхавшим пороха. И когда лощеный, пахнувший лосьоном большезвездный полковник, заметив в строю его покрытый на спине бурыми пятнами крови бушлат, стал по армейской привычке распекать его перед строем, не стесняясь в выражениях:

— Распустились тут, на покое! Ходите хрен знает в чем! Обросли грязью. Коростой!..

Тут лейтенант Казаков не выдержал и сорвался. Он почти не помнил, что кричал в лицо оторопевшему и испугавшемуся полковнику, хватая того за грудки. Что-то вроде того:

— Разжиревшие тыловые крысы! Вас там не было...

Ну и всякое такое прочее. До тех пор, пока его не оттащил Алексей Пономарев и не увели в палатку товарищи.

Сорвался парень. Наскандалил. Напишут теперь на него рапорт. А это не есть хорошо. Более того — хреново.

IX

Возвращается как-то Александр Дубравин из командировки к себе домой. Выскакивает из машины. И в подъезде через две ступеньки несетя вверх по лестнице. А на площадке перед его дверью сидит какой-то молодой, но уже раздобревший, круглолицый, усатый аульный казах. Глянул на него Дубравин и ахнул:

— Амантай? Дружище? Это ты, что ли? Сверкнула из-под черных усов белозубая улыбка.

Расплылись круглые щеки, заблестели хитрые щелочки глаз. Ну настоящий Алдар-Косе. Только более добрый, чем в историях о хитром обманщике. Амантай Тамнин-баев — его старый армейский товарищ. Чистая, детская душа.

— Да как же ты тут оказался? Какими ветрами? — Дубравин искренне обрадовался. Они обнялись по-братски, хлопая друг друга по спинам.

— Ну, заходи ко мне. Проходи сюда! Это мой кабинет. Тут я работаю! Садись сюда. На диван.

Так хлопотал он вокруг своего бывшего бойца, попутно вспоминая свою армейскую, давно канувшую в Лету жизнь. Одно слово — нахлынуло.

Татьяны дома не было. Поехала к матери. Пришлось самому.

Поставил чай. Нарубил колбасы. Достал заветную бутылочку. Пригласил товарища к холостяцкому дастар-хану. Тут Амантай тоже достал аульные лакомства, что привез в подарок: курт, чужук, жая, корты — все яства тут же оприходованы и выставлены закускою на стол.

Присели. Александр произнес по такому случаю приличествующий тост:

— Давай, Амантай-бала, выпьем за наших друзей, за наш комендантский взвод, за нашу солдатскую юность, прошедшую в кирзачах. Лучшего времени я не помню!

Звякнули гранеными стаканами. Крякнули. И потекла по жилам благодать. Так, слово за слово, и разговорились о деле, которое привело Тамнинбаева в столицу. И дело это было не совсем обычное. Но обо всем по порядку.

В общем, вернулся Амантай из армии в родной Баканас. И пошел работать в совхоз. А совхоз «Рассвет» — хозяйство не простое, верблюдоводческое. В полупустынной степи там и здесь за десятки

километров друг от друга раскинулись фермы. Верблюды в загоне, пара посеребривших от непогоды и ветров юрт, мотоцикл, грузовая машина, отара овечек — вот все нехитрое хозяйство молодого табунщика. Но Амантаю нравилась его работа. Тем более что по приходу из армии он женился. Взял молодую кызымку из соседнего аула. Баба ему попалась крепкая, смуглая, грудастая. Электричества в степи на стойбище не было. Делать по вечерам нечего. И принялся Амантай без особых затей строгать детей. Так что к моменту их встречи у него было уже трое по лавкам. И все бы ничего. Если бы не одно «но».

Как-то темной ночью пропал у молодого табунщика косяк двугорбых верблюдов.

Потеря немалая. Аж восемь голов. Кинулись искать. Все его семейство, включавшее немалое количество родственников, уселось на лошадок и рассыпалось по степи. Верблюд не иголка. А полупустыня не стог сена. Нашлись следы. В загоне у соседа. Ну, естественно, побежали в милицию. Подали заявление. И все пошло своим чередом. Докатились до суда. Но советский суд самый гуманный и неподкупный в мире. В момент, когда дело шло к приговору, поднялся адвокат соседа. Достал из серой папочки фотографию. И показал ее всем со словами:

— Разве может человек, сфотографированный рядом с товарищем Кунаевым, быть преступником?

Этот неотразимый довод возымел неизгладимое впечатление на судью. Он стушевался. Проникся значимостью аргумента. И вынес свой вердикт:

— Не виновен!

После чего, сладко улыбаясь, обратился к подсудимому с такой речью:

— Абеке, надеюсь, вы довольны моим приговором?

Старый, замшелый барымтач, он же орденоносец, он же знатный верблюдовод республики, милостиво кивнул судье:

— Доволен!

И покинул зал заседаний.

Дубравин от души посмеялся над рассказанной ему историей. И спросил Тамнинбаева:

— Чем же я тебе могу помочь? Я же не судья. Не следователь. Не прокурор.

— Александр, ты же корреспондент центральной молодежной газеты! Слава о тебе дошла и до наших мест. Следователь, который вел это дело, молодой парень-казах, так и сказал: «Надежда только на русских. У нас в степи русские всегда стояли за справедливость. Найди этого корреспондента. Я знаю, он поможет». Вот я и поехал тебя искать.

— Ну и как искал?

— Приехал в Алма-Ату. Пошел в Дом печати. Знающие люди подсказали твой телефон. Звонили. Но так и не дозвонились. Тогда сказали — иди сам в корреспондентский пункт. Жди его там. Может, придет. Вот я и сидел, ждал. Уже третий день...

* * *

...Пылит по песчаным дорогам Баканаса белая, покрытая седой пылью корреспондентская «Волга» с блатным цэковским номером «0008АГА». Вторую неделю сводит корреспондент без права на убийство Дубравин концы с концами в этом непростом, запутанном деле. Собирает в кучу свои козыри. Подтверждает их. Встречается с людьми — участниками драматической истории, в которой переплелись древние обычаи и законы страны «развитого», а на самом деле «недоразвитого» социализма.

Первым делом он, конечно, ломанулся в суд. Чтобы удостовериться в правдивости истории с фото. Узнав об этом, судья куда-то срочно исчез. И симпатичный секретарь никак не могла объяснить, когда он вообще появится на работе. Тогда он взял адреса народных заседателей, участвовавших в том историческом процессе, и помчался на завод, где они трудились. Дождался обеденного перерыва. И поговорил с миловидной полной русской женщиной. Она, особо не нервничая, подтвердила рассказ Тамнинбаева:

— Да, действительно факт имел место. Показывали в качестве довода защиты фотографию, где Кутнанкулов снят с Кунаевым и Аухадиевым.

Он записал ее показания в блокнот. И спросил:

— Подпишете? А то судья спрятался от меня.

В отличие от судьи она не испугалась. Улыбнулась лукаво:

— А почему бы и нет?

Так в папочку лег первый фактик.

Потом была встреча со следователем. Старший лейтенант Сержан Казакпаев, который вел это дело, тоже был настроен решительно. На борьбу. Высокий, худой, костлявый, с жестким ежиком черных волос и щеточкой таких же усиков на длинном лице, сверкая желтыми кривыми зубами, он говорит строго, хмуря брови и поглядывая исподлобья:

— Где закон? Нет закона! Этот Кутнанкулов — настоящий разбойник. Все его боятся. Постоянно ворует верблюдов и овец у соседей. Вот у меня сколько на него дел, — и он, подойдя к шкафу, достает с полки целый том аккуратно подшитых и переплетенных папочек. — Смотрите. — И выкладывает перед Дубравиным всю историю. — И никто его посадить не

может...

«Правдолюбец!» — мысленно определяет для себя статус следователя Дубравин.

Он видит, что Казакпаев относится к разряду тех людей, которые еще верят в закон, справедливость, пытаются жить по закону, внедряя его в практику. Такие люди уже давно стали редкостью. К ним, в частности, относится отец его друга или бывшего друга Амантая Турекулова. И когда они убежденно и уверенно говорят о том, как надо жить и работать, хочется остановить их и сказать: «Милый, оглянись вокруг! Посмотри, что творится!» Но с другой стороны, они симпатичны Дубравину. Потому что и в нем самом тоже живет эта жажда правды и справедливости.

А следователь все рассказывает о своей беде:

— Я поехал его арестовать. Кутнанкулова. Тут меня вызывает первый секретарь райкома партии. И говорит: «Знатного человека мы тебе, лейтенант, арестовать не позволим! Уезжай отсюда, а то сейчас позвоню областному прокурору. И тебя с работы уберут». Я не испугался, но понял: дело не дадут довести. Не стал его арестовывать. Все-таки орденосец. Передали дело в суд. А там сам знаешь, что произошло.

Он замолк и нахмурился. Этот большой, обиженный ребенок.

Но еще большие открытия ждали корреспондента впереди, когда он взялся изучать старые уголовные дела, открытые на Кутнанкулова. Картина была неприглядная. Оказалось, что знатный верблюдовод, орденосец не только барымтач-угонщик скота, но и... убийца. Убийца собственной матери. Зарубил ворчливую, вредную старуху топором.

Корреспондент не поверил своим глазам, когда увидел фото изрубленных морщинистых рук, которыми мать пыталась, видимо, защититься от любимого сына. А потом он прочитал его показания, где Кутнанкулов говорил: «Она сама себя зарубила. Схватила топор и принялась бить себя по голове».

Это был сюжет покруче, чем у Достоевского...

Но главное — герой-верблюдовод снова на свободе. А дело о «самоубийстве» непостижимым образом исчезло из суда. Пропало. Испарилось. Растворилось в воздухе.

Кто-то после этого проявил заботу о знатном верблюдоводе. Ему сменили документы. Изменили в них год рождения. Одну букву в фамилии. И он стал... совсем другим человеком.

Дубравин долго не мог понять причину такой непотопляемости и изворотливости «знатного» человека. Ведь за него горой, единым фронтом стояли райком партии, областная власть, сильные мира сего. Своим

советским менталитетом он никак не мог понять, что связывает этого полудикого сына степей, словно вышедшего из феодально-родового прошлого, и современных, лощеных, гладких, закончивших университеты «бабаев». Какие у них такие общие интересы?

И вот в это осиное гнездо он, Дубравин, и лезет. Другой бы, узнав такое, плюнул бы на все. Да и ушел в сторону. Но он был молод. На него смотрел с надеждой его бывший солдат и этот парень, обиженный следователь. А еще миллионы таких же.

В советской журналистике высшего эшелона существовали некие этические правила, которые должны были неукоснительно соблюдаться всеми. Одно из таких правил гласило: если хочешь критиковать кого-то, то ты обязан лично встретиться с этим антигероем. Поговорить с ним. Посмотреть ему в глаза. Дубравин знал, что некоторые его сотоварищи избегали таких встреч, но в данной истории факты были убийственными. И отступить от правила — значит поставить под сомнение всю проделанную работу.

И вот уже, переваливаясь на рессорах, съезжает с асфальтированной дороги на полевою белая «Волга» с водителем и корреспондентом. Ворчит Сашка Демури:

— Ну все. Пропали рессоры. На такой дороге точно чикнутся...

— Ладно, хватит тебе бурчать! Доедем как-нибудь.

Кругом степь. Даже не степь. Полупустыня. Серая, заросшая верблюжьей колючкой. Этакие редкие кустики на сером песке барханов.

— Еще немного! — подбадривает водителя Дубравин.

— Вот сейчас солнце скроется. И мы заблудимся. И будем ночевать здесь, — огрызается Демури. — Черт нас понес на ночь глядя.

Дубравин помалкивает. Амантай сказал ему, что его стойбище сейчас располагается недалеко от шоссе. Километров пять. Ну а что Сашка бурчит, так это ничего. Это так. Пустяки. На самом деле Демури тоже нравится мотаться по республике. И чувствовать свою сопричастность с большим интересным делом. Это лучше, чем возить цэковских чванливых пузанов и их толстых теток.

Дорога вьется среди песчаных холмов. Потом вырывается на простор, вдоль и поперек испещренный следами разнообразных животных. Еще пара поворотов. И на горизонте, там, где заходящее красное солнце уже коснулось краем земли, показывается полевой стан. Две такие же серые, как сама степь, пропыленные, подбитые всеми ветрами юрты.словно из-под земли рядом с «Волгой» вырастает их хозяин — Амантай Тамнимбаев.

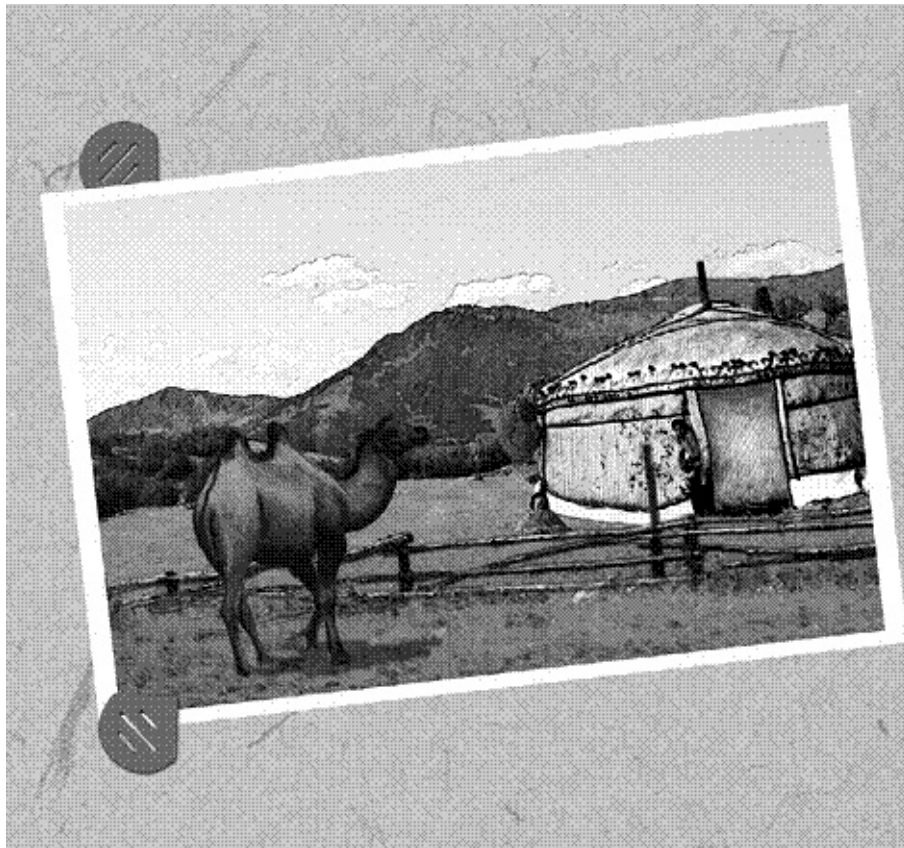
— Салам алейкум! — смеется он, сверкая белыми зубами на

коричневом лице. — Вышел вас встречать. Боялся, что заблудитесь. Или застрянете в песке!

Хлопает закрываемая дверца. И «Волга», оставляя позади себя гигантское пыльное облако, устремляется к стойбищу.

Корреспондент должен подкатить с шиком.

Еще пара-тройка километров. И их машина останавливается у сделанного из всякого «лесного отхода» загона, над которым гордо торчат мохнатые головы и тощие обвисшие горбы кораблей пустыни. Верблюды теснятся в стаде, искоса разглядывая прибывших. «Волга» для них — диковинка.



Дубравин, опасливо озираясь (вдруг начнут плевать), выходит из машины. Хлопает запыленной дверцей. В ближайшей юрте поднимается входная кошма, и оттуда выглядывает молодая, закутанная в платок по самые черные узкие глаза апашка. И исчезает. Через секунду из юрты выкатывается визжащий клубок. Это двое из ларца подкатывают к ногам отца. С замурзанным младшим на руках выходит встречать гостей Карашаш — жена Амантая. Амантай хватает сыновей-погодков и по очереди подбрасывает вверх. Дубравин молча наблюдает за встречей отца и мужа. Острым, натренированным взглядом журналиста все замечает:

бедную серую юрту с продранной кошмой, поржавевшие спицы колес старенького мотоцикла. Невзрачную, дешевенькую одежонку на жене и ребятишках. Больно сжимается сердце.

А Карашаш уже приглашает дорогих гостей в юрту. Попить чайку с баурсаками и молоком. Пока они с водителем располагаются на одеялах возле пузатого самовара, Амантай уже суетится на заднем дворике в загончике для овец. Ловит за ноги молоденького барашка.

Дубравину так и хочется выйти из юрты, остановить товарища, сказать ему: «Да не надо ничего. Брось это дело! Обойдемся чаем!» Но он понимает степные законы гостеприимства. Отказаться от угощения, предложенного с чистым сердцем, — значит смертельно обидеть армейского товарища и его семью. Сам-то он, Александр Дубравин, парень простой. И никогда не чванится, не гордится. Но по понятиям казахов он, корреспондент центральной газеты, очень большой человек. Одно слово — фигура. Поэтому он помалкивает. Попивает из разноцветной пиалы душистый, похоже китайский, чай, заваренный по такому случаю в фарфоровом, тоже китайском, чайнике. И думает: «Да, Амантай еще десять лет будет потом рассказывать своей родне, как к нему по его делу об украденных верблюдах приезжал друг. Помогал! Как он, Амантай, его угощал. О чем говорили.

А я и сам не знаю, поможет ли ему статья. Да и напечатают ли такой острый текст. Цензора ведь никто не отменял. И ЦК партии бдит. А материал острый. С перчиком. Душистый!»

Он вспомнил, как «кастрировали» другие его вещи. Выбросили абзац из статьи об объявившем голодовку партийном боссе. Радикально сократили историю о похищении девушки в Чимкенте. «Выправили» его заметку о гибели солдата в Афганистане. Он чуть не сгорел от стыда, когда к нему попало письмо матери этого парня. В нем она объявила корреспондента, то есть его, лжецом. «Сын мой погиб совсем не так, как вы пишете!» А что он мог ей ответить. Сказать правду о том, что цензор сам переписал этот абзац. И объяснил автору: «Наш воин не может погибнуть просто так, по глупости».

Обретение правды тоже процесс. Год-два тому назад вообще не разрешалось говорить о многих вещах. Напишешь какое-нибудь критическое выступление. И ждешь. Что будет? Может, выгонят с работы? Или дадут по башке на партсобрании. Нет окрика? Значит, можно идти дальше! Сделать еще шаг к гласности. И впереди они. Их газета. Тираж подскочил до двадцати миллионов с гаком. Письма от читателей носят мешками. Так что не зря они лезут в каждую дырку затычкой. Стараются.

Он не исключение. Работает на износ. Открывает глаза народу на недостатки. И за это его привечают не где-нибудь, а в отделах пропаганды, морали и права. Остро! Еще острее! Это вам не культура. Не рабочая молодежь. Тут все на грани. Такие, как он, и расширяют представление о возможностях журналистики. О чем можно писать. А о чем нельзя.

Выдал бомбу. И пошла волна. Звонки, письма от благодарного народа. Гневные опровержения критикуемых и разоблачаемых. Премия за лучший материал. И «пилюлина» от редактора отдела корреспондентской сети.

Долго, мол, пишешь. Медленно. Строчек мало на-гора выдаешь...

* * *

...В «кисешке» давно остыл чай. На улице в казане варится мясо для бешпармака. Дорогой гость и хозяин далеко за полночь беседуют в юрте. Темно. Сопят дети, и храпит шофер Сашка Демурин. Через тундик — отверстие вверху юрты — видны крупные яркие звезды.

За рюмкой чая неспешный разговор. В основном о том, как Амантай, простой молодой табунщик, осмелился пойти против такого важного человека, как Турлыакын Кутнанкулов.

Часа в два ночи Карашаш подала на огромном блюде горячий дымящийся бешпармак. Дубравин ест и нахваливает ее стряпню.

— Как вкусно! Пальчики оближешь. Вот настоящая еда. Не то что в городе подают. А вот скажи мне, Амантай-бала, — ласково спрашивает он. — В чем сила Турлыакына. Почему его все защищают власти? Ордена дают. От тюрьмы спасают. А?

— Ай, старшина, не понимаешь ты нашей жизни! Ведь он делает шубат. Это напиток из верблюжьего молока. Скажем так, как кумыс из кобыльего, а шубат — из верблюжьего. Это напиток, можно сказать, священный для казахов. Здоровый, хмельной. И тот, кто доит верблюдиц и производит сверхдефицитный шубат, для казахов самый уважаемый человек. А он, Турлыакын, главный по шубату в районе. Да что там в районе. В области. В республике. Лучший шубат он поставлял к столу Кунаева и Аухадиева. За это ему все прощают и все дают.

«Так вот ты какой, цветочек аленький! — уже засыпая, думает корреспондент. — В шубате собака утонула, оказывается. Ни хрена мы, русские, не знаем ни обычаев, ни местной системы ценностей...»

* * *

Утром Амантай показал им степную дорогу, которая ведет к стойбищу

орденоносца. Страшновато Дубравину ехать в логово этого степного хищника. Ведь он за последнее время столько узнал об этом полудиком барымтаче-угонщике скота.

«Хрен его знает, что у него в голове. Хватит еще топором по башке, как родную матушку. А потом скажет, что корреспондент сам себя зарубил. И ему поверят. За шубат. Но надо. Надо ехать. Этика профессии требует...»

На степном стане у орденоносца все не так. Дом хороший. Загон крепкий. Верблюдов много. Все мохнатые, черноглазые.

Сам Турлыакын куда-то отъехал. Жена встретила. Такая же обгоревшая на солнце, с обветренным красным лицом. В дом запустила. Провела в пустую комнату. Предложила подождать. Но чаю не предложила. Не за что.

Минут через десять протарахтел на улице мотоцикл. В коридоре раздались шаги. На пороге явился знатный верблюдовод. Роста небольшого, но весь какой-то такой поджарый, быстрый. В запыленном чапане. Дубравину он показался похожим на рысь. Глянул желтыми глазами. Оценил обстановку. Поздоровался сдержанно:

— Саламат сыз ба!

— Здравствуйте, — ответил в нос спокойно Дубравин. Потом представился: — Я корреспондент центральной молодежной газеты Александр Дубравин. Меня к вам привела поступившая в корпункт жалоба...

Ну и далее по тексту.

Турлыакын прекрасно понимает, что корреспондент приехал не за тем, чтобы описывать его подвиги. Отвечает коротко. И самое главное, нет в нем и тени раскаяния и сомнения. Его морщинистое, обветренное жесткое лицо с обтянутыми кожей скулами и непроницаемые, с желтыми белками глаза ничего не выражают. Слова цедит сквозь зубы. В движениях чувствуется какое-то звериное напряжение. И Дубравину порою кажется, что он сейчас в одной комнате с каким-то первобытным человеком, словно только вчера вышедшим из пещеры.

Судя по всему, глубоко чужды Турлыакину всякие городские понятия о правде жизни и справедливости. Только внешний вид. Одежда и обувь у него наши, советские. А копни чуть глубже, и выйдет на свет степной лихой человек. Одно слово — барымтач-угонщик скота. Со своими, отличными от всех представлениями о жизни.

Дубравин доволен. Турлыакын оказался таким, каким он себе его представлял. Можно делать статью. И пусть торжествует закон.

И только когда в ходе разговора он просто из любопытства спросил: «А

сколько у вас детей?» — и Турлыакын ответил: «Тринадцать!», — у Дубравина что-то больно дернуло в груди: «Е-мое! А если его посадят? Им-то что делать? Кто эту ораву кормить будет?» И он даже на минуту засомневался в своей правоте: «А может, ну их всех! У них тут какие-то свои порядки. Свои вековые нравы. Свои счета. Живут они каким-то патриархальным укладом. И живут. Чего нам лезть?» Но потом вспомнил своего друга. И приостыл: «Надо, Федя! Надо! Хотя кто ж их знает. Степная душа — потемки. Пройдет сколько-то времени, может, и сам Амантай начнет делать то же самое, что и этот. С волками жить — по-волчьи выть! Степная жизнь. Она меняет душу».

Х

Уборка зерновых. Золотые поля колосающейся пшеницы от края до края. Ползущие по ним красные букашки-комбайны. На целинных дорогах длинные гусеницы тяжелых автопоездов. И лица людей. Бесконечная череда запыленных, небритых, с красными от недосыпа глазами лиц. Это его работа. Фотографировать передовиков, ветеранов, орденосцев. Иллюстрировать передовые методы борьбы за урожай. Вдохновлять людей на трудовые подвиги. Освещать будни всенародной страды.

Волка ноги кормят. На маршрутных автобусах, попутках, в кабинах автопоездов перемещается Андрей Франк в пространстве целины. И щелкает, щелкает затвор его идеологического оружия — фотоаппарата. Ради нескольких строчек в газете и гонорара за них трудится он не щадя живота своего, добираясь до самых отдаленных совхозов. Вот и сегодня черти занесли его в Кургальджино. В очередной совхоз под символическим названием «Сорок лет десятому съезду КПСС». Он вылез из кабины «ГАЗона» прямо у приземистой, покосившейся и облупившейся конторы совхоза, мысленно усмехнулся и буркнул про себя: «Надо бы переименовать его в „Сорок лет без урожая“! Это было бы точнее. Но пора, как говорил Остап Бендер, за работу».

Андрей стукнул дверью в кабинет директора совхоза и мимо оторопевшей от такой наглости кучерявой секретарши быстро вошел в него. Директор — старый лысый пень в роговых очках и с завязанным горлом — смотрит на него с удивлением. Кто это так смело входит к нему, не спрашивая разрешения? Андрей молча достает свое красное служебное удостоверение. Директор долго, внимательно, поверх очков разглядывает «дыкумент». И, сделав удивленное лицо, спрашивает хрипло:

— Вы что, оттуда, из-за границы?!

Франку обидно: «Что он, слепой, что ли? Написано ясно: „Фройндшафт“ („Дружба“). Газета ЦК компартии Казахстана на немецком языке». Но он старается не показывать своей досады. И терпеливо объясняет замшелому директору, что газета выходит пять раз в неделю. Издается главным образом для советских граждан немецкой национальности, живущих в Казахстане. Но есть читатели и за рубежом. В том числе и в ГДР, ФРГ, США, Канаде, Франции, Латинской Америке, Австралии.

Директор долго и внимательно его слушает. Вертит удостоверение в узловатых, покореженных болезнью пальцах. А потом говорит:

— Так вы, значит, немцы... наши?

«Дошло наконец. Как до жирафа, — раздосадованно думает Франк. — Только вот еще вопрос. Ваши мы? Или сами по себе?»

Это только условно считается, что каждый человек отвечает лично сам за себя. А фактически, например, он, Андрей Франк — молодой парень, фотожурналист, — вынужден разделять со всеми немцами их общую долю. Нести в своей душе все обиды и неустройства народа.

А доля у немцев на этой земле непростая.

И как ни крутись, как ни приспособляйся, милый, а ты немец! И в Советском Союзе это судьба. От нее не уйдешь. Ты прикован к ней, как каторжник к тачке.

* * *

...Когда-то вели седобородые пасторы на бескрайние просторы России переселенцев из Вестфалии, Баварии, Саксонии, Швабии, Швейцарии. Добрая немка царица Екатерина Вторая пригласила их сюда. Для новой жизни. На Украине, Кавказе. А больше всего в Поволжье. И казалось всем, что останутся они тут навсегда. Обрусеют. Войдут в русскую культуру. Впишутся в суперэтнос. Станут своими. Так оно и получилось. Появились Фонвизины, Феты, Брюлловы, Крузенштерны, Шмидты, Литке, Якоби, Бауманы, Пестели. Русские немцы.

А потом грянула революция.

Коммунисты поманили немцев автономией. Своей республикой. И немцы честно помогали большевикам. Даже в Первой конной армии Буденного был немецкий кавалерийский полк.

А вот Вторая мировая поставила точку на их благоденствии. Уже в августе сорок первого автономию ликвидировали. А народ выслали «к черту на кулички». Кого в таежную Сибирь, кого в Казахстан. В голые,

безводные степи. В трудовые лагеря.

После войны ждали восстановления справедливости. И дождались нового указа. Кто рыпнется возвращаться домой в Поволжье — тому двадцать лет каторжных работ.

И с тех самых пор затаилась обида в немецких сердцах. В каждом. Они поняли, что чужие на этом празднике жизни. Двухмиллионный народ потерял веру в справедливость. А это самое страшное.

Потом вроде режим ослабили. Разрешили переезжать в родные места. Туда, где были «колонки» — колонии.

Но не было уже в тех местах старого быта. Исчезли очаги культуры, школы, клубы, родные немецкому сердцу нравы и обычаи. А вместе с ними утрачивался и язык. И он, Андрей Франк, не исключение. Хоть и работает он в якобы полностью немецкой газете, а языка толком не знает. По собственной глупости и молодой недалёковидности не стал учить его как надо в школе и институте. Считал, что не пригодится. А теперь жалеет о потерянной возможности.

Вообще, такие люди, как он, оказались сегодня в самом сложном положении. С одной стороны, они, как работники идеологического фронта, должны подавать согражданам пример верности делу марксизма-ленинизма, интернационализма. А с другой — их природа и натура, их родственники, друзья, знакомые звали к другому, родному, близкому. Так что деятели культуры, интеллигенция испытывали от такой раздвоенности тяжелейший стресс.

— А у вас есть в совхозе передовики производства, орденосцы немецкой национальности? — сразу взял быка за рога Андрей, понимая, что надо успеть до захода солнца сделать как можно больше кадров.

— Пока есть, — ответил, приглядываясь к нему, директор. — Ну, вот я, например, Яков Яковлевич Янсон! Награжден орденом Ленина.

— Вы не шутите?

— Молодой человек! Мне давно уже не до шуток, — видимо признав в Андрее своего, продолжает говорить директор. — Тут уборка урожая идет, а наши как с ума сошли. Заявление за заявлением кладут на стол. Я уже их уговариваю. Ну, не можете вы без Германии, так хоть подождите до конца страды. Куда там! Какой-то массовый психоз начался. Все рвутся. Как стадо овец. Стоит одному вожаку броситься в пропасть, и за ним все. А что с ними там будет? Чем они там будут заниматься — никого не интересует!

Честно говоря, Андрей сам так до конца и не определился еще с этим вопросом. Не раз он в порыве откровенности заговаривал на тему эмиграции с Шуркой Дубравиным. Рассказывал о своих мыслях. Делился

сомнениями. Сам он считал свою жизнь устроенной, успешной. И бросать все это ради неизвестного будущего не хотелось. Это с одной стороны. А с другой... С другой — даже близкие друзья не понимали его немецкой души. Дубравин тот даже обижался:

— И чего вам тут не сидится? Все ведь у тебя хорошо. От добра добра не ищут.

Одно слово, не понимал он его. Нет.

Но сейчас, когда директор совхоза тоже заговорил о своих сомнениях, в Андрее поднялся такой дух противоречия, такая убежденность, что он сам удивился своему всплеску красноречия.

— Да как вы можете так говорить о своем народе?! Бараны не бараны! Ведь люди видят, что у них здесь нет будущего. Поэтому я, например, понимаю, что там буду человеком второго сорта. Но зато уж мои дети будут настоящими немцами. И не изгоями. А на своей земле. Что же касается психологии... То я их тоже понимаю. А вдруг закроют границу? А ты останешься. Без друзей. Без родных. Их тоже можно понять. У каждого гудит в подкорке: «Все едут. Чего же я сижу?»

— Ладно! Ладно! — откидываясь к спинке кресла и потирая переносицу шариковой ручкой, ответил Янсон. — Не надо меня агитировать за советскую власть. Я сам все понимаю. Просто трудно принять это так сразу. Жили, жили. И вперед.

— Давайте займемся делом! — тоже предложил Андрей. — Кого можно снять для нашей газеты? Я готов начать хоть с вас! А?

— Ну что вы! С меня не надо. Какой из меня герой! Старый уже. Лысый! — усмехнулся директор. — Есть еще и помоложе. Не все еще уехали, — и в селектор: — Люся, позови ко мне Бергера!

* * *

Андрей возвращался в Целиноград на директорской «Волге». Мысли, длинные и печальные, как эта дорога, тянулись одна за другой. «Все дело в том, что мы, немцы, больше не считаем СССР своей родиной. И поэтому все нацелились на исход. Как когда-то евреи из Египта. И удержать нас уже ничто не может. А я? А что я? Я — часть немецкого народа».

XI

Тяжела женская доля. За короткие, мимолетные девичьи годы надо столько успеть сделать. А главное, пока не отцвела твоя красота, надо успеть и погулять, и замуж выйти.

Желательно по любви. И за хорошего парня.

Хорошо, если повезет. И попадется положительный, работающий, непьющий, хозяйственный. А то ведь вон сколько их бродит, кобелей. Ни Богу свечка, ни черту кочерга.

Мужиков вообще мало становится. А настоящих, серьезных, годных для семейной жизни и того меньше. Раз-два и обчелся.

А девчонок — пруд пруди. И подрастают все новые и новые поколения. Попробуй с ними потягайся. С юными красавицами. Вот и приходится пускаться во все тяжкие, чтобы обрести семью...

...Такая или похожая точка зрения на отношения полов уже давным-давно господствует среди женского населения страны победившего социализма. И, подчиняясь ей, советские женщины изо всех сил в свойственной им манере ведут свою маленькую войну за выживание. В ход идут все накопленные за века приемы, уловки и хитрости.

Начинаем с внешности. Изо дня в день, из года в год надо выглядеть соблазнительно. Тысячелетиями оттачивалось искусство. И будь ты хоть семи пядей во лбу, хоть доктор наук, хоть академик, а если имеешь лишний вес — не видать тебе женского счастья как своих ушей.

С детских, юношеских лет была озабочена Галина Озерова, она же теперь Шушункина, тем, что, как ей казалось, ноги у нее тонкие. И поэтому уже много-много лет подряд занимается она зарядкой, обязательно с грузом. Вот и сегодня только поднялась с кровати, сразу — прыг в тапочки. И в свой уголок. Делает законные сто приседаний с отягощениями, с черными чугунными двухкилограммовыми гантелями.

— Раз, два! Раз, два!

Хорошо приседается сегодня. Быстро. Накачала ноги за эти годы. «Вот только, кажется, еще грудь маловата. Где-то за границей, говорят, научились и ее увеличивать».

Теперь душ. Контрастный. И все в этом мире прекрасно. А я прекрасней всех... «Только что-то дорогой муженек не просыпается. Ох и любит же он поспать».

Теперь надо заняться прической, накрасить ногти, сделать макияж. На

это уходит еще почти час драгоценного времени. «Наложим синие тени на верхнее веко по последней моде. И боевая готовность достигнута».

«Надо сегодня надеть что-то особенное. Может, высокие каблуки с обтягивающей короткой юбочкой. А сверху ту кофточку с большим вырезом. То-то в прошлый раз начальник ЖЭКа все никак не мог отвести от него взгляд. И конфузился. И краснел от этого».

На завтрак ложка невкусной каши-размазни. И кружка чаю. Чтобы, не дай бог, не толстеть. Она хотя и не имеет лишнего веса и не соблюдает диет, но все равно надо за собою следить.

Ну вот, пора на работу. А там бабский коллектив. И разговор. О чем? Да все о них, проклятых. О мужиках. «Ох, и тошненько мне!»

А чем себя еще может занять молодая красивая женщина, если у нее нет детей? Сама собою и может занять. И мыслями о любимом или нелюбимом мужчине.

Долгих полгода ела она его, как ржа железо. Заставляла ходить к врачам-специалистам по мужским делам. Чтобы сдал анализы. И наконец они смогли получить ответ. Один на двоих. «Почему у нас нет детей?»

Сама нашла в Москве такую лабораторию. Сама отвезла его туда. Куда там Карнеги с его советами: «Улыбайтесь. Говорите о том, что интересует вашего собеседника». Куда там специалистам по нейролингвистическому программированию во главе с их кумиром сайентологом Роном Хаббардом. Любая русская баба даст им сто очков вперед, когда уговаривает любимого муженька не пить каждый день. Или, как в ее случае, сходить сдать сперму на анализ.

Добилась-таки своего. И оказалось, что слабые у него живчики-сперматозоиды. Нежизнеспособные. Негодные к оплодотворению.

«И что теперь делать? Вообще отказаться от детей? Или все-таки попытаться счастья по-другому?»

Такие вот открытия и проблемы ждут ее на длинном пути к женскому счастью.

И вообще, в чем оно — это самое счастье? Что нужно женщине для него?

Вот все говорят наперебой: любовь, любовь! Конечно, на первой стадии, пока не гаснет пламя и еще нет привычки жить вместе, любовь-сумасшествие играет свою примиряющую и успокаивающую роль. Но вот любовь-страсть остыла. И пошли будни. Ну и что она должна сделать, чтобы сохранить и укрепить семью?

Тысячи лет женщины ищут ответ на этот вопрос. И так до конца не определились с ответом. И умные книги читают. И опытом обмениваются.

И у мужчин спрашивают. А жизнь все равно подкидывает все новые и новые сюжеты. Вот вчера она, Галина, весь вечер просидела с бабушкой. И бабушка — божий одуванчик раскрыла ей свои тайные рецепты счастливой жизни.

А дело было так. Пришла она с работы. Все уже готово. Ужин — картошка с мясом — на столе. Белье постирано, поглажено. Комната прибрана.

Уютно. Чисто. Стали ждать Влада, чтобы вместе поужинать. Присели смотреть телевизор. Налили чайку. Да и разговорились. Бабушка хоть и старенькая, седенькая, сухонькая, но держится молодцом. Всегда причесана. И даже покрашена. И пожила хорошо. Много чего знает. Недаром, видно, три раза сходила замуж. А уж любила, так немерено.

— Я вот смотрю, внученька, вы с Владиком в последнее время отдельно спите. Может, что случилось? Ссориться начали?

— Нет, бабуль! Просто так удобнее спать. Отдельно.

— Ну, ну! — бабушка покривила сухие губы. — Ты, голубушка, конечно, делай как знаешь, но мой тебе совет — спать ложись вместе.

— Почему?

— Потому что первое дело для женщины — это ублажить мужа. Захочет он посреди ночи, а ты рядом. Подкатишься под бочок. А если спите раздельно, то что ж тут хорошего? Ничего тут хорошего не получится.

Бабушка остановилась на секунду, полился тонкой струйкой кипяток из белого фарфорового чайника в любимую голубенькую бабушкину чашку. И опять наставление:

— Запомни, внученька. И никогда не отказывай мужу в этом деле. Мужчинка, он только кажется таким крепким, сильным, грубым. На самом деле он нежный внутри себя и страшно ранимый. Вопрос этот для него первой важности. Для его самооценки. Если ему дают женщины, он самец-молодец. Состоялся по всем статьям. Ходит гордый, важный. Ну прямо Кинг-Конг. Так он себя в мире обосновывает. Поэтому все мужики так гордятся своими подвигами. И еще они собственники. Если уж он взял тебя замуж, то считает, что сделал для тебя великое дело. Ну как будто купил тебя. Заполучил навсегда. Целиком. Можно сказать, заплатил за тебя своей свободой. Ну а если он еще и зарабатывает хорошо, то тогда его самомнению нет предела. И вот ты ему один раз говоришь «нет». Второй, третий. Это такой удар по его самолюбию, что в четвертый он и не попросит. Как?! Он тебе все отдал, а ты не хочешь ему просто дать. Тем более что тебе это ничего не стоит. А для него сверхважно. И вот тут

начинается разлад в семье. Для него это унижительно. Просить и получать отказ. И будь уверена, ему проще найти кого-нибудь на стороне, чем обращаться к такой жене.

Женщины в массе своей этого не понимают. И начинают себя оправдывать: «Да он подлец! Да загулял. Да я устала». А того не ведают, что если уж вышла за мужичонку, то не играй с огнем. Это когда идут шуры-муры у вас до свадьбы, тут ты вправе его разжигать. По нашей, женской логике. Так что спать вместе — это первейшее дело...

— Бабушка, вы меня всю в краску вогнали! Даже жарко стало от ваших рассказов! — Галинка отставила чашку с оставшимся чаем в сторону, вытянула ноги в домашних тапочках.

— Внученька, это даже не я вывела. Об этом у мусульман в их главной книге сказано. Что нельзя женщине отказывать мужу. Это грех. Ну, если, конечно, нет каких-то обычных причин...

— Ну хорошо, предположим, вы правы.

— Да какой там предположим! Это и ежу понятно, что права...

— Ну хорошо, — нетерпеливо перебила ее Галинка, — а неужели это единственное условие счастья? Что-то не верится.

— Положим, не единственное. Но главное. Есть, конечно, и другие...

— Какие?

— Мужчине надо готовить. Ты, я вижу, не очень любишь готовить. А зря. Некормленный муж опаснее атомной бомбы. Не зря же у нас в русских народных сказках, когда Иван-царевич приезжает к Бабе-Яге, что она первое делает? Кормит-поит его. А потом, соответственно, спать положит. Может, даже и рядом с собой, — бабулька задорно усмехнулась уголками губ, отпила чаю. — Так-то, Галенька. Рецепт-то вроде простой. А для жизни первейший. Он пришел с работы, как будто из печки выскочил. Весь накаленный, распаренный. А ты его не грузи. Налей пятьдесят грамм. Подай быстро на стол. Он и отмякнет. Успокоится. Замурлыкает. Тут и бери его голыми руками. Слушай его. Это тоже очень важное дело. Слушать мужика. Ему выговориться надо. Накипь слить. Успокоиться.

— Да ну, бабушка. Чего там. Он придет и молчит. Слова не вытянешь.

— А это потому, что ты слушать не умеешь! Я заметила! Ты сразу начинаешь его перебивать. Поучать. Вставляешь всякие свои замечания. Показывать свое «я». Свой маленький ум. А этого не надо делать. Ты просто слушай его. Поддакивай. Впитывай как губка. Пускай выговорится. Ведь он же у тебя совета не просит. Он сам себе голова. Хозяин семьи. Вы, нынешние, конечно, воспитаны по-другому. Если что, не смолчите. Вот потом и жалуетесь. Пьет с мужиками непонятно где, непонятно с кем. А он

туда идет, где слушать умеют. Где его уважают. А бабы — дуры. Все пытаются себя показать, указивки раздают. Бывает, и насмеваются. Вот мужик и замолкает. Не хочет говорить. А нам обидно. На себя обижаться надо. На себя. Подруги...

— Бабушка, дорогая! А как же любовь? Чтоб душа в душу?

— Любовь, она приходит и уходит... О любви разговор отдельный. Я тебе о жизни говорю. Ведь когда долго-долго с человеком живешь, все так притирается, привыкается, что и не поймешь, не знаешь, где найдешь, а где потеряешь. Это надо знать и исполнять, чтобы жить. По возможности долго и счастливо с мужем. А любовь, — бабулька снова тряхнула кудрями и усмехнулась, показав белые вставные зубы, — птица редкая. Это совсем другое дело.

— Как-то у вас все очень просто. Прimitивно. Ублажать, кормить, слушать. И больше ничего для жизни не нужно. Может, еще что есть. А, бабуль?

— Еще рожать надо! — бабка перешла к привычному старческому ворчливому тону. — Без этого ничего у вас путного не выйдет.

Галинка вздохнула печально:

— Да я хоть сейчас. Готова уж давно. Но вы же знаете. У нас проблема, — и, пересилив себя, добавила: — с Владом...

— И-и, милая! Что ж, что проблема. У кого их не бывает, проблем-то. Проблемы могут быть. Что ж тут стесняться. Есть же способы. Доктора знают. Медицина далеко зашла. Можно и искусственно.

— Да не понимаете вы, Софья Матвеевна! — с прорвавшейся какой-то детской досадой ответила Галинка. — Не получается у нас. Я уж вся испереживалась...

— Ну, если уж так, — покачала головой бабулька. — Что, мужиков других на свете нет, что ли? Вон их сколько, жеребцов стоялых. Только гикни...

Галинка от такого бабушкиного откровения вся пошла пятнами. И, торопливо вскочив с дивана, улетела на кухню ставить чайник. Выход, казавшийся бабушке самым простым и естественным, никогда в жизни еще не приходил ей в голову. Ей претила даже сама мысль. Ужасная мысль: «Ведь это же измена! Как она может пойти на это? Ведь не простила же она такое Дубравину! А тут... И как бабушка могла ей такое сказать. Она на это пойти не может. Лучше уж скоплю денег, и попробуем искусственное зачатие. Ведь это же не измена. Да еще с каким-то чужим, ненужным, а может, еще и дурно пахнущим мужчиной.

Ну, бабушка. Вот так бабушка. И как она могла такое сказать. И

пришло же ей в голову такое. Мда...»

XII

Есть дороги, которые мы выбираем, а бывают и другие, что выбирают нас. Чаще всего Дубравин сам себе искал тему. Возможность ее реализации. Сам собирал факты. И готовил статью. Но бывало, что редакция давала задание. И хочешь не хочешь, надо было ехать к черту на кулички. Писать обязательку. Хорошо писать. Даже если душа не лежит.

Вот и сейчас мягко постукивают колеса медленно ползущего поезда. Ветерок чуть колышет занавески на открытом окне в проходе вагона. Дубравин нетерпеливо выглядывает в эту форточку.

За окном заросшая кустами ядовито-зеленой конопли долина, через которую потихонечку движется по стальным рельсам их металлическая гусеница. Чуйская долина. Место знаменитое. И даже описанное в романе Чингиза Айтматова. Мекка для начинающих наркоманов и сбытчиков.

Но не это сейчас волнует Дубравина. В пустом купе, из которого он только что вылетел как пробка из бутылки, сидит попутчица. Даже не попутчица, а сопровождающая его особа. В обкоме комсомола, как он ни отнекивался, дали ему «в помощь», а на самом деле для контроля заведующую отделом сельской молодежи Светлану Кошанову. Полненькая светлокотая, светловолосая, густо подкрашенная девица на излете комсомольской юности. Почти всю дорогу изводила его бесконечными восторженными разговорами о любви и дружбе между мужчиной и женщиной. Так что сейчас, подъезжая к станции Чу, он уже знал всю ее семейно-любовную историю как свои пять пальцев. Особенно восторгал ее собственный муж — гениальный художник, который изо всех сил боролся с зеленым змием-искусителем и одновременно рисовал ее, Светлану, чудесные портреты. Дубравин, который тоже не так давно сочетался узами законного брака с Татьяной, поддерживал разговор как мог. В том же тоне.

Но вот и станция. На перроне их встречает на собственной потрепанной «шестерке» такой же потертый неудачник — первый секретарь райкома комсомола. И отвозит в провинциальную гостиницу. Светлана остается в номерах. А он с крепышом-секретарем начинает носиться по району. Изучать борьбу комсомола с «нуркуманией».

Его задача — обязательно снять фоторепортаж о задержании наркокурьера.

Вживую, где ж его сделать? Курьеры по заказу не ловятся. Так что в конце концов они с оперуполномоченным Аликурбаном Мамедовым

находят выход. Сначала они поймают курьера по-настоящему. А потом сделают с ним фотосессию.

Из долгих путаных разговоров с местнымиоперами выясняется, что сюда, в долину, приезжает много молодых людей, которые пытаются либо сами собирать листья конопли, либо покупать их у местных по дешевке. И опера отличают их от обычных пассажиров с той минуты, как только они выходят из вагона. Поэтому надо просто подождать очередной поезд с большой земли. А остальное дело техники.

Весь день они носились по пыльным пустынным дорогам долины. Прятались в камышовых засадах. И пытались выйти на добычу. Наблюдая в эти часы за своими запыленными, поджарыми подельниками, Дубравин понял, что мент — это не профессия, а призвание.

Но не сложилось. Напрасно полночи они провели в последней засаде, выглядывая в прибор ночного видения движущиеся по полю огоньки. Наркоманы, что ехали на мотоциклах на сбор урожая зелья, не попались.

Уже под утро ввалился Дубравин к себе в номер и обнаружил, что на широченной кровати поверх одеяла спит свеженькая, накрашенная, напомаженная духами инспектор Светлана в коротеньком халатике. А на журнальном столике стоит початая бутылка с шампанским и ваза с фруктами. Короче, разыграна сцена по сюжету «Я вся твоя, любимый!»

Дубравин в силу своей молодой наивности и небольшой опытности по женской части счел все вчерашние разговоры о «гениальном муже-художнике» чистой правдой. А посему застыл в недоумении на пороге комнаты. Наступил момент истины. Во рту присох язык к небу. Застучало, забилося сердце. Горячо стало в животе. Природа начала брать верх над рассудком. Оставалось только сбросить с себя штаны и рубашку. И прилечь рядом. Но голова еще работала. А в голове полно благородных мыслей: «Ведь я вчера в поезде рассказывал ей о любви к своей семье. О том, что счастлив. И как все это будет выглядеть завтра? И как я буду себя ощущать?» Дело в том, что когда Дубравин женился, то принял для себя принципиальное решение: «Теперь все. Никаких шашней. Никаких романов. У меня есть семья».

А тут вот такой случай. Впрочем, это уже не первый. Некоторое время тому назад он помог одному преподавателю университета избежать тюрьмы за взятки. Сейчас это стало модой. Пресса борется со сфабрикованными делами. Ну тот пригласил его к себе домой отметить — выпить, закусить, где познакомил корреспондента со своими. А дочка хозяина после этого тоя как-то зашла к нему в корпункт поблагодарить за спасение отца. И в ходе беседы предложила «отдохнуть» вместе где-

нибудь. Дубравин смутился, покраснел. И отказался, заявив, что он любит свою жену.

И вот новое искушение.

Гордость все-таки с большим трудом взяла верх над желанием. Он круто развернулся. Вышел из номера. Посидел в холле в кресле. Взял внизу у портье другой ключ. Благо гостиница пуста. Там и завалился спать.

Но не спалось. Все думалось. О женщине, которая ждала его в соседнем номере. О своей жизни. О сексе. Впервые он задумался над вопросом: «Почему я женился?»

Причин было много. Хотелось прислониться к хорошему, светлому человечку! Да, наверное. Упорядочить свою полуобщажную жизнь! Тоже правда. Чтоб кто-то ждал! Верно. Но главное, главная побудительная причина? Чего лукавить — это секс. Чем сильнее в этом смысле мужчина, тем ему хуже, труднее жить на свете. А тут такой простой и удобный выход. Женился — и каждый день счастлив. Катаешься, как сыр в масле. Но... Хорошо, если совпадут потребности и темпераменты. А если нет? Тогда хоть волком вой. У Дубравина так и получилось. Не совпали. И человек хороший: верный, преданный, и хозяйка отличная, и красавица, и школу с золотой медалью, и университет с красным дипломом, и невеста с приданым, а отдачи настоящей нет.

Может, так бы все и шло потихонечку-полегонечку. Приспособились бы они с Татьяной друг к другу. Притерлись. И к старости выровнялись потенциалами. Но беда была в том, что он уже знал, как бывает, когда «то». И его это знание угнетало. С одной стороны, хотелось быть верным, порядочным. С другой, она, как назло, делала все, чтобы напряжение росло. Уже через полгода совместной жизни, таинственно улыбаясь, она шепнула ему ночью на ушко, что беременна. Но Дубравин как-то не разделил её радости. Потому что сразу же для него начался период поста и воздержания. А куда теперь идти солдату? Куда нести печаль свою? Вот и получается. Терпеть-то терпится. А слюбится ли? Большой вопрос.

Дубравин встал с кровати. Прошел в ванную. Налил стакан воды прямо из-под крана. Посмотрел, как мутная от хлорки вода постепенно прозрачневет. Вдохнул. Выпил до дна. Опять прилег. В окне появились первые признаки рассвета. «Ох, гостиница моя, ты гостиница. На кровать присяду я, ты подвинешься». Сколько их было в его жизни, этих гостиниц. Сколько еще будет. С ним все понятно. Ну а Татьяна? Она-то чего ждет от него в этой жизни? Чего они хотят вообще от нас, эти бабы? Ясное дело. Сначала любви! А дальше-то что? Без этих сантиментов. В чем она выражаться по их понятиям должна? Не будешь же каждый день цветочки

домой таскать. Значит, есть что-то большее. Надежности, наверное, хотят. И чтобы их кормили. О, точно! Ведь не зря же в русском языке мужик, глава семьи, назывался кормилец. То есть тот, кто содержит. Зарабатывает. Заметь, кормилец. Значит, это самое главное.

А что еще? Любят они поговорить. Ведь для женщин разговоры — это прямо-таки манна небесная. Их медом не корми — дай только поговорить. Язык почесать. И рассуждать готовы о чем угодно.

Видимо, для них разговор — это некая форма обмена энергиями. И между собой. И с мужчинами.

Ну и секс, наверное, не последнее дело. Хотя, судя по моей семейной жизни, тут еще работать и работать. Хотя какая это к черту работа...

Утром как ни в чем не бывало Светлана постучала к нему в номер:

— Ой, Александр Алексеевич. А я вас ждала. Пойдемте завтракать!

В полупустом гостиничном буфете его ждали так же сосиски с сухим картофельным пюре. Чашка чая. И вчерашний оперативник. Он с ходу рассказал корреспонденту об удачной операции. Курьера они засекли. Без погони, стрельбы и приключений.

А дело было так. Они взяли на заметку прибывшего поездом парня. Дождались, когда он загрузится анашой у местных. И теперь он направляется к вокзалу. А они ждут его, Дубравина, чтобы сделать репортаж.

Уже через минуту он сидит с ребятами в машине. Через три они на вокзале. Изображают в зале ожидания пассажиров, ждущих поезд на Алма-Ату. Наконец в дверях появляется курьер — белобрысый парень лет двадцати в белой рубашке навыпуск и с огромной сумкой через плечо. Дубравин думает, что сейчас его будут «хватать и не пушать». Но не тут-то было. Аликурбан Мамедов, усатый, горбоносый, небритый опер с вокзала, тихо говорит ему:

— Брать будем перед самым приходом поезда. И так, чтобы не отвертелся! Иначе он сейчас может бросить сумку на пол. И сказать, что она не его. Дали, мол, подержать. Или привезти. А что там, я не знаю... Но и держать ее при себе ему нет резона...

Стали ждать.

Белобрысый, быстроглазый и вихлястый парень как ни в чем не бывало быстро спрятал большую сумку в автоматическую камеру хранения. И с видом явного облегчения вышел на перрон ждать поезда. Прошло с полчаса. Все это время Дубравин мучительно размышляет на тему: «Каким образом опера собираются доказывать, что сумка принадлежит курьеру? Ведь он в любой момент может снова от нее отказаться?»

На улице гремит тормозами подходящий поезд. Раздается из динамика голос дежурной по станции:

— Пассажирский поезд Чимкент — Алма-Ата прибыл на путь первый, платформа вторая. Стоянка пять минут.

В ту же минуту в зал залетает курьер. И несется к камере хранения. Минута, другая. Он крутит номера на металлической дверце. Но камера не открывается. Курьер нервничает. Озирается по сторонам. Поезд ждать не будет. Наконец парень зовет одетую в форму железнодорожника дежурную с ключом. И объясняет ей:

— Наверное, сломалась ячейка. Не могу открыть.

Дежурная невозмутимо подходит к ячейке. Открывает металлическую дверцу своим ключом. Белобрысый уже рвется к сумке, но тут к ним подходят Аликурбан с Дубравиным. Оперативник подмигивает дежурной. И та говорит:

— По инструкции мы должны убедиться в присутствии понятых, что сумка действительно ваша.

— Да моя она! — отвечает белобрысый. — Просто, может, номер перепутал.

Дежурная фиксирует ситуацию.

— Ну вот и хорошо. Значит, вот, товарищи понятые, гражданин свидетельствует, что сумка его.

— Ну да, моя! — берясь за ручки и доставая баул из ячейки, говорит курьер. — Спасибо вам, что помогли. Я пойду?

— По инструкции вы должны при нештатном открытии ячейки при понятых заявить, какие принадлежащие вам вещи лежат в данной поклаже.

Дубравин молча наблюдает, как на лицо парня наползает глупая, бессмысленная улыбка, обнажающая редкие, щербатые зубы. Как выступают капельки пота на его лбу. А рука с сумкой безвольно опускается к полу.

Только теперь парень понимает, что попал. И вся эта история со сломанным замком просто милицейский розыгрыш, подстава, в результате которой он сам признался, что сумка его. А теперь ее осталось вскрыть. И посмотреть, как положено по инструкции, что в ней находится...

Дальше все идет под протокол. В дежурной комнате милиции. Когда формальности закончены, опера сажают Сундукова в машину. И все вместе они едут делать фоторепортаж для прессы. По дороге Аликурбан объясняет суть проблемы:

— Я нарочно сбил номера на замке. Проверил, что там лежит в сумке. Убедился. А остальное сам видел. Ты только про это ни-ни. Это наши

маленькие секреты, хитрости. А репортаж мы сделаем такой, какой надо.

И правда, через неделю вышел фоторепортаж «Трава беспамятства». Шикарная вещь. Со сбором конопли в полях, с засадой, погоней. И задержанием. Ну прямо не хуже, чем у Айтматова. Во всяком случае, на редакционной летучке его обязательку отметили.

Дубравин тоже гордился. Но не репортажем. А собой. Устоял перед искушением.

XIII

Собственный корреспондент — одинокий волк. Сам планирует, сам собирает фактуру, сам пишет.

И не с кем ему выпить водки, особенно в праздники. Нет возле него трудового коллектива, готового поддержать добрый почин.

Сегодня Девятое мая. И Дубравину как-то одиноко. Ну посидел он дома с Танюхой. Пообедал. А потом решил: «Поеду-ка я в редакцию к Акимову. Чем смотреть эту лабуду по телевизору, лучше порадовать настоящего и еще живого фронтовика».

А все дело было в том, что сам Александр глубоко убежден — настоящих солдат той войны уже не осталось. Те, кто сидел в окопах, ходил в атаки, погибли. И косточки их истлели в лесах и полях. А кто выжил — умерли от ран. И покоятся на бесчисленных кладбищах. Остался второй, третий эшелон.

Для такого подхода у него были основания, так как он знал страшную статистику войны: рядовой солдат переживал на передке две атаки. лейтенант, командир взвода в среднем жил две недели. А потом либо санбат, либо прикопают его где-то в воронке от снаряда. Летчик делал в среднем пять вылетов...

Но не бывает правил без исключений. Таким исключением был Акимов.

В дипломат — бутылку коньяка из заветного запаса. В другую руку — букет алых тюльпанов. И поехал он в свою бывшую редакцию. Точно. Не ошибся. Там уже дым коромыслом.

Вообще, в это время, несмотря на все запреты, праздники было принято отмечать и на работе. В трудовом коллективе. Накрывали в большой комнате стол тем, что приносили из дома. Покупали водку для мужчин, сладкое вино для женщин. И гуляли. По полной. Тем более сегодня.

Стол уже накрыт. По-походному. Газетами. Водка налита в металлические кружки. Закуска самая простая. Соленые огурцы. Селедочка с картошкой. Хлеб нарезной, черный. Тушенка. Конфеты.

Народ встречает Дубравина радостно. Как своего. Уступают место за столом. Подвигают зеленую кружку. Успел вовремя. Первый тост произносит сам редактор:

— За Победу! За Родину!

И дружно накатили все разом.

Минуту-две тишина. Сосредоточенно закусывают. Наконец разговорились. Конечно, не о войне. Кто ж ее помнит, войну ту? Они все родились после. Впрочем, не все. Кроме Акимова сегодня в орденах и медалях пришла вторая машинистка Зоя Федоровна. Еще свежая бабулька-пензионерка с завитыми по случаю праздника седыми кудрями и хорошо напудренным, чтобы меньше были видны глубокие морщины, лицом. У нее тоже сегодня праздник. Тоже, оказывается, всю войну прошла. А никто и не знал, что девчонкой-санитаркой хлебнула она фронта, кровищи, грязи, смерти. И сидит она сегодня от Александра Дубравина справа в своем пиджачке, увешанном орденами. Поглядывает на окружающих светлыми, странно молодыми голубыми глазами. Закусывает. И выпивает.

После второй заговорили погромче. Красномордый разлохмаченный Володя Пьянков заспорил с Ваней Изжогиным по поводу водки:

— Да что ты понимаешь в колбасных обрезках. Водка наш исконно народный продукт. Национальный продукт. Нигде в мире он не может появиться, кроме России. Здесь суровая зима. И длится больше полугода. Вот и надо народу в такую зиму что покрепче пить. Она и характер наш укрепляет.

На что Ваня Изжогин резонно отвечает:

— Да водку в прошлом веке Менделеев изобрел. Он формулу открыл. Сорок на шестьдесят спирт разбавлять начали. До того Россия пила медовуху, квас хмельной...

— А ну тишина! — зашикал на спорящих новый заместитель главного Алик Пан, тощий, нервный, дерганый кореец с узкими, как будто прорезанными на лице бритвочкой, глазами.

Еще раз поднялся седенький, худенький Акимов. Окинул всех взором. Сказал:

— Я поднимаю тост, который произнес товарищ Сталин на банкете в Кремле после Парада Победы. Он тогда выпил за русский народ. За его долготерпение, мужество и страдания.

Все встали. Зазвенели, зазвякали металлом кружки. Выпили еще по сто грамм.

И понеслось. Поехало. Ближе к вечеру народ начал расходиться. Первым после официальной части, как всегда, слинял Михаил Куделев. Фронтные сто грамм подействовали на него плохо. Начал жаловаться, что его обошли в должности. Сунули Пана. Потом тронулись и другие. Остались за разворошенным столом старый ветеран да пара мужиков, один из которых Дубравин. Завязался тот настоящий задушевный, можно сказать, исповедальный разговор, который только и присущ настоящему

русскому застолью. Старенький редактор потихонечку подливает рыжий коньячок, непрерывно курит и говорит, останавливая подступившие к горлу воспоминания:

— Только не думайте, что я какой герой или что. Я не герой! Просто рядовой, обычный солдат. Лучшие, те там остались. А мы так, второй эшелон. Пустяки, одним словом. Я ж артиллерист. Это, считай, облегчение. Не совсем на передке стоишь. Как-никак позади пехоты. Хотя бывало по-разному.

Сколько лет прошло, а вот война от меня никуда не ушла. Так во мне и живет. Живет проклятая. Все помнится. Потому что война — это жизнь рядом со смертью.

— А страшно было, Василий Яковлевич? — неожиданно спрашивает Пан.

— Я первый раз страшно испугался в Сталинграде, когда наткнулся на нашего убитого, обглоданного бездомными собаками бойца. Так мне жутко стало. Неужели, думаю, я тоже так буду лежать.

Вообще, смерть, она безобразная штука... Страшная, ребята. Не то слово.

Выдвинули меня как-то вперед с двумя ребятами. Посадили в окопчик. Чтоб мы корректировали огонь. А танки прут и прут. И обходят нас. Пыль кругом. Вой. Снаряд, что ли, попал к нам. Соседу моему ноги оторвало и осколком скулу разворотило. Кровища, пена изо рта. А он орет, орет! Чем орет — непонятно. Сколько лет прошло. А как он кричал, до смерти не забуду...

— Эх, давайте ребят помянем!

Редактор налил еще полстакана.

— За погибших товарищей!

Выпил не чокаясь. Не морщась. Не закусывая. Видно было, что его забрало. И хотелось сказать что-то главное, важное.

— На войне я, Сашка, как и все мы, знал, что меня убьют. Поэтому мыслей каких-то про будущую жизнь не было. Были простые мысли. Оплакивать меня некому. Я сирота. И раз уж конец один, раз уж такие хорошие люди погибают, так я перед смертью хоть побольше убью. И все! Какие мы герои?

Алик Пан, пьяно качнувшись над столом, все-таки поймал ускользающую мысль и спросил:

— А как же заградотряды? Приказ ни шагу назад?

— А как же! — Акимов крепко уперся локтями о стол, подпер седую голову. — Ведь человека на смерть послать можно только под страхом

смерти. Его уже ничем не проймешь. Только расстрелом или штрафбатом. Ведь в начале войны в плен сдавались полками. Я и то помню случай. У нас с передовой ушли на ту сторону фронта три тысячи человек — татар. Кто-то с той немецкой стороны начал разговор: «Эй, Абдулла! Ты здесь?» И какой-то Абдулла отвечает: «Я здесь!» Они ему: «Иди к нам!» Он в ответ: «Иду! Иду!» И представляешь, снимается целый полк. Три тысячи человек. И ночью прямо из наших окопов в их окопы перебираются. Во как было. Армиями попадали в плен. От этого и вышел такой строгий приказ. И репрессии объявили против семей тех солдат, что в плен сдались. Карточек их лишали, высылали. Чтоб отцы и братья знали. Сдашься немцам — семья твоя умрет с голоду. Такая вот арифметика получалась.

Опять же в наше время это все забылось. Теперь у нас гуманизм пошел. Но тогда как мог Сталин прекратить это дело?

Кстати, про штрафбаты. Мало кто знает, что первые их немцы у себя ввели. И заградотряды тоже. А мы уж подхватили. И расстреливали перед строем беспощадно. Своих же. Не жалели.

Я помню, у нас командир дивизии при форсировании Днепра расстрелял командира полка прямо на берегу. А мы, рядовые, все видели. Чего только не видели.

Акимов отставил стакан в сторону. Снял со спинки стула свой серенький пиджак, рядами увешанный орденами, медалями. И как сомнамбула, прикасался к каждому ордену, рассказывая:

— Этот я получил за Днепр. Господи, боже мой! Напялили на нас ватники, навьючили, как верблюдов, разного рода оружием, автоматами, пистолетами, боеприпасами. И на понтоны, на лодки, на плоты посадили. Ночью оттолкнулись. А немцы как жажнули. Наш плот перевернулся. И я со всей своей амуницией и сбруей прямо под воду и ушел. Понял, что тону. Конец мне. Сбросил с себя в воде все. Всплыл. Куда плыть? Хрен его знает. Куда-то выгребая к берегу. Не знаю, чей он. Наш или немецкий. Прибился. Гляжу — рядом трое уже лежат. Утопленников. Ну, пополз я вдоль берега. И выполз на своих:

— Ты откуда? Живой?

— Живой!

— А мы думали, ты, Васька, готов. Ну давай. Пошли к переправе.

И хоть и страшно, но радостно мне. От своих не отстал. В своем рою нахожусь. А там чужой рой. В нем лучше не быть. Почему? А потому, что если от своих ребят отстанешь или потеряешься, то чаще всего каюк тебе. У нас даже никто после ранения в санбат не хотел уходить. А почему? Вроде отдохнуть можно, подкормиться. А потому, что после санбата потом

тебя могут направить в другой батальон. А в чужой части, где своих нет, чужого всегда стараются послать в самое пекло. Своих-то, с кем командир сроднился, жалко. Вообще, на войне полк или батальон — тот же самый колхоз. Командир — председатель. Возле него хозяйство нарастает. Любушек заводят. Солдаты тоже как-то спаиваются, приспособливаются. Свои песни в каждом полку. Свои порядки. В нашем дивизионе две такие песни были. У командира патефон имелся. И чуть затишье — начинается отдых. Гулянка. А как иначе? Человеку разрядиться надо. Походи-ка рядом со смертью хоть день, хоть неделю.

Посидели. Помолчали. Выпили еще. Не часто так бывает, чтоб фронтовые говорили откровенно о пережитом. Обычно на разного рода встречах, торжественных слетах и прочих мероприятиях отделяются общими словами: «Наш полк занял оборону на левом берегу реки. Окопались. И тут пришел приказ командования...» Ну и все такое прочее. А кому это интересно? Да никому! И великий подвиг. И великая жертва русского народа так и не обрели подлинного звучания. Заболтали их. И поэтому сегодня Дубравин слушал Акимова не только ушами, но и сердцем. И впитывал, впитывал каждое слово, каждую интонацию. Будто война коснулась и вошла в его душу. Стала частью и его жизни.

Вечер за окошком уже наступил. Тени легли на асфальт и деревья. Длинные-длинные. А он все тянется, этот диалог от сердца к сердцу. Двое их осталось. Все ушли.

— На войне мы всегда знали, кого следующего убьет. Но никогда не говорили об этом. Помню случай. Был у нас один мужик. Вижу, начал маяться. Нейдется ему. С лица спал. Какая-то тень легла. Все, думаю, конец. А тут самолеты налетели. Бомбить нас начали. Он от них бегал, бегал. Потом раз — в щель ко мне. Забился. Спрятался, под меня подлез. Лежит. Вроде спасся. Все. И вдруг не выдержал. Выскочил наверх. И побежал. Тут его и убило. Вот так бывает. А я медаль через две недели получил.

— А немцев-то вы ненавидели? Ну так, чтобы от всей души?

— Ой, сынок! Все по-разному было. Все смешалось. Немцы, русские. Скорее были свои. И враги. Мы раз по Венгрии шли. И наткнулись на место, где наши власовцы ночью вырезали целый взвод. Во сне. Шли ребята. Устали. Ну и легли ночевать. Видать, и охранение спало. Они их и вырезали. Всех.

Смотрю — лежит на земле мужик. Вот знаешь, русский богатырь. Красавец. И так мне захотелось заглянуть ему в лицо. Не поверишь — такой красоты человечиче. Какие от него дети могли народиться. Зарезали.

Глотку перерезали. Ой, страшное это место, где людей убили во сне. Много я чего видал. А это место не забуду. Вот тебе немцы. Русские. Мало кто сейчас это хочет вспоминать. А ведь на стороне немцев было много тысяч казаков. Как такое могло случиться? Могло. Случилось. И не враги они мне. Понять их могу. Сейчас. Ведь что советская власть с казаками сделала, а? Кровь в жилах стынет, когда вспоминаешь это. Рассказывание. Расстрелы. Свои своих убивали. Беспощадно. Трудно...

Эх, не все мы были героями. Но общая ненависть была. Она героев и подпитывала. Мы ведь знали, что умрем... Смерть нам... Не могу... Все какие-то обрывки в голове. Давай-ка, Сашка, еще нальем по стопочке. Знатный коньячок ты достал. Знатный. Видать, где-то в буфете ЦК промышлял. А, Сашка?

Акимов засмеялся коротким старческим смешком.

Выпили. Крякнули. Закусили ветчиной и огурчиком. И опять потекла беседа. Изливалась измученная душа простого русского солдата. Человека, которому бесконечно повезло. Он остался жить. И мог рассказать, о чем чаяли, думали. Они. Те, кто и сейчас лежит в своих окопчиках, щелях, а может, даже и под гранитным постаментом. Кто где.

— Ненависть была. Выражалась по-разному. Было дело. Когда попали в Германию, оттянулись на немках. По полной программе. А ты как думал? То война была. После всего, что повидали мы от них на своей земле, они еще легко отделались. Куда от этого денешься? Помню, зашли в одну деревню. Захожу в избу. А там... Не могу, Сашка. Вот по сей день не могу об этом вспоминать. — Акимов поднял голову от стола, покивал ею, чтобы отодвинуть набегающую на глаза влажность. — Да, а там девочка маленькая. Три годика. Ходит по домику: «Бабушка, бабушка, я кушать хочу...» А бабушка на кровати мертвая лежит. Убитая... Веришь, все видел. Эх, Сашка, Сашка...

Немцев-то этих мы потом изловили. Утром другого дня. Ужас, что было. Мы их ведем по улице, а бабы наши, русские, выскочили и бросаются на них кто с чем. Кто с палкой, кто с коромыслом. Бабы, они стервенеют страшно. Рвут их на куски. А как не рвать? Они ведь что, гады, творили в этой деревне. Людей заживо на пилораме резали. А? Сначала голени, потом лодыжки. Выше, выше. На куски заживо, Сашка. Поймали мы их. Мне штык дали мужики. Бей его, гада! Я в спину нацелился. Как дал. А штык не идет. В тело не идет. Не входит. Так он одеревенел. Одеревенел этот из зондеркоманды, гад! Бабы его палками забили...

— А кто лучше воевал? Наши или немцы? Сейчас много разговоров таких, а, Василий Яковлевич? Что, мол, трупами завалили немцев...

— Трусами завалили. Ну, может, где-то в этом и есть доля правды. Но немцы тоже не всегда работали как часы. Особенно после Сталинграда. Я тот лиман до сих пор во сне вижу. Из окружения они пытались выйти. На реке через мелкое место пёрли на наши пулеметы. Они идут. Вода глубже, глубже. По грудь, по шею. Поднимают руки с автоматами. Вот тут мы их и стегнули из пулеметов. Я «максим» не любил. У меня трофейный «гочкис» был. Вода в том лимане красная стала и как будто закипела. А трупы под конец дня образовали плотину. И по трупам они продолжали наступать. У нас пулеметчик рехнулся к концу того дня...

А вообще, по-разному было. Но немцы, как мне кажется, покрупнее были, крепче как-то. Может, они спортом больше занимались. Наши ребята пожиже. Вой на — она тоже психология. Наших, например, хрен заставишь каску носить. Не любят. И все тут. Но если вот в поле три былинки стоять будут, наш обязательно за них попытается спрятаться. Еще чем силен русак. Он один может воевать. Убьют командира. Кто-то за него обязательно останется — хоть в роте, хоть в отделении.

А вообще, самое трудное по первой — душой переломиться. Вот тебя воспитывают всю жизнь. Убивать — грех. А потом в одно мгновение все меняется. И убить — это уже самое важное. Доблесть. Я тоже убивал. И может, где-то и зря. По привычке, что ли. Вот ты говоришь, — Акимов сказал это, отвечая на какие-то свои мысли, хотя Дубравин вообще ничего не говорил, а просто, склонив голову и подперев ее руками, что-то упрямо высматривал на постеленной вместо скатерти газете. — Вот ты говоришь, что убивать нельзя! А как не убить? Помню, в поле дот нас держал у дороги. Долго держал пулеметчик. Мне командир велел его обойти. Я тогда лихой парень был. Сзади зашел. Дверь высадил гранатой. А он от пулемета обернулся и на меня смотрит. Я этот взгляд с собой в могилу унесу. Ох, Сашка, глаза у него... Человеческие глаза. Страшно...

Однажды, когда немцы уже надломались душою, в Венгрии набрел я случайно на группу. Они прятались в камышах под Балатоном. Я один. Представляешь. А их человек десять. Сидят. Выглядывают. Сами хотят в плен сдаться. А тут я. Стали договариваться. Где жестами, где словами. Ну пойдем. Собрались. А у них раненый был. Двигаться не мог. И двигать его уже нельзя, как я понял. Гангрена у него, что ли, началась. Они мне талдычат — надо его отправить в госпиталь. Показывают на пальцах. А как отправить? На чем? Кто будет возиться? Пошли они вперед. Отошли. А я вернулся. Достал парабеллум немецкий. И раз в него. Шесть раз стрелял. А он, знаешь, так смотрит на меня. И вот так рукой смахнет что-то с лица. И опять мне в глаза смотрит. Как заколдованный. А я, видно, не мог попасть

в жизненно важный орган. А он смотрит...

Редактор замолчал. Только слышно было в тишине, как где-то за окном поехал автобус. На улице уже горели фонари. Кто-то прошел по пустынному коридору министерства. Подошел к двери кабинета. Постоял. И ушел дальше.

— Но и нам тоже доставалось. Какая каша была там же, под Балатоном, когда немцы нас сбили. Ой! Не дай Бог! Зима была. Мы позиции заняли. Окопались. Ждем атаки. Потом смотрим, километра два от нас по полю танки идут. Окрашенные в белое. Мы стоим. Они идут. Думаем, это Карельский фронт нам на помощь. Час идут. Два. Четыре часа шли по заснеженной степи. По полям. И только потом мы поняли, что к чему. А они уже сзади подходят к нашей батарее. Танк уже влез на блиндаж командира дивизиона. И стоит наверху. И так хоботом ствола покачивает. Поводит. К нам приглядывается.

А комбат мне звонит: «Васька, разворачивайте орудия, мать вашу! Немцы!» А он стоит. Хоботом покачивает. Сейчас плюнет. Ну и плюнул. Прямо в лицо. Пошла потеха. Сбили они нас. И драли мы дай бог ноги. Бежали что есть мочи.

Я три раза был в панике. Побежала первая линия. Орут: окружены! За ней вторая. И третья. Бежим. Как улей гудим. Куда? Чего? Но вот один сел. У дороги. Второй. Начали останавливаться. А что бежали? Почему бежали? Хрен его знает. Помню тогда, на Балатоне, один особист к нашему комбату подскочил. Пистолетом в лицо тычет: «Стойте! Расстреляю на месте!» Куда там! Пикнуть не успел, как ребята его кокнули. И опять деру.

Такая она, война. Тоже жизнь. Только с другими законами. И разная. Иногда и смешно. И страшно. Я в первый раз как познакомился с «катушками». Смех один. Отстрелялись мы. Ну а когда отстреляешься, солдату отдых нужен. Расслабились. Прилегли. Присели. Вдруг сзади молния ударила. И жуткий вой раздался. А местность там песчаная. И за нами, метрах в ста, поднимается над леском жуткое облако пыли. Что такое? Кошмар! Мы врассыпную. Я не скажу, что я очень храбрый! Но буквально за секунду успел сделать вот что. Миномет по уставу в чрезвычайных обстоятельствах положено было привести в негодное для стрельбы состояние. Вот я снял лафет. И кинулся в беспамятстве под нашу машину. При этом всю харю ободрал.

Отстрелялись они. Ну, вылезает мы из щелей. Кто откуда. Отряхиваемся. Живой? Живой! А что это было такое? «Катушки» это были! Так вот я познакомился с ними.

Война. Она разная была. Еду как-то на лошади на Украине. И вдруг

вижу впереди пулемет. Поздно заметил. Еду прямо на него. Ну, думаю, если побегу, он сразу лупанет. Будь что будет. Подъезжаю. Стоит немец. Командир батальона. С ним наша баба с Полтавы. И мальчишечка у них. Лет двух. Одетый во все немецкое. Форма на него сшитая. Маленький, беленький такой. Немец говорит: «Ну что, русский? Будешь нас убивать?» Стали разговаривать. До сих пор помню. Наши фронт прорвали. И куда ему теперь деваться? С бабой и ребенком метаться по степям? Решили они сдаваться. Все. Тогда я и взял в плен двести семьдесят четыре человека. И к Герою меня представили... Только затерялись, что ли, те бумаги. Не дали Героя. А я и не жалею. Живой остался. Это вообще такой подарок. За всех ребят живу...

А потом война кончилась. Как-то неожиданно. Помню, пришла разнарядка. Полных кавалеров ордена Славы собрать в Москве. Я гадал: зачем везут? А оказалось, что готовить будут. К Параду Победы! Вот так. Отбирали нас. И я попал тоже.

Расположились на поле. Стали учить маршировать. Дали в руки вместо знамен жерди. И вперед. Я помню, никто не хотел идти в первой коробке с фашистскими знаменами. Все хотели со своими ребятами вместе пройти. Но пришлось. И я теперь, когда хронику показывают, всегда себя ищу. И вспоминаю. Все. И как комдив на Днепре расстреливал нашего комполка. И панику на Балатоне. И «катюши». И детей. Все. Давай-ка, Сашка, споем.

— Да вы что, Василий Яковлевич, неудобно. Никого уж нет.

— А мы потихоньку. Вполголоса. Летят перелетные птицы в высокой дали голубой...

— Летят они в дальние страны, а я остаюсь с тобой, — подхватил и так душевно загудел вслед за дребезжащим старческим голосом Акимова Дубравин. — А я остаюсь с тобою, родная моя сторона. Не нужно мне солнце чужое, чужая земля не нужна...

Отпелись. Хорошо так. Душевно. Акимов вдруг засмеялся. И проговорил:

— Вот уж действительно праздник со слезами на глазах. Я-то сам детдомовский. Плакать по мне некому было. Ехать после войны некуда было. Поехал с товарищем к нему домой. В гости. Так уж под вечерок подошли к его домику родному в деревне. Он стучит в ставеньку. Оттуда голос старушечий:

— Кто там? Он в ответ:

— То я, мама, Федя!

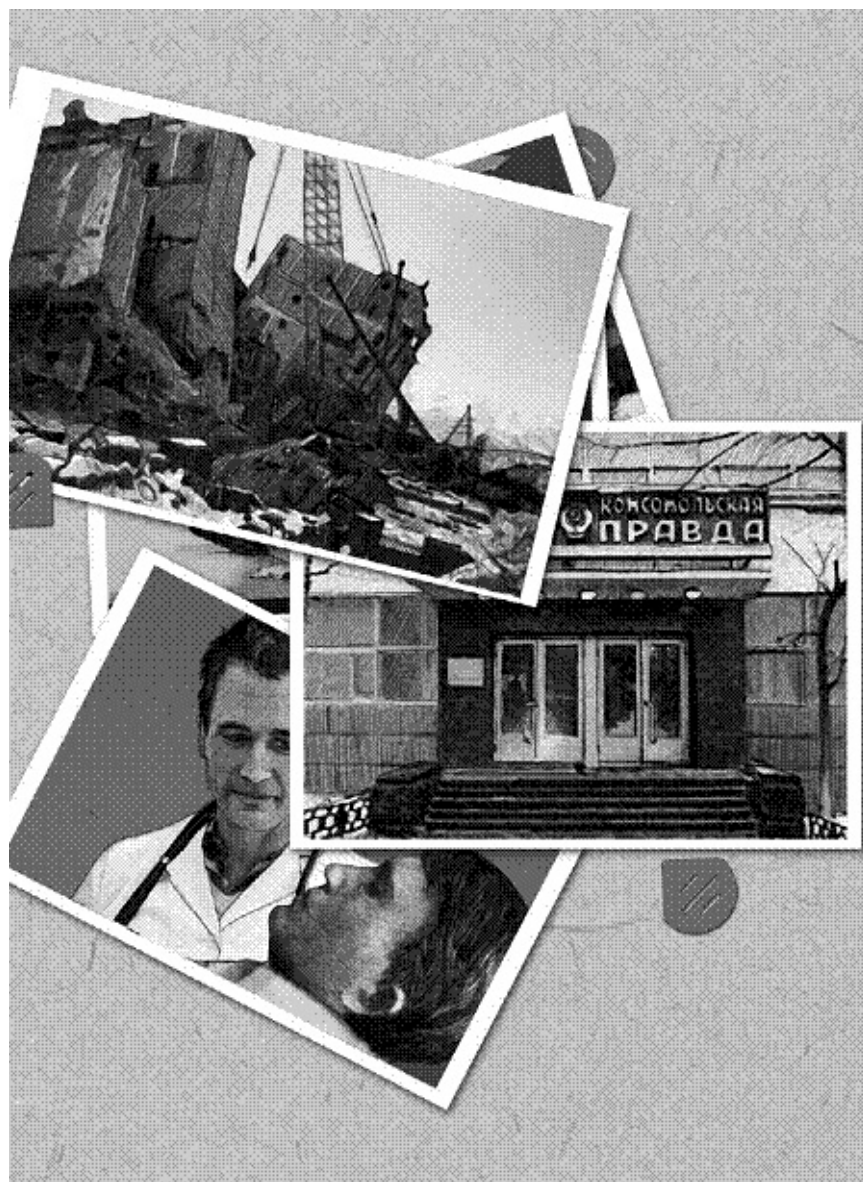
— Федю маво на войне вбило!

— Та не, мама. Я живой! — отвечает он.

Вот и я живой. Слава Богу. Живу со всем этим. Но живу...

Часть III

У каждого своя правда



I

Алая кровь сочилась из глубокой раны на сухую пропыленную каменистую землю. Смешивалась с нею. И тут же высыхала...

«Подумаешь! И стадо у него тучнее. И приплод крупнее. И отец наш любит его больше, чем меня. Все. Хватит! Не будешь теперь стоять немым

укором со своей любовью и добром. Достаточно. Сыт по горло».

Он молча несколько раз ткнул лезвием ножа в песок, стараясь очистить его от липкой крови. И, не глядя на холодеющее тело брата, пошел прочь.

И вдруг услышал неведомо откуда раздавшийся голос Бога:

— Каин, где брат твой Авель?

— Не брат он мне. Он враг и мучитель мой! Из-за него страдаю я!

— Эх, Каин, Каин. Ничего-то ты так и не понял. Никто на земле никому не брат и не враг. И никто никому не друг. А каждый человек другому человеку Учитель!

II

Жили они уже вместе. Но родители и родственники Вахида наотрез отказывались признавать русскую невесту. И за этим отказом стояла не только неизбежная неприязнь и вражда, оставшаяся после завоевания Кавказа русскими, но и тысячелетняя мудрость малого народа: русских много. Они могут отдавать своих девушек за кого попало. Их же, чеченцев, осталось мало. И дабы не растворился, не исчез этнос вайнахов, нужно строго блюсти обычай. Никаких браков с чужаками. А особенно с этими...

— Ну и что, что хорошая! Ну и что, что красавица! Умница! Работящая! Пусть будет кривобокая, горбатая. Да своя! — так отвечала мать Вахида на его попытки ввести Людку Крылову в их род, легализовать отношения.

С отцом же он не говорил об этом вообще. Боялся.

Но не такой человек Людка, чтобы смириться с этим подходом. И она решает идти напролом. Бороться за свое счастье. За своего рыжеволосого, могучего, слегка небритого, наивного богатыря.

Пилила она его, пилила. Ела, как ржа железо, целых два месяца. И вот сегодня они, взявшись за руки (пока никто не видит), идут по цветущим улицам южного городка. К нему домой.

Хочет она переломить судьбу. Силой своей любви и красоты преодолеть пропасть, которая разделяет два народа. И в этот отчаянный порыв она вкладывает всю себя без остатка.

Со вчерашнего дня начала она готовиться к этой экспедиции. Сделала в парикмахерской строгую прическу. Подготовила новый наряд. Не какую-нибудь мини-юбку и открытую кофточку. А закрытое платье с длинным рукавом. Простенькие черные туфли на небольшом каблучке. Шарфиком повязала волосы. И никакой косметики. Пусть видят, что она тоже уважает их обычай.

Вот начинается чеченская улица. Все вроде бы как у всех. Однако отличают их от других живущих здесь народов высокие каменные заборы, железные крепкие ворота. Никаких палисадников с цветами перед окошками, как у русских и украинцев, никаких лавочек для женских посиделок перед воротами, как у уйгуров и дунган. Все строго и сурово. За воротами справа каменный родовой дом. Тут жил дедушка. Теперь живет отец Вахида. Рядом второй, поменьше — здесь обитает старший брат Руслан с семьей. В глубине, за деревьями строится под крышу третий. Это для него, Вахида. Тут будет обитать он с женой. Так решил отец. А его слово — закон.

Людка чувствует, как по мере приближения к дому напрягается широкая ладонь ее мужчины. А сам он начинает сопеть и горбить плечи. Словно какие-то невидимые взгляды из-за высоченных заборов чеченских выселков давят и гнетут его.

Не понимает женщина самых простых и естественных вещей. У русских как? Закончил школу. Отслужил в армии. Выучился. Свободен! Живи, как знаешь. Своим умом. Работай. Пробивайся. Женись!

Кавказский же парень в первую очередь член семьи, рода, племени, тейпа. Его судьбу решают они. Старший брат Вахида Руслан работал в Алма-Ате на хорошей должности и вот-вот мог получить от предприятия квартиру. Но дедушка хотел, чтобы он вернулся домой. И что же? Как-то он сказал:

— Будешь жить здесь!

Ночью отец, брат, другие родственники приехали к Руслану домой. Собрали вещи. Погрузили в машину. И перевезли молодую семью сюда, в родовое гнездо.

Никто и не пикнул.

И если бы так было только у них, у Сулбановых. Везде одинаково. Недавно гуляли на свадьбе у Казыровых. Женили совсем молодого паренька. Только закончил техникум.

Все решилось в один момент. Дедушка позвал отца и сказал:

— Хочу его женить!

— Ну как же можно. Он ведь совсем мальчишка! — пытался возразить Ахмат.

— Нет, хочу посмотреть, пока живой, на внуков!

И все. Единственное, что спросили у парня, — какая из девчонок ему нравится. И сосватали ее.

Вот и вся любовь.

Ну а если всегда кто-то решает за тебя, как жить, то это накладывает

отпечаток на характер. И конкретного человека, и народа целиком.

Людка Крылова привыкла считать, что парень сам знает, кто ему нужен. Когда ему жениться. И он сам за себя отвечает перед жизнью и судьбой. А здесь? Уже и армию отслужил, и работает. А боится слово сказать родному отцу. Настоять на своем.

Ну вот и кованые зеленые ворота. За ними их судьба. Вахид, рослый, широкоплечий, а стучит кольцом робко. Словно нехотя. И глаза прячет от нее. Тук! Тук!

Тишина.

Зря они стоят перед входом в их дом. Никто так и не открывает им калитку. Молча по двору шмыгают сестры. Надувшись, выходит навстречу им мать. И коротко, ясно, по-русски говорит от имени всего рода:

— Раз ты хочешь взять не нашу, не чеченку, мы ни тебя, ни ее знать не желаем. Я вас на порог не пушу. Откуда пришли, туда и уходите.

Постояли они, постояли в растерянности на улице. И пошли, солнцем палимые.

Она еще крепилась, пока шли по улице. А уже у себя в комнатухе дала волю слезам.

А Ваха, ее любимый красавец Ваха, решительный и гордый, как все кавказские мужчины, на ее глазах превращался в послушного маленького мальчика. И мямлил в свое оправдание ненужные слова:

— Отец против. Он сказал, что запрещает мне на тебе жениться. А против его воли я идти не могу...

Он явно любил ее, но боялся потерять свой привычный мир. Родственников, друзей. И метался между этими полюсами. Искал выход. И не мог его найти.

Это была пропасть. Из обычаев и нравов. Она пыталась преодолеть ее силой своей любви, жертвенности. И даже была готова на этом этапе приспособливаться, угождать. Но ничего из этого не вышло. И, недоумевая, в растерянности, она говорила в минуту откровенности подругам:

— Не понимаю. Я его не понимаю! Я ему говорю: давай уедем отсюда. Страна большая. Начнем жизнь сначала. Вместе. Вдвоем. А он мямлит: «Я не могу жить без своего рода. Без родственников. Без отца. Без братьев». Какой-то он несамостоятельный. Непонятный!

Бедная, бедная русская девочка. Он действительно силен, когда он в куче, в стае, вместе со всеми. Но никто никогда не учил его принимать решения самостоятельно. Брать ответственность на себя. Ломать привычный ход жизни. И поэтому Ваха не может жить один в большом

сложном мире, где нет подпорок и поддержки в виде многочисленной родни. И где нет опоры духовной в виде обычаев, ритуалов, привычных условий существования.

Все ее женские силы души были направлены на то, чтобы понять мужчину. Дать ему то, что нужно. Поддержать его. Но...

А после того похода к родителям он как-то сник, скис. И стал постепенно отдаляться от нее. И напрасно она металась, то иступленно лаская его по ночам, то отталкивая его от себя, стараясь возбудить ревность. Все было напрасно. Он сдался.

Они расходились, как в море корабли.

Ш

— Анатолий, проснитесь! Проснитесь! Пора вставать! Вы меня слышите? Вы слышите меня?

Голос требовательный, настойчивый. Заставляет открывать слипшиеся глаза. Теревит. Зовет куда-то.

А сон не отпускает. «Господи, да оставьте вы меня в покое... Как вы надоели. Дайте поспать еще. Ну хоть минуточку».

Но голос не замолкает. Все спрашивает и спрашивает. Ему надо что-то ответить. Приходится просыпаться. Открывать глаза. А когда их открываешь, то видишь белые стены. И бородатое, круглое, румяное лицо врача, который настойчиво будит тебя. Вытягивает откуда-то из глубин небытия. Приводит в сознание.

А вместе с жизнью приходит боль. Она не то чтобы нестерпимая. Она тянущая и невыносимо постоянная, вечная. И только в мгновения, когда его начинают двигать, куда-то перемещать, боль острой иглой проникает в сознание, разрывая тело на куски. И он в этот миг слышит какой-то жалобный детский звук. Плач не плач, а некое всхлипывание и вскрик. Он с удивлением прислушивается к нему. И вдруг понимает, что это так тонко, по-детски плачет он сам.

Подплывает белым пузырем полная медсестра. Что-то делает. И боль растворяется, уплывает. Наступает полузабытье, какое-то спокойное блаженство. «Как хорошо. Как радостно. Так бы всегда», — думает он, когда его, голого, под простыней, везут на каталке по длинным больничным коридорам в реанимационную палату. Палата большая, уставленная железными койками с перебинтованными, изувеченными телами под капельницами и присоединенными к ним проводами и трубками приборами. Тишина. И только у окна кто-то равномерно, механически стонет: «А-а-а-а-а!»

Его перекалывают с каталки на такую же кровать. Молодая, с изможденным лицом медсестра (другая, не из операционной, а из реанимации) ловко втыкает ему в вены иглы, через которые поступает в тело физиологический раствор. И пока над ним проделывают все эти манипуляции, он раз за разом с закрытыми глазами силится вспомнить то, что с ним случилось. И как он попал сюда. И никак не может собрать воедино всю картинку. Все время мелькают какие-то обрывки войны... И боя-то никакого, по сути дела, не было... Они шли в полной экипировке на броне... И было ощущение такого плавного покачивания... Утренний

ветерок в лицо...

Обрывок разговора... Какая-то неведомая силища рванулась под ними. Все бешено завертелось перед глазами. Потом страшный удар, от которого все внутри оборвалось... О землю? О дорогу? О броню?

...Ничего. Какая-то вечная тьма. Темные лабиринты. Чудилось. То ли пещеры с каменными мешками. То ли темный, тупиковый подвал. Потом какой-то подземный зал. Медового цвета. Похожий на внутренность улья. Сон подобный смерти. Бред воспаленного мозга.

* * *

Тянутся часы страдания. Он, как распластанное по земле, растоптанное растение, пытается ожить, прийти в себя, вытянуть соки. Не шевелиться. Но неумолимые, как рок, сестры что-то делают. Манипулируют с его телом. И когда его перекалывают, поворачивают, неудобно напрягая распоротый и зашитый крупными стежками живот, он стонет и сам себе каждый раз удивляется: «Неужели это я, такой большой и сильный, сейчас так тихо, так жалобно прошептал: „Сестрица, дай пить. Водички!“»



Но воды-то ему и не дают. Никогда. Только намочат салфеточку и приложат к губам. И он тянет губами эту влажную тряпочку, стараясь добыть хоть капельку влаги из ткани. Мгновенное облегчение. И опять огонь горит внутри. И опять нет сил — хочется пить.

Дни и ночи смешиваются в полудреме. Иногда он пробуждается к жизни. И тогда недолго, полчаса — час наблюдает за жизнью реанимационной палаты. За тем, как из операционной вкатывают сюда очередную каталку, на которой остовом виднеется под белой простынею голое, изувеченное тело.

Все как в тумане. Привезли очередного. Короткий, страшно короткий обрубок под белой простыней. И он впервые, выплывая из этого вечного тумана, подумал отчетливо: «Господи, что я жалуясь — проникающее осколочное ранение в область живота с последующим перитонитом... А тут...»

Додумать он не смог. Опять погрузился в какой-то свой полусонный мир, в котором плыли по небу серые облака, где-то он входил в черные

зияющие провалы пещер. Тонул в зыбком болоте и всплывал наверх. И плыл, плыл по причудливым волнам в состоянии полужизни, полусмерти...

Когда боль становилась невыносимой, он стонал. Подходила медсестра. Колола его обезболивающим прямо в бедро. Боль отходила, отступала, уплывала куда-то. И тогда мучили только неудобные, пропущенные через нос внутрь, через тело трубки сложной дренажной системы, призванные через вырезанные в боках дырки выводить то, что капало в привязанную к кровати баночку...

* * *

Умирать было совсем не страшно. Где-то далеко-далеко и с каждым днем все дальше и дальше оставались афганские горы, друзья, товарищи. Ушли в какой-то туман родители, детство. Он чувствовал, как слабели и слабели все приманки жизни. Как-то даже было смешно. И он чуть улыбался, вспоминая, как он ждал очередного звания, как иногда тайком примерял свой новый мундир, мечтал об ордене.

Здесь, в этом новом мире, было так хорошо. Покойно и даже как-то светло, чудесно. А там, он мысленно поделил все на «здесь» и «там», его ждало страдание, боль, непонимание.

«Значит, жизнь — это страдание, — думал он, — болезни, голод, непонимание, мучения тела, раны. А здесь (он боялся слова „смерть“). Просто повторял „здесь“), куда я стремлюсь, так славно. И не нужно больше ничего.

Что там, в том большом мире, осталось такого, чем стоило дорожить? Ради чего надо страдать? Что вообще я нажил в этой жизни?...

Ничего у меня там нет. И не нужно мне там ничего. Разве что пара друзей. И родители. Все.

Так мало. А казалось, я владею целым миром...

И зачем все это нужно? Стоит ли оно того? Чего того?

И смерти никакой нет на самом деле. Просто уходишь куда-то. В другое. Далеко-далеко. И все силишься понять, разобраться. Понять что-то важное. Самое важное. А оно ускользает...»

По мере уплывания уходили сложные, приобретенные за жизнь понятия... Сначала он стеснялся звать сестру, когда нужна была утка, старался не стонать, чтобы не будить других. А потом и с этими вещами стало все равно: «Тело ведь продолжает функционировать. Но тело — это ведь не я. А что же тогда я?»

Но иногда сила жизни неизвестно откуда на мгновения возвращалась. И в эти мгновения он острее, чем обычно, чувствовал все.

Перелом произошел именно в такие минуты. Когда он снова «всплыл» и прямо-таки с какой-то бешеной обидой вспомнил: «И что меня здесь держат так долго? А? Других подержат-подержат и увозят. А я все здесь и здесь. Надоело. С ума можно сойти. Заперли. В этой клетке. И этот бесконечный запах лекарств. Уколов. Больницы. Так хочется взглянуть на цветы. Деревья. Улицу».

Вот во время этого всплывания откуда-то из другого, неведомого мира, где нет этих запахов, этих стонов и разлитого в воздухе человеческого страдания, изувеченных, искромсанных войной и ножами хирургов тел, к ним в палату зашел со свитой начальник госпиталя. И почему-то во время обхода склонился над ним.

Анатолий почувствовал, какой от его халата идет запах чистоты и свежести. С удовольствием втянул этот запах ноздрями. И прошептал склонившемуся главврачу:

— Доктор, а что там, на улице?

— Там весна! — Гладко выбритый, веселый самоуверенный врач слегка смутился.

— Как хорошо от вас пахнет! Жизнью пахнет... И на мгновение между двумя этими абсолютно разными людьми из абсолютно разных миров, только что встретившимися впервые в жизни глазами, установилась какая-то незримая живая человеческая связь. Оба до самой глубины души поняли, ощутили друг друга.

До этой минуты кто он был для главврача? Просто раненый, каких тысячи прошли перед его глазами.

А с этого взгляда он, Анатолий Казаков, уже был не обстоятельством, не анонимной фигурой в госпитальной ведомости, а еще живой человечьей, близкой, такой же, как ты сам, душой. И бодрый доктор профессиональным глазом увидевший печать смерти, уже наложенную на исхудавшее, измученное страданиями лицо, заметил и это мальчишеское, только что проснувшееся, прорвавшееся сквозь смертное спокойствие и ледяное равнодушие ко всему желание жить. Понял его. И приказал стоявшему рядом главному по реанимации:

— Вывезите его минут на десять на террасу на воздух.

— Что вы, Семен Петрович? Что вы! — вскинулась старшая медсестра. — Он же критичный...

— Я сказал! — повысил голос главный.

— Слушаюсь!

Анатолий только чуть-чуть, мельком, отстраненно взглянул на солнце, лес, траву, на жизнь вокруг. Успел заметить на террасе госпиталя огромного черного, ленивого котяру, кравшегоя по доскам, чтобы поймать серого, скачущего, чирикающего воробья. И его снова повезли по длинным унылым коридорам. Обратно в реанимацию.

Но что-то произошло. Что-то случилось. Как будто уже сорвавшееся с резьбы, вхолостую вращающееся в снах и грезах наяву колесо жизни провернулось еще раз и вдруг зацепилось за какую-то шестеренку в его душе. И стало проворачиваться, возвращая, вытягивая его с болью и радостью к этой самой жизни. К страданию...

На следующий день он попросил есть. Пошел на поправку. И пожилая медсестра их отделения впервые за недели, вынося судно из-под него, отметила, подумала про себя: «Выплывает паренек».

За десять лет в реанимации она много чего повидала. Но так и не научилась спокойно смотреть на умирающих мальчишек...

* * *

«Странная штука эта жизнь! — уже находясь в общей палате, но еще весь опутанный проводами и трубками, думал он, часами лежа неподвижно под капельницами. — Вроде бы смысла не имеет. А как хороша. Только сейчас это и понимаешь. Когда ну ничего не можешь. Ведь это такое счастье — ходить. Дышать. Просто жить. А мы этого не понимаем. Дергаемся. Мучаем себя и других. Выйду отсюда. Буду просто жить. Радоваться. А сейчас главное — встать на ноги».

Да, мир его теперь сузился до последней возможности. И задачи перед Анатолием стояли самые простые. Вчера. Повернуться со спины на бок. Медленно-медленно, чтобы не развалился надвое сшитый живот. В корсете он смог кое-как лечь на правый бок и достать до выключателя. Это была настоящая, большая жизненная победа. Ура, товарищи!

Сегодня. Он должен суметь сесть на кровати. Это будет потруднее. Но будет. Он знает. А пока уже четвертый час терпеливо лежит под капельницей, с помощью которой его и питают. Глюкозой.

А завтра? О, завтра у него вообще торжество. Ему обещали дать настоящую еду. И пусть это будет вареная-перевареная каша. Но он впервые за много дней будет глотать пищу сам.

А все равно в общей палате как-то веселей. Приглядываешься к людям и радуешься. Разные они. Вон усатый капитан. Выздоровливающий. На костылях. Все к окну ходит. Ждет жену целыми днями. «Валечка! Валечка!» А Валечка эта черт знает что такое!

А у двери лежит прапорщик. Стонет. Тот отчебучил фокус. Вмазал вчера. И чуть не окочурился. Дошло до начальника госпиталя. Где ж ему пить, дураку, после полостной операции.

Сестрички заходят. Молодые. Ласковые, как птички. Щебечут. Все они кажутся им красавицами. И во всех они влюблены. Такая уж она, госпитальная любовь.

«Вот медсестры, нянечки, санитарки. Что их тут держит? Ведь зарплата у них наверняка мизерная. А какая ответственность. Ошибется сестра. И поставит мне вместо глюкозы капельницу с чем-то другим. Что будет? А?

Может, они просто не умеют жить по-другому? Судьба у них такая, непонятная. Чудно!

А смог бы я вот так тут существовать? Среди этих стонов, болей? Наверное, нет. А они живут. И радуются чему-то своему. И нас радуют. Точно, судьба их такая. А что такое судьба? В чем она выражается? Почему так происходит все с нами? Непросто все это. Вот моя судьба какая? Оказаться здесь? А почему? Все почему так, а не иначе?

Господи, как давно все это было! И смешно. И грустно. Ирина Смирнитская. Саша Абрамович. Мама, папа... Слежка их дурацкая за нами. Мои дерганья. А теперь лежу вот на простынях. Пропитался весь этим больничным духом. И не знаю, стоит ли писать домой. Надо бы черкнуть отцу и матери. Но не хочется, чтобы они переживали, мучались, суетились. Ехали сюда, в Узбекистан. Уж больно жалкий у меня вид. Не человек, а какой-то обмылок».

Кончилась в перевернутой бутылочке глюкоза. Он позвал сестру. Та привычно, легкой рукой отцепила его от системы. Взяла другой пузырек. С раствором антибиотика, что ли. Опять подцепила его. И все сначала.

«Вчера приходила одна из комитета. Проведать. По долгу службы. Принесла конфеты, апельсины. Лежат на тумбочке. Никто не берет».

Тоже удивительное дело. Раньше он считал, что у них в «конторе» работают одни мужики. Ну а женщины так, на подхвате. Машинистками да уборщицами. И только сам, поработав в операх, он узнал эту «великую тайну» — женщин полно во всех службах и отделах. Просто это не афишируется в силу как их работы, так и самого комитета. Среди них есть даже генералы. А генерала уборщице не дают. Значит, есть и другие заслуги. Конечно, влюбляются, рожают детей. Семью ставят выше работы. И на этой почве способны совершать не совсем адекватные поступки. Операция братской немецкой «Штази» с одинокими секретаршами из западногерманских министерств и ведомств — это, можно сказать, канонический факт. Но кроме этой общеизвестной операции ведется

множество других с использованием женщин, как «легкого», так и «тяжелого» поведения. И тут уж, мужчины, держитесь! Более того, в КГБ всегда и вполне логично считается, что на женщинах, на отношении к ним легко и полно проверяются все человеческие качества собственных сотрудников. Поэтому нередко в целях таких проверок руководство «подкладывает» своих агентов, чтобы по интимным делам можно было собрать информацию о человеке.

Так что и эта сфера жизни от внимания конторы не ускользала. Зная о том, что каждый человек грешен, начальство по негласно установленной традиции ждало, что к двадцати пяти — тридцати годам сотрудник создает крепкую советскую семью.

Может быть, когда-то кто-то из тех, кто пишет о разведке и тайном сыске, придет к мысли написать исследование на тему: «Женщины и КГБ». Может быть. Но ему, Анатолию Казакову, в этом труде фигурировать, похоже, не придется. Его работа — не интрижки крутить со спецагентами на зарубежных курортах.

А что же теперь будет с его работой? После всего, что произошло. С этой мыслью он теперь и засыпал. И просыпался.

«Спишут, наверное, с оперативной работы? И что я буду делать? Я ведь ничего другого не умею... Как жить? Как?»

IV

Технический прогресс, как нежданный гость, наконец-то посетил и журналистов. Редакция в Москве приняла решение — установить в корпунктах новые телетайпы.

И сегодня рабочие втащили в кабинет к Дубравину большой коричневый деревянный ящик с панелью, на которой расположилась клавиатура. Теперь ему надо освоить новое чудо техники, установленное ими в углу. Научиться на нем работать. Для «гуманитария» это непросто. Ибо если раньше он был оснащен техникой на уровне тридцатых годов двадцатого века, то теперь сделан громадный шаг вперед. Телетайп образца пятидесятых годов выбивает на бумажной ленте дырочки с такой скоростью, что никакая машинистка не угонится.

Не откладывая дела в долгий ящик, Дубравин приступил к самообучению. Взял инструкцию. Заправил белую бумажную ленту, как написано в синей книжечке. И стал потихонечку двумя пальцами выстукивать по клавиатуре. Набивать текст. Через пару часов дело пошло на лад. И длинный бумажный серпантин, причудливо исколотый дырочками, свивался кольцами на паркетном полу...

Жена позвала обедать. И он, оставив недоделанную работу, пошел к столу похлебать борща. Вернулся минут через сорок.

Новый телетайп, как пулемет, бешено строчил, выбрасывая тревожный текст на отработанной ленте.

«...армении произошло землетрясение тчк мы обсуждали редколлегии тчк кого можно послать туда тчк я предложил тебя тчк подпись хусейнов тчк».

«Черт вас побери! — подумал Дубравин. Он только что вернулся из Семипалатинска, где идут демонстрации, требующие закрытия ядерного полигона. А тут опять...

Но с другой стороны, ему было приятно: „Я востребован для экстремальной журналистики. А теперь вся она такая. Надо позвонить“».

Москва ответила сразу. Как будто ждала его звонка.

— Саша! — протяжно, с акцентом тянул Рафик. — Надо редакции, надо. Газете надо.

— Ну, если надо, я готов туда ехать. Не знаю, как, правда, добраться. Из Алма-Аты в Ереван прямого сообщения нет.

— Сходи в аэропорт. Сейчас все что-то делают для армян. Там встретишься с нашим собкором Варданяном. Он тебе поможет устроиться.

Я ему позвоню. В общем, давай, ждем твоих заметок.

— О`кей! — ввернул модное словечко Дубравин.

— Счастливо! — просипела трубка.

— До свидания!

«Легко сказать „о`кей“. А как все бросить? Я только начал работать над „Чимкентской пленницей“, а тут! Как жене объяснить? Приехал и опять уехал. Ну да ладно. Работа есть работа».

* * *

Через час Дубравин уже был в темном чреве алма-атинского аэропорта. Вышагивал по служебному коридору, увешанному казенными табличками. Искал кабинет начальника службы перевозок.

Начальник — высоченный, разбитной малый в синей форменной куртке и белой рубашке, но без галстука — долго разглядывал из-под белесых бровей его красное редакционное удостоверение. Потом со вздохом спросил:

— Какие проблемы? С чем пожаловали? Критиковать?

— Да, понимаете, какое дело. Звонили сегодня утром из редакции. Передали задание. Выехать срочно в Армению. Освещать тамошние события. Ну, вы знаете... — Дубравин старательно подчеркивал просительный тон общения. В конце концов никто не обязан здесь помогать ему. И его вопрос — это вопрос доброй воли авиаторов.

— Да, землетрясение! — вздохнул начальник. — Мы тоже помогаем. Как вся страна.

— Я слышал, от вас туда полетят. На подмогу. Нельзя ли мне как-нибудь туда добраться?

— Да, у нас сегодня вылетает грузовой Ан-24 в Ереван. Повезет туда газовые баллоны. Сейчас идет погрузка. Но как вы можете полететь? Там баллоны во всем отсеке. Сесть негде.

— Да ладно! Как-нибудь. Где-нибудь пристроюсь, — обрадовался Александр.

— Ну, если экипаж согласится. Вас возьмет под свою ответственность. То может быть.

— А где они?

— Сейчас сюда командир подойдет за полетным заданием. Я ему скажу о вас. Вы подождите там.

Возбужденный и обрадованный такой удачей, Дубравин молча наблюдал из коридора за внутренней, скрытой от пассажиров и посторонних глаз жизнью порта. Сновали туда-сюда секретарши, стучали

пишущие машинки. С интересом поглядывая на него, проходили по коридору экипажи бортов и хорошенькие стюардессы в синих форменных костюмчиках. Наконец в нужный ему кабинет прошел пожилой, седовласый, огрузневший, судя по шевронам на рукаве, командир борта. Оттуда раздался его громкий басовитый голос. Через несколько минут он вышел вместе с начальником.

— Вот корреспондент! — Высоченный начальник вздымался над обоими как монумент. — Знакомьтесь! Иван Петрович Локтев, наш старейший пилот. Ас, можно сказать.

Поздоровались.

— Если можно, заберите его с собой!

Командир согласно кивнул в ответ седой непокрытой головой:

— Отчего же не довести хорошего человека. Не знаю, как вас по имени-отчеству?

— Александр Алексеевич!

— Так вот, Ляксандра Алексеевич. У нас борт грузовой. И сейчас в нем загружены газовые баллоны. Мы их должны доставить в Эребуни. Можем и вас как-то разместить. Но особых удобств не будет...

— А мне и не надо. Я согласен, — торопливо заговорил Дубравин. — Мне главное — долететь. Задание от редакции...

— Ну, тогда пошли.

Вот так просто и быстро разрешился для него этот болезненный вопрос с доездом к месту событий. Еще через полчаса счастливый Дубравин лежал в грузовом отсеке Ан-24. Устроили его пилоты шикарно, как падишаха. Поверх стоящих ровными рядами красных стальных газовых баллонов штурман бросил два толстенных матраса и одеяло. Дубравин забрался на это имитированное ложе и, лежа под металлическим потолком грузового отсека, готовился к многочасовому перелету. Лететь предстояло на запад, преодолев весь Казахстан, до туркменского Красноводска. А затем через Каспийское море над территорией Азербайджана. В ереванский аэропорт «Звартноц».

Лежа на одеяле, он достал свой серый путевой блокнот. И прыгающими синими буквами записал на первой странице: «Командировка в Армению». Подумал и добавил свой первый вывод: «В чем еще преимущество советского строя? Он позволяет во время войны или таких вот стихийных бедствий быстро и четко мобилизовать всех на борьбу! Решение, принятое из центра, выполняется немедленно. Мобилизация идет по всем направлениям».

Самолет тронулся и, ревя моторами, двинулся к взлетно-посадочной

полосе.

Это был перелет так перелет. Шесть часов до Красноводска они летели над барханами. Великая, как океан, пустыня раскинулась от горизонта до горизонта. И только маленькая тень «Аннушки» скользила над нею, перескакивая с одного песчаного холма на другой. Потом наступила звездная ночь. Редкие огоньки внизу рассказывали о том, что в этой великой, окутавшей самолет тьме все-таки теплится жизнь людей. Незабываемое ощущение. Ты между небом и землей, как ангел или демон.

В конце концов ему надоело вглядываться в эту темноту. И он, прикрыв глаза, стал вспоминать предпоследнюю командировку. Мысли и образы путались, переплетались. Он застрял где-то между сном и реальностью.

* * *

«...Черт бы побрал этих азиатов! Со всеми их обычаями и прочей белибердой! — думал он, вспоминая зеленый городок на юге, в Узбекистане, куда занесла его причудливая журналистская судьба. — Все у них не так, как у нас. У советских. Все за деньги».

Дубравин даже мысленно смачно плюнул, вспомнив, как обнаружил у себя в сумке конвертик с деньгами, которые, очевидно, потихоньку сунул ему дядя Гульбахор. Ведь тогда он русским языком объяснил ее отцу, который пытался «вознаградить» корреспондента за труды, что это его работа и он поможет им наказать насильника. А денег не надо. Этим он поверг старого морщинистого узбека в панику. По его понятиям, «раз не взял деньги — помогать не будет. Значит, взял у другой стороны. У насильника Абдуллы Джафарова». Люди настолько там привыкли, что все делается только за взятки, что его бескорыстие и изумляло, и настораживало. Разве такое может быть? Чтобы человек работал за зарплату? Из чувства долга! Непостижимо! Непорядок! Вот они все-таки и решили его исправить. Сунуть деньги в сумку.

А для него непорядок то, что красавицу Гульбахор схватили на улице «кунаки влюбленного джигита». Заломили руки. Зажали рот. И, как овцу, бросили на пол «жигулей». А потом «влюбленный джигит» долго насилывал ее у себя в доме. А женщины его семьи помогали ему справиться с жертвой... Такие вот обычаи сватовства у них.

Его прямо трясло, когда он сейчас вспомнил эту историю. И ту забитую, запуганную девчонку, которая все-таки посмела пойти против ненавистного мясника с рынка, «лучшего жениха района».

Самолет тряхнуло на воздушном ухабе. Дубравин выглянул в иллюминатор. И снова, успокоившись, стал вспоминать. Правда, чего они в

ней нашли? Красавица, красавица! Пухленькая, кудрявая девчонка...

Сколько же он ездит, летает, чтобы сделать сотню-другую строк. Собачья работа. А он любит ее. Ведь есть не только те, кто становится объектом его суховато-язвительных и насмешливых публикаций. Есть те, кого он защищает. Те, кому помог обрести достоинство. Пережить беду. А беды за эти годы он видел немало.

Одеяло под ним накренилось вперед. Самолет пошел на посадку. Пять минут. И вот он уже бежит по взлетной полосе аэропорта. Красноводск.

— Корреспондент! Выходим! — второй пилот приоткрыл стальную дверь кабины. — Разомнемся!

По неудобной, с облупленной зеленой краской металлической лестнице гуськом сходим на землю. Начало декабря. И здесь тоже прохладно. Командир уходит в сторону чернеющего вдали аэровокзала. Идет перекур, и разговор не клеится. Оставшиеся заняты каждый своими мыслями. Ждать приходится долго. Но вернувшийся из вокзала командир ничем не порадовал:

— Не принимает Эребуни. Там затор. Со всей страны летят к ним десятки бортов. Везут все. Аэропорт перегружен. И не хочет принимать. Им сейчас не баллоны газовые нужны в первую очередь.

— А что? — спрашивает расстроившийся Дубравин, а сам думает: «Черт побери, так хорошо все началось. А теперь только этого не хватало. Застрять здесь. В пустыне. На краю света. И неизвестно когда выберешься. И куда сможешь отсюда улететь».

— Им нужен формалин в первую очередь, — вздохнул командир, похлопывая себя по карманам в поисках зажигалки.

— А что такое формалин?

— Это вещество такое, дезинфицирующее. Там трупы начинают разлагаться. Их надо засыпать формалином.

— Ну и что нам теперь делать? — спросил Дубравин.

— Сейчас они поищут его здесь, в городе. Если найдут, мы будем догружаться.

Вечерний ветерок из пустыни постепенно крепчал. И Дубравина в его легкой черно-белой горнолыжной синтетической курточке стало продувать до костей. Он снова забрался в самолет. На свое законное место. И слегка задремал. Но поспать ему не удалось. Через час рядом с крылатой машиной зафырчал грузовик. Загремел открываемый люк грузового отсека. В темноте раздались многочисленные голоса. Оказывается, это привезли в запечатанных бумажных мешках формалин. Началась погрузка, которой руководил второй пилот. Дубравин вылез наружу, на холод. И принялся

помогать солдатикам укладывать мешки в отсек. Слегка согрелся. Минут через двадцать выплыл из темноты обрадованный командир. Прошел в кабину. И бросил на ходу всему экипажу коротко и ясно:

— Летим, ребята!

Снова загудели моторы. Металлическая птица вздрогнула. Ожила. Дернулась и поехала по полю.

Светало. За окном иллюминатора поплыл мимо унылый пейзаж.

Тяжело загруженный Ан-24, переваливаясь на ходу, как гусь, вырулил на взлетную полосу. Постоял, словно примеряясь. Моторы взвыли на самой высокой ноте. Дрожь пошла по всему корпусу. И рванул. На взлет. В конце полосы, словно бы нехотя, оторвался от земли. Поплыл навстречу восходящему огромному красному солнцу.

В воздухе идет постоянный радиообмен. С аэропортами. И десятками бортов, которые сейчас устремились вместе с ними к одной цели. Через час-другой полета они уже над Арменией. Долго ждут очереди на приземление.

Их даже хотят отправить на запасной аэродром в Баку. Но командир опять и опять радирует о двух тоннах формалина на борту. И диспетчеры сдаются. Дают добро на посадку в «Звартноц».

Все проходит успешно. В шесть часов утра по местному времени Дубравин наконец ступает на армянскую землю. Прощается с ребятами. И мимо десятков выстроившихся на рулежных дорожках машин шагает к зданию порта.

Дверь его открыта. Но в огромном здании аэропорта нет ни души. Никого. Ни одного живого человека. В гулкой пустоте раздаются только его собственные торопливые шаги. Он кое-как находит телефон-автомат. И звонит местному собственному корреспонденту. Никто долго не берет трубку. Наконец заспанный голос на том конце отвечает:

— Слюшаю!

— Привет, Левон! Как дела? Это я, Дубравин. Тебе звонили из редакции, что я прилетаю? Помогать тебе. Освещать землетрясение?

— Нэ-э-э-т! Нэ звонили. Я пэрвый раз слышу!

— Ну ладно, короче, брат! Я прилетел. Мне надо куда-то устраиваться на житье. Гостиницу закажи... И давай объясни, как отсюда выбраться. А то здесь, в аэропорту, просто никого нет. И мне, честно говоря, не по себе. Жутковато!

— Сейчас ночь еще! Давай сдэлаем так. Ты садись на пэрвый троллейбус, как он подойдет. И прямо езжай. До центра. Там выходи. Увидишь большой памятник. Я тебя там буду ждать!

Дубравин так и сделал. Варданян уже ждал его. Невысокого роста и, что удивительно, лысый армянин с курчавящимися вокруг лысого черепа черными волосами, нервно ходил вокруг огромного каменного постамента памятника какому-то чудному богатырю. Они, как водится, обнялись, приветственно хлопая друг друга по спине. Левон совсем недавно стал собкором. И еще никак не проявил себя на этой ниве. Тем более что сам он выходец из комсомольского аппарата. И не слишком свободно владеет русским. А сейчас, когда начинается заваруха в Карабахе и тут же ударило землетрясение, он вообще растерялся, не зная, за что хвататься. Вот и кинули к нему на усиление Дубравина.

Много на тему о том, что такое журналистика — творчество или ремесло, — проведено дискуссий. И ни одна толком на эти вопросы не ответила. Одно ясно. Прежде чем сочинить что-то, журналист должен выехать на место. Собрать факты. Просеять их. Осмыслить. Выстроить. А потом вразумительно изложить свое видение на бумаге, всячески стараясь быть кратким и понятным для читателей. Не всем в одиночку по силам делать это быстро и точно. И для таких исключительных случаев собирают бригады из лучших по профессии. Дубравин прилетел первым. Скоро из Москвы должен подскочить фотокорреспондент. Работа предстоит сложная. И как опытный репортер, Александр знает: чтобы работать плодотворно, надо прежде всего устроить свой быт. И наладить связь с редакцией.

Этим и занялись в первую очередь. Левон достал редакционные бланки с печатями. Сварганил служебное письмо от главного с просьбой разместить в гостинице прибывшего в Ереван со специальным заданием корреспондента.

Как ни странно, но номер ему дали без проволочки.

Дубравин помылся, побрился, оставил в номере ненужные вещи. И двинул в город на казенной «Ниве» Левона Варданяна.

Он с интересом мысленно сравнивал Ереван с Алма-Атой. Оба города расположились в горных долинах. И должны быть похожи. Ан нет. Различий много. Алма-Ата вся зеленая, красивая, цветущая, журчащая арыками. Ереван же — город каменный. Серо-коричневый. Зелени мало. Все отстроено прочно, тяжело. На века.

Но здания, где расположился ЦК, похожи. Партия-то одна. Коммунистическая. Так что и стиль тут единый. Помпезный. Краснодорожный. Но сегодня здесь нет в коридорах тишины, нарушаемой только неспешным шорохом бумаг. Народу тьма. Все озабочены. Торопятся в зал заседаний. Там очередное заседание штаба по ликвидации

последствий землетрясения. Его проводит только что прилетевший из Москвы председатель Совета Министров СССР Николай Иванович Рыжков.

Зал забит. Все угнетены. Атмосфера тягостная. Говорит из президиума в основном Рыжков. Остальные, сидящие рядом с ним, только поддакивают и кивают головами. Речь идет о разборке завалов.

— В чем сегодня наивысшая потребность? — словно сам себя спрашивает Николай Иванович, покручивая в руках цветной карандаш и вглядываясь внимательно в лица сидящих напротив калиброванных функционеров и хозяйственников, от которых его, еще молодого и полного энергии, бывшего директора, отличает «лица необщее выражение».

— Краны нужны.

— Кранов для разбора завалов!

— Не хватает! — слышатся недружные голоса из зала.

— Правильно! — подтверждает Рыжков и тут же обращается к сидящему рядом слева от него в синем летном мундире министру авиации. А затем к сидящему справа большезвездному военному: — Я думаю, товарищи, надо немедленно собирать по всей стране необходимую технику. И по воздуху перебрасывать ее сюда, в зону. Надо создать воздушный мост...

* * *

Дубравин в силу своего журналистского бытия бывал на многих совещаниях. Но никогда ни до, ни после он не видел такого молниеносного, скоростного решения государственных вопросов...

* * *

Через пару часов он снова в аэропорту. Рыжков пообещал, что корреспондентов будут беспрепятственно доставлять до места трагедии. А им очень нужно срочно быть там. На площадке у аэропорта собралась уже целая тусовка корреспондентской братии.

Гласность в действии. Ведь раньше катастрофы, землетрясения, наводнения обходили страницы советской прессы. В крайнем случае событие, унесшее тысячи жизней, умещалось в десятистрочной заметке телеграфного агентства на третьей полосе «Правды». Теперь другое дело. Можно рассказывать правду. И журналисты слетелись в Армению как мухи на мед или...

И, дружно жужжа, атакуют начальника:

— Давай самолет!

— Я представитель крупнейшей газеты мира!

— От меня ждут новостей в Москве!

— Вы что, саботируете приказ председателя? И дружно тычут в нос удостоверениями. Начальнику деваться некуда. Сверху давят министры.

Снизу — эта разношерстная, снимающая и пишущая братия.

Через час самолет подают. Маленький такой. «Як-40» называется. Народ с саквояжами, треногами, блокнотами в специальных куртках с большими и многочисленными карманами дружно штурмует салон. Сидячих мест на всех не хватает. Многим приходится стоять в проходе между кресел. Но главное — все счастливы. Они летят на место.

Разбег. Толчок. Полет. И такое ощущение, будто на самом деле они и не летели. А просто перепрыгнули расстояние, отделяющее Ереван от Ленинакана.

Высаживаются. От аэропорта они еще как-то держатся вместе. Пока едут на микроавтобусах. А потом — кто куда. Рванули в разные стороны.

«Как тараканы, на которых прыснули дихлофосом», — думает про себя Дубравин о корреспондентской братии, вылезая из автобуса.

«Так где же они, эти злополучные страсти-мордасти? — ищет он взглядом следы землетрясения. — Вроде все цело!»

Поворачивает мимо уцелевших домов с трещинами и вылетает на широкий проспект.

«И что это?» — он удивленно взирает на гигантские кучи строительного мусора, лежащие повсюду, сколько хватает взгляда вдоль проспекта. Сначала он искренне недоумевает. И только через секунду, повнимательней вглядевшись, ошеломленно соображает: «Это не мусор. Это то, что осталось от многоэтажных домов. Как карточные домики сложились они от ударов подземной стихии. Рухнули! Боже мой! И погребли под собой все. И всех!»

А на этих гигантских мусорных кучах, созданных землетрясением из бетонных плит, перекрытий, арматуры, цемента, вперемешку с мебелью, домашней утварью и еще непонятно чем, копошатся люди.

«Спасатели? Мародеры? Потерпевшие?»

Дубравин идет прямо к одной из таких гигантских куч, рядом с которой роится темная группа людей. Они что-то пытаются делать. Суетятся вокруг с ломami, кирками. Рядом стоит на асфальте подъемный кран на автомобильном шасси. «Ивановец», — написано крупными белыми буквами на стреле. Напрягаясь изо всех своих железных сил, кран пытается поднять расхлестанную, с торчащей арматурой, переломанную во многих местах бетонную плиту. Слышны голоса рабочих:

— Вира! Вира помалу!

Рядом бегают и бьются в истерике какой-то маленький черный человечек.

Дубравин достает блокнот и принимается записывать свои первые впечатления от увиденного: «От рухнувшего напротив дома осталась одна дверь. В ней торчат ключи. Наверное, хозяин закрывал квартиру, когда начались подземные толчки...» — он не успел закончить предложение. Человек, метавшийся у кучи, видимо, подумал, что он какой-то начальник. Подбежал к нему как к последней надежде. И, заламывая руки, начал кричать:

— Они там! Они еще живые! Я знаю. Я слышу их голоса... Скажите им, пусть они перейдут на тот дом. Они там! Они еще живые!..

Дубравин вглядывается в обросшее щетиной, грязное от пыли, дергающееся лицо, в остановившиеся безумные глаза с огромными зрачками. И, еще ничего не понимая, переспрашивает:

— Кто там?

— Моя жена! И доченька...

Человек хватает его за рукав и пытается вести к соседней куче строительного мусора. Но Дубравин не поддается. И подходит к группе рабочих, занятых расчисткой завала. Спрашивает:

— А кто тут у вас начальник?

Пожилой поджарый работяга, одетый, как и все, в солдатский зеленый бушлат и строительную черную матерчатую шапку с длинными ушами, показывает на широкого усатого мужика с запыленным цементной пылью простым русским лицом и красными от недосыпания глазами.

Они здороваются:

— Корреспондент всесоюзной молодежной газеты Александр Дубравин!

— Иван Петрович Смехов, директор строительного управления. Мы из города Владимира...

— Ну что у вас? Как дела?

Директор шмыгает курносый носом, вздыхает и машет рукой куда-то в неопределенное пространство.

— Как сказать! Дела? Дела у прокурора! А у нас делишки, — пытается шутить он. Но потом спохватывается. Не то место. — Бьемся изо всех сил. Но это же бетон, плиты. Вручную тут ничего не сделать. Так, ковыряться. Только краном. А кранов у нас мало. Работаем круглые сутки. Ломаются. Ремонтируем. И опять...

— Вот человек говорит, что слышит на соседнем доме под завалом

голоса своих жены и дочери. Может, как-то ему помочь можно? — кивает Дубравин на армянина.

— Господи! Да они все тут слышат голоса! — Смехов показывает на стоящую у дома кучку угрюмых, черных от горя людей. Дубравин теперь замечает, что возле всех других бывших многоэтажек стоят такие же группы. Иногда отдельные смельчаки поднимаются наверх. Пытаются что-то сделать. Но быстро осознают тщетность усилий. И затихают.

Однако Смехов не отказывает в просьбе. Подзывает бригадира. И дает команду переставить кран.

Армянин, стоявший рядом с ними немым укором, уходит вслед за ним.

— Вы давно здесь? — спрашивает Смехов корреспондента.

— Да я ночью прилетел. А вы?

— Мы вторые сутки копаем. Но тяжело. Техники не хватает.

— Я сегодня утром был на совещании в Ереване. Рыжков вел. Он дал команду собирать со всей страны подъемные краны на автомобильных шасси и переправлять сюда. По воздуху. Грузовыми самолетами.

— Точно? Николай Иванович — молодец! Он тут с самого начала. Решает вопросы мгновенно. Иначе нельзя. Зима. Они долго не выдержат... — Смехов подразумевает оставшихся под завалами еще живых людей. — Техника нужна! Техника! А то посмотрите, в каком состоянии наши краны. Ох, скоро станут.

Дубравин и сам заметил, что двигатель крана ревет от неподъемной тяжести из последних сил. А масло хлещет и сочится из всех соединений гидравлики.

Наконец плиту относят в сторону. И рабочие начинают снимать кран с распорок.

— А вы что-то легко одеты, — неожиданно замечает Смехов. — В такой курточке долго не протянете. Тут хоть и юг вроде, а ночью холодно.

Он молчит с полминуты, а потом окликивает пожилого бородатого рабочего, проходившего рядом с тяжелым ломом в руках:

— Эй, Василий! Сходи с корреспондентом в палатки. Подбери ему бушлат хороший. Побольше. Одень! Ведь замерзнет человек совсем. Зима ведь!

«Вот она, всемирная отзывчивость русского человека. На любую беду, — думает Александр, шагая следом за Василием к зеленым армейским палаткам, разбитым прямо в сквере на газоне. — Не только прилететь за тридевять земель. Спасать. Но и одеть заезжего мальчишку-корреспондента. Без отдачи. Просто так. От широты души. И все-то он понимает. И без надрыва, криков, слез берется за любое дело. И правит его.

Работает день и ночь. Не требуя ни наград, ни благодарностей».

В большой армейской палатке из плотного брезента топится сделанная из металлической бочки печка-буржуйка. Рядом спят, похрапывая, после ночной смены на руинах здоровенные, небритые русские мужики. Запах портянок и консервов создает неповторимый аромат кочевого походного быта.

Василий подводит его к куче связок рабочей одежды. Приглядывается. Выбирает бушлаты побольше. Дубравин примеривает парочку, надевая их прямо на свою синтетическую куртку. Но Василий недоволен.

— Маловат. Маловат будет, — говорит он с заметным владимирским говорком.

Наконец находит то, что нужно. Огромный, широченный в плечах зеленый армейский бушлат, в котором Дубравин — русский богатырь — утопает вместе со своей курточкой. Теперь ему становится тепло и уютно. Василий подзывает его к огоньку. И они, пробив с двух сторон крышки банки сгущенного молока, пьют чай, посасывая тягучее жгуче-сладкое молоко прямо из дырки. Теперь Александр наконец вспоминает, что давным-давно ничего не ел. Горячий чай согревает нутро. А от него тепло растекается по телу к ногам.

Клонит в сон. Но он, как засыпающая лошадь, трясет головой, отгоняя дремоту. А потом решительно поднимается от огонька. И выходит из палатки. «Вся страна ждет вестей отсюда. С жадным любопытством вчитывается в страницы газет, вглядывается в голубые экраны. А он будет дрыхнуть! Потому что устал от перелета через всю страну? Как бы не так! Надо взять себя в руки! И идти работать!»

Туда. На развалины. Где опять ревут из последних лошадиных сил моторы. Где, похрустывая металлическими косточками, хлеща маслом из всех щелей и сочленений, надрываются краны, пытаясь растащить, поднять неподъемные бетонные плиты и панели, под которыми кое-где еще теплятся человеческие жизни. Где все эти прикомандированные Васьки, Петьки, Николаи и Петровичи с ломami и кувалдами вгрызаются в бетон и арматуру, пытаясь вырвать у смерти еще одну, хотя бы одну жизнь. И когда удается продвинуться еще чуть-чуть, радостно галдят:

— Поддалась! Пошла, родная! Еще! Давай! Давай!

Вот они оживились, задвигались, сгрудились наверху соседней кучи строительного мусора, в которую превратился огромный красавец дом. Дубравин начал быстро подниматься к ним, перепрыгивая с обломка на обломок, с плиты на плиту. И наконец подобрался к тому месту, где собралась группа. Протиснулся. И увидел. В раскопанной щели из мусора

торчит голая человеческая спина и запыленная в цементной пыли кудрявая голова. Видимо, землетрясение застало человека в постели во время сна. Он вскочил, побежал, полуголый, к выходу. И тут все рухнуло. На него...

Звериное любопытство толкало все новых людей с улицы подняться сюда — посмотреть на мертвого. Собралась толпа. Но строители, возившиеся у тела, стали сгонять назойливых любопытных. Им надо было работать. Разбирать завал дальше...

* * *

Мир перевернулся. Не сразу Дубравин начал привыкать к тому, что здесь, в районе бедствия, все по-другому.

Какая-то особая аура. Серые, угрюмые лица. Ни одной улыбки. Тихие голоса. И полное отсутствие какой-либо воли к жизни.

В одно мгновение жизнь потеряла здесь свои основы. Смысл. У людей больше не было домов. Не было имущества. Денег. Документов. А у многих не было и семьи. Друзей. Ничего. Даже надежды, которая, как известно, умирает последней.

Дубравин тоже как-то эмоционально тупел. В первые дни он хотел каждому помочь. Каждого выслушать. Утереть слезы. Но горя было так много, что через какое-то время он почувствовал, что душа его насытилась им. И перестала реагировать. Видимо, это была защитная реакция, которая не позволяла сойти с ума от всего этого разлитого в воздухе ощущения несчастья и великой беды.

Дубравин видел, что не только он, но и большинство спасателей испытывают эмоциональный шок от всех этих душераздирающих сцен.

...Стоит на выезде из разрушенной деревни полевая кухня. Дымится. Варится в ней каша. Рядом, в полутора метрах от нее, стоит закрытый гроб. И стоит, видно, давно. От него уже сладковато пахнет тленом, и течет сукровица. А рядом сидит молоденький беленький солдатик. И ни на что не обращая внимания, жует свой хлеб. Дубравин подходит к нему. И этак по-деловому спрашивает:

— И чего он тут у тебя стоит? Что не закопаете? И хочет подойти поближе, глянуть на покойника. Но солдатик его решительно останавливает:

— Не трогай гроб голыми руками. Только в перчатках. Там трупный яд! — И деловито, со знанием подробностей добавляет: — А не убирают его потому, что, может, его кто ищет. Всех, у кого были родственники, уже разобрали. А этот остался. Пусть еще немного постоит. Если никто не заберет, не найдется, тогда закопаем сами. Хотя это не наша работа! — И

снова принимается жевать свой ломоть. — Есть хотите? Могу кашей угостить.

— Нет! Нет! Спасибо!

Пробыв в зоне, в этой зачумленной атмосфере два дня, Дубравин торопится в Ереван, чтобы передать очередную порцию информации...

* * *

...Через десять дней, как договорились, он ждал замену из редакции. Но из отдела пропаганды его предупреждают: «Пока не уезжай!» И вместо замены присылают на помощь Кольку Барсегова. Оригинального малого, косившего в своих публикациях под простака. Колька — вятский паря — нос картошкой, рыжая окладистая борода — оказался хлопцем толковым и компанейским. Они скооперировались, договорились с приехавшим туда же фотографом и стали каждый день гнать новости на Большую землю.

Сложился своеобразный тандем. По очереди парни выбираются из Еревана на попутных самолетах, вертолетах, машинах в пострадавшие села, города. Собирают информацию. Возвращаются. Отписываются. И снова вылетают. Конечно, проще было бы диктовать текст прямо с мест. Но там не было связи.

Как-то случайно в Спитаке он наткнулся на полевой переговорный пункт, развернутый военными. То-то было радости полные штаны. Но у телефона стояла гигантская очередь из армян, которые после землетрясения потерялись, как бы исчезли с лица земли. И Дубравин понял, что ему здесь ничего не светит.

Мощь великой империи чувствовалась во всем. Поток шли в Армению техника, грузы, гуманитарная помощь. На стадионе разрушенного Спитака он увидел картину, потрясшую его воображение. Там были складированы гигантскими штабелями тысячи гробов, доставленных из России самолетами.

Сотни иностранных спасателей в ярких комбинезонах с собаками и разнообразными приборами днем и ночью искали оставшихся в живых людей. Считали часы и дни, не обращая внимания на сладковатый трупный запах, постепенно окутывавший улицы разрушенных городов и сел.

Вот работает техника. Грохочут отбойные молотки. Переговариваются люди. Вдруг раздается команда:

— Тишина!

Все замолкает. Слушают несколько минут. Не слышны ли голоса под развалинами. Вдруг. Да тихо вы! Какой-то шорох. Люди с собаками, одетыми в цветные костюмчики, на лапах перчатки, устремляются туда.

Ходят по развалинам.

Вот собака остановилась. Принюхивается. Садится. Значит, тут есть живой. Место отмечают флажком. И начинают копать.

Дубравин весь в напряге. Рядом с рабочими.

Медленно. Страшно медленно люди в робе и масках разбирают завал. И... О чудо! Голос! А потом видна женская рука, застрявшая между плит. Она шевелится.

Народ удваивает усилия. Еще пару часов неустанных трудов. И вот уже молодая женщина, жадно захлебываясь, пьет воду из бутылки, поднесенной одним из рабочих. Взгляд ее дик и безумен. Блуждает. А волосы побелели. Скорей носилки. Одеяло.

И уже мчится карета «скорой помощи» в аэропорт, прямо к посадочной полосе. Дубравин сидит на месте санитаря. И торопливо, каракулями строчит в блокноте: «И через неделю. И позже еще находят выживших...»

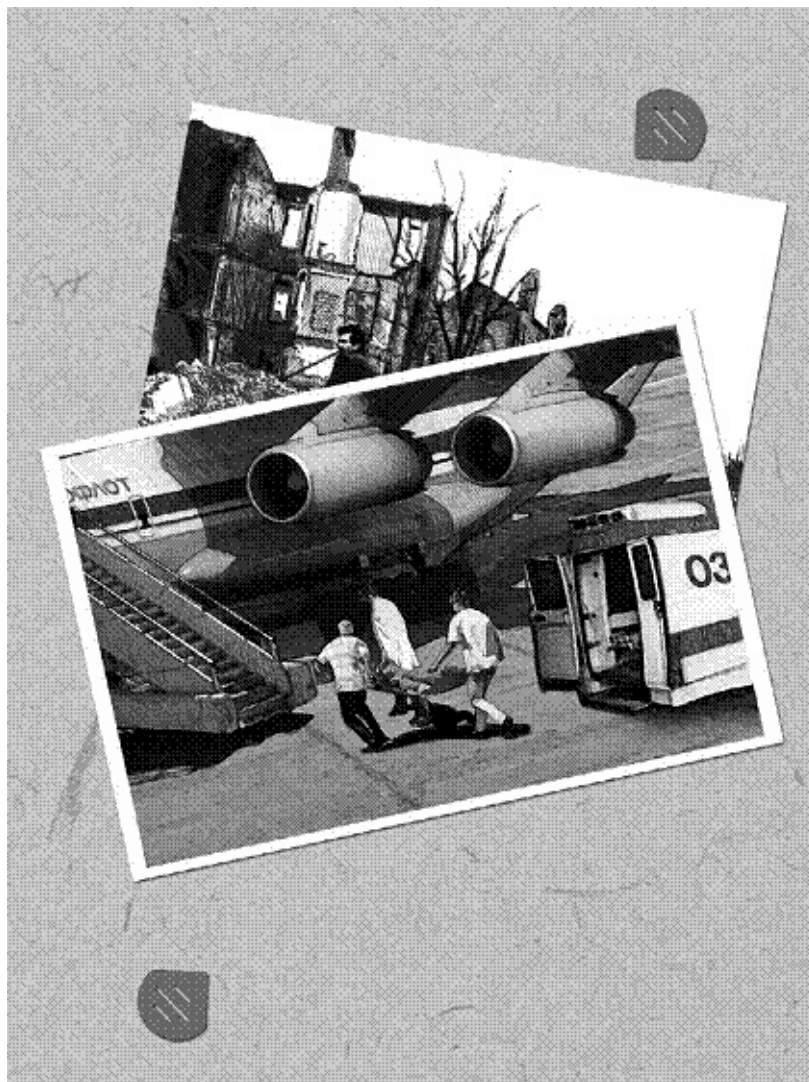
«Скорая» останавливается у борта. Водила открывает заднюю дверь. Рядом с самолетом стоит толпа угрюмых усатых армянских мужчин. Но никто даже не шевелится. Не берется за носилки. Просто стоят. И смотрят.

Возмущенный Дубравин выскакивает наружу. Вместе с водителем берется за ручки носилок. Медленно поднимается по ступенькам трапа. Заносит женщину в салон. Бежит вниз за следующим раненым.

Самолет немедленно взлетает. Курс на Ереван.

Та же самая сцена повторяется в «Звартноце». Молчаливая толпа ожидающих. Но никто, ни один человек не помогает. Но Дубравин уже не обижается. Молча берется за работу. Теперь он осознает. Это родственники погибших и пропавших без вести. У людей шок. Они утратили стимулы для жизни.

Им осталось только надеяться на счастливый случай. Ведь были такие...



«Как они выжили? — задает себе вопрос Александр, снова усаживаясь в „скорую помощь“. — О чем они думали? Лежа там, в кромешной тьме, под обломками? Заживо похороненные. Задыхаясь от нехватки воздуха. И умирая от жажды».

Он вглядывается в лицо спасенной женщины, которая постепенно приходит в себя. Пытается с ней заговорить. Но на его расспросы она отвечает странно просто и коротко:

— Да, я лежала. Встать не могла. Только переворачивалась с боку на бок. Слышала рядом первые дни стоны. Потом они начали затихать... Я верила, что меня спасут. Очень хотелось пить. Я прикладывала язык к холодной металлической трубе...

«Странно. Такой простой, будничной рассказ. А может, я просто не умею так раскрыть человека, чтобы он разговорился. Нет, скорее всего, есть некая грань, которая отделяет нас от них. Переживших этот день. И

нам трудно понять друг друга. А может, и не надо. Надо просто жить. И радоваться тому, что ты жив. И здоров».

* * *

Время идет к Новому году. И как всегда бывает в таких случаях, отношение окружающего мира меняется. Сначала землетрясение в Армении в центре внимания. Все, что они передавали, срочно попадало на первую полосу. Затем на этаже начали воротить нос. И выбирать только жареные факты. Требовалось искать нечто неординарное. И они носились по республике, как савраски, в поисках этого самого неординарного. Потому что смерть, кровь, разрушения, слезы и стоны стали обыденными.

Так появились заметки о встрече министра обороны СССР Язова с дезертирами. Их прислали в Армению разбирать завалы. А они драпанули домой. В родные села, никак не пострадавшие от стихии.

Смотрел Александр Дубравин на эту встречу. И удивлялся. Язов прямо-таки по-отечески журил бойцов. «Да если бы я или кто из наших сделал так, сидеть бы нам сначала на губе. А потом в тюрьге. А здесь чуть ли не сопли им тирают».

На фоне общей трагедии уже не особо прозвучала катастрофа «Ил-76». В спокойное время ей бы отдали полосу. А сейчас так — строк сто.

Заходил на посадку грузовой борт с «партизанами из Баку». Не вписался в поворот. Врезался крылом в гору на втором круге. Все погибли. А вот один азербайджанский спасатель уцелел. Как? Почему?

Примчался Александр Дубравин в госпиталь. Лежит человек — сплошной синяк. Поговорили. Повезло парню. В самолете стояло два КамАЗа. Он, как только взлетели, залез в кузов одного из них. И уснул. Проснулся среди горящих обломков самолета. Обезумел. Выскочил. И бежать. Потом упал.

Подобрали его армянские крестьяне. Отвезли к врачам. А те удивляются: как он бежал с поврежденным позвоночником?!

Стали лечить, несмотря на то что уже случился Сумгаит. Уже убивают они друг друга в Карабахе.

Впрочем, Карабах — отдельная песня. Вчера встретили его у входа в гостиницу какие-то темные люди: «Мы из комитета Карабах!» И давай предъявлять претензии. Цепляться. «Почему ты, корреспондент, о землетрясении пишешь, а о Карабахе нет? Землетрясение и гибель двадцати тысяч человек — это дело временное. А вот карабахская проблема для армян вечная».

Насилу от них отделался. Но осадочек остался.

«Раз загалдели о Карабахе, — думает он, поднимаясь к себе в номер, — значит, напряжение спадает. Народ оклемавается».

Да это чувствуется и по публикациям в газете. Тексты начали резать. Выход задерживать. Тема, видимо, переставала быть такой актуальной.

А самое главное, кончились деньги. Жить было уже не на что. Он звонил в бухгалтерию издательства «Правда». Там, как всегда, обещали выслать. Но видно, забыли. Или почта не сработала. Короче, пора было сматывать удочки. Тем более что уже надвигался новый, одна тысяча девятьсот девяностый год.

Никого больше ни о чем не спрашивая, Дубравин отправился напрямик в аэропорт. Денег на билет не было. Но он рассчитывал улететь с попутным самолетом. Однако в диспетчерской аэропорта его документ не произвел никакого впечатления. Самого главного начальника на месте не было. И носатая пожилая секретарша посоветовала ему голосом рыночной торговли:

— Ай, договаривайся с экипажем!

Он так и сделал. Дождался у проходной командира грузового «Ил-76». Коротко рассказал свою историю. Так, мол, и так. Корреспондент я. Денег нет. А выбираться отсюда как-то надо.

Хорошо, что попался неплохой мужик. Посмотрел на него. В огромном бушлате и тоненьких ботиночках. И предложил:

— Подожди полчасика. Потом со мной на борт пойдешь...

Он так и сделал. Правда, уже прямо на борту к нему прицепился какой-то летун в форме с галунами:

— А билет у тебя есть? Нет? Без билета нельзя! Не повезем!

Дубравин послал его к командиру.

Тот ушел. И больше не появлялся. Из этого короткого «разбора полетов» он понял, что все изменилось. До сего дня он летал в этих краях свободно. Как сокол. И никто у него бумажек не требовал. Теперь жизнь вернулась на круги своя. Исчезали жалость, сострадание, бескорыстное желание помочь, которые двигали людьми в первые дни после землетрясения. Начиналась рутинная жизнь. Обычная жизнь. И люди вернулись к прежнему душевному настрою.

* * *

...По опущенной грузовой платформе он вышел прямо на заснеженное белое поле аэропорта. И пошел к виднеющемуся вдали обшарпанному зданию аэровокзала «Домодедово». Нашел нужную калитку. И напрямик

на автобус. А там на метро. И в редакцию.

На этаже все то же. Все заняты. Все бегают.

— А, приехал! Молодец! — отметил его появление редактор отдела пропаганды. И рысью понесся по длинному коридору на летучку.

Москва жила своей жизнью. И никому до него, по большому счету, и дела-то не было. А ему хотелось поделиться увиденным. Рассказать о пережитом. Но видно, такие они, творческие люди. Все заняты. Все бегут, бегут, бегут...

Только Татьяна, когда он объявился на пороге квартиры в Алма-Ате, заметила:

— Ты похудел как! — Пригляделась. И добавила: — Э, да у тебя седые волосы появились. Глянь, на висках.

Такая работа. Чужое горе переживать как свое.

* * *

Долго он потом просыпался по ночам. Прислушивался. Не трясет ли? Не гремит ли посуда в буфете? Алма-Ата тоже в сейсмической зоне. А главное, что не давало теперь спокойно спать, — это мысли. Что есть человек? Неужели только кусок мяса, костей и ребухи? Зачем он живет на свете? Куда ушли эти двадцать пять тысяч душ?

И наползает ночная тьма. И крутится, крутится один и тот же сон. Будто завалило тебя живого землей. Как в гробу. И ни до кого не докричишься из этого склепа. Не дозовешься. Ау, люди! Где вы?

V

Звезда под названием Солнце бесшумно выкатилась из-за горизонта. И море, до этой минуты бывшее каким-то черным, словно застывшим, вдруг заиграло разными бликами. Тяжелые, осенние облака начали как будто распадаться на ватные кусочки, между которыми заголубело небо.

Хорошо смотрится вдаль отсюда с балкона его номера. Где-то впереди светит огоньками Ялта. А позади крымские живописные горы. И курортные города. Судак. Бахчисарай. Симферополь. Севастополь. Татарские названия смешались с русскими. История, понимаешь, не стоит на месте.

Он вернулся в номер. И стал собираться на море. Хороший санаторий. Все четко распланировано. Кровать. Сервант. Правда, телевизор допотопный. Но цветной. Пульт с диким количеством разноцветных клавиш, где методом тыка, как обезьяна, ищешь нужную кнопку. Тумбочка

казенная, под цвет паркета и обоев. Приемник трехпрограммный.

Живет он в полулюксе. А уж самые главные — те разместились, как боги, на виллах.

Амантай выходит из номера. И по дубовому, вечному паркету шлепает синими резиновыми тапками к широченной, покрытой красно-бордовой парадной дорожкой лестнице.

Все монументально так. По-имперски. Как и тридцать — сорок лет назад.

Гипсовые высоченные потолки. Тяжелые архитектурные кубы зданий. Белые большие колонны у входа. Огромная парковая зона. Перед столовой площадка для концертов.

Столовая — откормочная база. Записываешь в меню карандашиком, что будешь есть через три дня...

Он проходит через парк, никого не встретив в этот ранний час, к лифту. Двери открыты. Когда лифт начал спускаться вниз в проделанный в скале колодец, обдало холодом. Теперь по длинному подземному тоннелю внутри скалы нужно идти к пляжу. Зябко, однако, здесь.

Ну вот и санаторский пляж, уютно расположившийся под скалою. Утренний бриз тянет с моря. Вода тихо и ласково плещется на мокрую гальку и песок. Никого. Хорошо.

Зябко поживаясь, Амантай раздевается. И лезет в прозрачную волну. Надо успеть искупаться и позавтракать до начала заседания.

Сколько уже было всяких семинаров? Много. Все и не перечислишь. Но нынешняя встреча особенная. Потому что главные события происходят не на официальных заседаниях, а в кулуарах. Здесь главный вопрос формулируется по-другому. Что делать?

Трещит по швам их некогда могучая и, казалось бы, незыблемая структура. Трещит голова от бесконечных дискуссий. Одни требуют хозяйственной самостоятельности. Другие желают вообще уйти в свободное плавание.

Одно ясно. Всех задолбали спускаемые сверху инструкции. Бесконечная отчетность. Переливание из пустого в порожнее. Комсомольцы туда — комсомольцы сюда!

Нынче самый генеральный секретарь пообещал до двухтысячного года решить проблему с жильем. А комсомол впристяжку — давайте строить молодежные жилые комплексы. Обычно все отвечают коротко: «Есть!» Но нынче другие времена. Так не получилось.

«О другом они теперь думают. О хозрасчете. О кооперативах. О деньгах. Учатся зарабатывать. Так что даже этот дурень не от мира сего,

Шурка Дубравин, недавно разразился заметкой „Комсомол ответил: „Нет!“
Достал он всех до печени. И пишет. И пишет!

Надо что-то с ним делать. Совсем от рук отбился! Не придет. Не посоветуется. А ведь я нынче человек авторитетный. При делах!“»

Он вернулся к себе в номер. И начал медленно переодеваться к заседанию. Долго подбирал галстук к новой светло-кремовой рубашке. Штук пять перебрал. Но все ему казалось не то. Его смуглое округлившееся лицо с крепко сжатыми губами никак не вписывалось в дресс-код комсомольского вожака молодежи. В конце концов, махнув рукой на условности, он просто надел белую рубашку с темным галстуком.

Этот семинар на берегу Черного моря открыл ему глаза на важные вещи. Бесконечные ночные дискуссии, то и дело переходящие в яростные споры, показывают, что народ пробуждается. Все хотят быть самостоятельными. А Москва уже растеряла вожжи. И ничем фактически не управляет. Так, ситуацию можно обозначить просто: «Кто в лес, кто по дрова!»

«Впереди съезд. И если я выставлю свою кандидатуру на должность первого секретаря, никто уже не сможет вмешаться, как раньше. Запросто пройду. В ЦК меня ребята уважают. Казахский я знаю. И язык у меня подвешен хорошо. Говорить я научился. А сейчас это ой как нужно. А главное, я среди них самый смелый. Самый харизматичный. Да и связи есть. Дядя Марат высоко поднялся на волне перестройки. Поможет. Правая рука он у Назарбаева.

Пришло мое время! Все они, эти номенклатурщики, жмутся ко мне, как стадо овец жметя к пастуху, когда чует вокруг волков. А это главное. Теперь я фактический вожак молодежи нашего аппарата. Выберут как миленькие. И тогда не надо будет шептаться за спиной у нынешних. Сам буду бичевать всех с трибуны.

Волна идет. Национальная волна, — думает он, образно представляя море. — И эта волна поднимет нас. А этот нынешний первый секретарь, которого тогда, после событий, привезли из Павлодара, уже спекся. Кончилось его время. Так что Москва за него уже не заступится!»

Вдохновленный сошедшим на него пониманием такой перспективы, Амантай Турекулович соколом взлетает по красной дорожке, ведущей в столовую санатория.

«Кончилось ваше время! — думает он, встретив в зале первого секретаря ЦК ВЛКСМ товарища Мишина. — Теперь мы сами будем банковать и управлять процессом. Что бы вы там ни говорили».

Но при этом он радостно улыбается. И на согнутых, подскочив к

начальству, обеими руками пожимает протянутую узкую ладонь. А рот уже сам выговаривает:

— Как хорошо вы вчера сказали о наших проблемах!

* * *

Вернувшись домой, он начал готовиться к этому знаменательному событию. Его рука побывала во всех руках. А губы приблизились к каждому нужному уху. Слова «суверенитет, самостоятельность, фракция, руководство, одобряем» так и летали в воздухе, лаская слух и возвышая собеседников в собственных глазах.

VI

Отсюда, с чердака, двор Абдукарима был виден как на ладони. За высоким глухим забором, охраняемым злыми кавказскими овчарками, он был недосыгаем для проникновения. Но открыт для обозрения.

Дубравин достает из новенького, пахнущего свежей коричневой кожей футляра черный морской бинокль. Подкручивает колесико наведения. И ахает. Весь двор засыпан большими разноцветными денежными купюрами, как опавшими осенними листьями. Асфальт, крыльцо, машины, столы залеплены сторублевками. Деньги висят и на развешанных по двору бельевых веревках. Аккуратно прищипленные прищепками купюры, как сухие листья, чуть колеблются под легким ветерком.

Дубравин, присвистнув, передает бинокль черноголовому, пухлощекому соседу Абдукарима.

— Это что у него? — почему-то шепотом спрашивает тот.

— Наверное, прорвало канализацию или водопровод. И залило его запасы денежных знаков. Вот и приходится сушить, — объясняет он ситуацию потрясенному соседу.

«Так кто же он такой, этот скромный заведующий производством одной из Талгарских столовых?»

На этот вопрос ему еще только предстоит ответить... Он спускается по хлипкой деревянной лестнице с чердака и идет к машине, где ждет его верный водитель Сашка Демурин.

— Давай поедем на кладбище! Говорят, он построил сам себе огромный памятник.

На кладбище Дубравин вторично испытывает потрясение. Начальник элитного погоста долго не хочет показывать заезжему корреспонденту воздвигнутый из цельных коричневых глыб мрамора, бронзы, позолоченный где только можно, обнесенный литой чугунной решеткой пантеон.

Но настырный корреспондент не отстает. Лезет в кладбищенские записи. Хочет знать, кто где похоронен. Так что приходится вести его на место.

Между скромными могилами матери Кунаева и сестры первого секретаря алма-атинского обкома партии Аухадиева привольно раскинулись семейные захоронения Людоеда, как прозвали Абдукарима его жертвы и подельники. Тщательный осмотр, фотографирование, измерение этого шедевра архитектуры привели Дубравина к мысли: «А

нельзя ли оценить его стоимость? Хотя бы приблизительно».

Пришлось ехать за специалистом из кладбищенской конторы.

Тот оценил сооружение в пятьдесят тысяч рублей. Чудовищная сумма по тем временам.

«Откуда такие бабки?»

И почему на гранитном памятнике сыну Людоеда, который по официальной справке умер от воспаления легких, выбита странная надпись: «Унесла тебя вражеская пуля»?

Вопросов больше, чем ответов.

И корреспондент начал углубляться в историю подпольного миллионера Абдукарима, как Остап Бендер в историю Корейко.

А вывели его на это дело друзья. Дело в том, что Солома, с которым он когда-то вместе служил в армии, человек с обостренным чувством справедливости, стал адвокатом. Так вот получилось. Вернулся из армии. Поступил в университет. Поработал какое-то время следователем. А потом подался в адвокатуру. Почему? Да потому, что дело это было ему по душе. Во-первых, он мог что-то сделать для тех, кого гнула и судила система. Добиться справедливого решения. А во-вторых, у него был свободный график работы.

Не надо каждый день к восьми утра вскакивать с кровати и нестись на службу.

Изредка они встречались. Вспоминали армейских друзей. Выпивали водки. Но когда в стране начались инициированные сверху движения и наступила эпоха гласности, у них появились и общие дела.

До сих пор в Советском Союзе всякая информация о преступности, судебных делах и заключенных строго засекречивалась. И достать ее было очень сложно. Теперь же Дубравин одним из первых журналистов в стране получил прямой доступ к уголовным делам. Солома ввел его в круг следователей, оперов, судей, адвокатов, прокуроров. В тот круг людей, которые, собственно говоря, и составляют правоохранительные органы. Он познакомил его со своим ближайшим соратником Сашкой Розенцвейгом. И тот стал подбрасывать журналисту интересные и необычные темы, объясняя все хитросплетения слепой Фемиды.

Розенцвейг — человек по характеру вьедливый и вредный. Потомственный юрист. (Его отец был начальником уголовного розыска республики.) Почему-то он тоже ненавидел систему, из которой сам и вышел. Так сложилось это трио, не дававшее спокойно спать правоохранителям республики. И постоянно возбуждавшее общественное мнение.

Но до нынешнего Дубравин чаще всего брал готовые дела. Вместе с ребятами разбирал тамошние несурезицы и нестыковки. А потом делал публикации. В нынешнем же случае он, что называется, зашел за флажки. Начал вести собственное журналистское расследование.

До сих пор в Советском Союзе не было ничего подобного. Чтобы журналист шаг за шагом, день за днем двигался по ниточке, по крохам собирал факты и фактики. И неуклонно шел к сенсационному в те времена выводу. О существовании мафии. О переплетении ее интересов с интересами правоохранительных органов.

А началось все довольно обычно. Пришел как-то Розенцвейг к нему домой. И привел с собой одного мужичка. Мужик как мужик. Видно, тертый. Много чего повидавший. И как обычно, желавший найти правду. Представился он Сергеем Сониным. И рассказал, что у него важное дело.

— Я кооператор. Торгую мясом. Занимаюсь лесом. Но тут на меня недавно напали бандюки...

Бандиты схватили его у дома. Связали. И вывезли на кладбище. На собственной машине. Там стали бить. И приговаривать:

— Ты должен нам заплатить! А не то тебя убьем! А машину сожжем.

Стали обыскивать светлую «Волгу». Забрали кошелек. Нашли в багажнике топор.

Четырежды судимый Шамиль Нартымбаев достал его. И подошел к жертве.

Сверкнуло лезвие. Но удар только скользнул по груди Сергея. Оцарапал кожу. Он рванулся. Порвал веревку. И бросился бежать. За ним погнались. Но не догнали...

...В полночь во дворе дома Сонины скрипнула калитка. Две тени мелькнули за окном. Раздался стук в дверь. Это снова пришли те двое.

Грабить. И вымогать деньги.

Хозяин дома, услышав под окном крики и поняв, что в одиночку ему с ними не справиться, побежал за подмогой к соседям.

Бандиты выломали раму и через окно влезли в дом, где остались жена и двое детей. Зашли к ним.

— Вашего отца мы убьем! Он нам денег должен! Выпустим ему кишки! — кричал Нартымбаев, размахивая огромным мясницким ножом. — Мать изнасилуем. Дом и машину сожжем!

Пятилетний маленький Саша плакал и просил:

— Дяденьки! Только не сжигайте мои игрушки!

Дяденьки весело смеялись. И обратились к жене «должника»:

— Пусть твой мужик заплатит нам столько и еще два раза по

столько, — Нартымбаев татуированной рукой вытащил из кармана тысячу двести рублей. Показал. — А то украдем детей. Тебя пустим в круг. Это дело уже решенное.

В ту ночь они приезжали еще дважды. Искали детей, спрятанных у соседей. Вместе с ними в машине был старший оперуполномоченный уголовного розыска.

Чем дальше Дубравин углублялся в это дело, тем больше вопросов возникало. Почему, например, бандиты совершенно безбоязненно в течение двенадцати часов четырежды приезжали к дому Сонины?

Что скрывается за «дружкой» оперов с рецидивистами?

Почему при аресте они заявляли милиционерам: «Вы только отпустите нас сейчас. А там мы вывернемся! Мы же только исполнители! За нами стоят люди!»

Вот эти «люди» и заинтересовали Дубравина.

* * *

Живет на свете тихий семьянин. Всю жизнь работает на скромных должностях: буфетчиком, рубщиком и продавцом мяса, экспедитором. Но ездит на «Волге». С шофером. И на бензин тратит больше, чем зарабатывает. А известен он в кругах торгашей и кооператоров под кличкой Людоед.

Как-то так у него получилось, что платят ему дань все в районе. И о жадности его рассказывают легенды. А о богатстве — былины.

Дубравин долго подыскивал слово, которым можно было обозначить сложившуюся из хаоса обрывочных сведений, недомолвок, намеков, фактов и фактиков картину. Пока наконец не пришло на ум только что появившееся в обиходе у кооператоров новое слово «крышевать». То есть держать «крышу» над бизнесом. Ну а вслед за этим новым термином вылезали слова, явившиеся к нам из-за рубежей нашей родины, — «мафия» и «рэкет».

«Вот что значит правильно употребить нужные термины!» — думает Александр Дубравин, направляя бег своей казенной «Волги» к Министерству внутренних дел, где у него должна состояться встреча с начальником уголовного розыска республики полковником Артеменко. — Все сразу стало на свои места. Все понятно. Абдукарим-Людоед — авторитетный предприниматель, обложивший данью торговцев с рынков и точек общепита. Бандюки вместе с операми работают на него, собирая деньги и долги. Руководство милиции получает свою долю с этого рэкета.

Вот и сложился пасьянс. Все стало на свои места. Только я с этим

парнем Сергеем Сониным не вписываюсь в схему. Впрочем, руки у них коротки еще... Хотя... Впрочем, и этот Сергей тоже явно не прост. Что-то у него не совсем чисто. Какие-то у него с Абдукаримом дела и счета существуют. Свои счета. Но факты — вещь упрямая. Бандюков наслал он... Ладно. Разберемся. Не впервой. Зато какая заметка может получиться. Никто еще из нашего цеха так глубоко не копал...

Артеменко, подтянутый, в штатском костюме, вкрадчивый, как кот-мурлыка, — сама предупредительность. Начальник уголовного розыска угощает корреспондента чайком. И расспрашивает о жите-бытье. Они уже были знакомы. И полковник не раз комментировал на страницах газеты какие-то громкие дела и события.

Пока тянется привычный треп о том о сем, Дубравин, допивая густой, слишком густой и горький чай, настойчиво думает: «Черт возьми, уж, наверное, он меня не за этим позвал. Может, хочет скинуть в прессу дело банды Чиванина? И просто не знает, как к нему подступиться? А дело интересное было!»

Но оказалось, что он ошибся. Главный борец с уголовной преступностью наконец замечает как бы ненароком:

— Много вы нас критикуете! То напишете, что человек, бывший в розыске, на самом деле никем не разыскивался. То вспомните о промашке с арестом Картанбаева! Теперь-то что готовите?

Дубравин по своей молодой, хвастливой запальчивости возьми и ляпни:

— На то и щука в реке, чтобы карась не дремал! Артеменко аж рассмеялся:

— Это кто ж, получается, щука? Не вы ли?

— Журналисты, которые выносят сор из избы, — поняв, что сказал лишнее не подумав, поправился Дубравин.

— Ну-ну! — Артеменко, который лет двадцать отработал на оперативной, видимо, подивился нахальству мальчишки-журналиста. Но не стал развивать эту тему. А просто перешел к делу: — А что вам удалось собрать об Абдукариме?

Дубравин в надежде, что удастся разговорить полковника, коротко поведал тому о своих изысканиях.

— Ну вы уж сразу прямо-таки своими словами формулируете. Мафия! Откуда у нас мафия?! Мафия, она из экономики вырастает. А у нас для нее нет еще условий.

— Как же нет? А кооперация как поднялась! А узбекское дело? У нас автомобильное дело Карабаева, — заспорил Дубравин. — Деньги появились. Значит, появились и те, у кого их много. Вот бандиты до них и

добираются...

— Да мы тоже за этим Людоедом наблюдаем. Только ухватить его не за что. Уж очень осторожен, гад! Впрочем, я вас не за этим позвал. Дело в том, что на одной недавней встрече со своими близкими помощниками Абдукарим вспоминал о вас. Крутится, мол, вокруг да около корреспондент. Все выспрашивает да выслеживает. Вдруг что-нибудь разнюхает. И предложил своим людям захватить вас. Похитить. Вывезти за город. Посадить в зиндан. И допросить по всей строгости, чего вам от них надо...

Дубравин — парень не робкого десятка. Но от такой перспективы ему как-то стало не по себе...

Он постарался отшутиться по этому поводу. Но не смог. Поперхнулся. И почему-то закашлялся. Надо же такое удумать! Это все перестройка! Народ смелеет. А преступность наглеет.

Но, уже выйдя из кабинета начальника уголовного розыска, задумался: «Менты — они ребята хитрые. Любят всякие разные провокации. Может, они все это сами сочинили, чтобы я не лез в их дела. Чтобы на их участке не пасся. Мол, ходит тут. Думай теперь!

С такими ухарями держи ухо востро. Надо же! И совет дал: „Вы бы как-то более внимательно и аккуратно следили за всем, что вокруг происходит“. Если все так серьезно, дал бы охрану. Или пистоль какой! Советы давать все мастера...»

...Дома он прошел на кухню. Достал из ящика стола такой аккуратный, но тяжеленький топорик, который в его руках выглядел игрушечным. И положил его в дипломат. Хорошая вещица. И грозное оружие в крепких и умелых руках.

Несколько дней он, прежде чем выйти из подъезда к машине, тщательно осматривал местность вокруг. Но потом чувство опасности притупилось. И все пошло своим чередом.

Только топорик так и поселился в его дипломате. На всякий случай.

* * *

Второй звоночек прозвенел тоже неожиданно. Через пару-тройку недель.

Дубравин не любил советскую систему, в которой человек был винтиком огромной государственной машины. Ну не нравилась она ему! Не подходил этот режим к его свободолюбивому норову.

Как и тысячи других журналистов, он волею судьбы оказался на острие пера. И работал им, как штыком, расчищая дорогу какой-то новой, как ему

казалось, светлой жизни. Новому мышлению. Но результат всех этих трудов вышел неожиданный и нелепый. Народы, до сих пор мирно сосуществовавшие в «общей тюрьме», стали не менять свою жизнь и ее основы, а искать виноватых и драться между собою.

Ошалело наблюдал Дубравин и иже с ним за результатами перестройки. Благие пожелания, с которыми все они начинали это дело, обернулись дорогою в ад. И не только для некоего абстрактного советского народа. Но и для каждого из них лично. Уже к концу восьмидесятых они почувствовали, что пилят сук, на котором сидят. Еще шумел телевизор, выступали народные витии на многочисленных митингах и демонстрациях, а вокруг него начали, образно говоря, сгущаться тучи. Он чувствовал это собственной шкурой. Особенно когда приходил в ЦК комсомола. Ведь в недрах этой организации тоже шли свои процессы. А он был тут чужаком. Рукой Москвы. Ее представителем. Наблюдателем, если хотите. А хватка у этой руки слабела каждый день. Еще льстиво улыбались ему секретарши. Еще открывались двери. Но атмосфера неуловимо изменилась.

Пока журналисты были встроены в систему как подручные партии — система их защищала. Теперь же, когда они сами восстали против нее и принялись ее разрушать, защищать их стало некому.

На него ополчилась и новая номенклатура. Люди, получившие должности в ходе «перестройки — кадровой перетряски», уже не хотели новых перемен. И таких было большинство. Выразителем этой «национальной позиции» стал Амантай Турекулов. Его однокашник и бывший друг.

Надо же было такому случиться. На какое-то время он стал неформальным лидером аппарата и даже р-р-революционером.

Однако, прежде чем выдвинуть свою кандидатуру на очередном пленуме ЦК, он долго советовался с дядей Маратом. И как говорится, «получил отмашку».

Пленум не был бурным, потому что сторонники Москвы заранее поняли, что они проиграли. Проиграли навсегда. Так что избрали Амантая первым секретарем, можно сказать, не только единогласно, но и единодушно. Но сам этот торжественный акт возвышения надо было чем-то закрепить. Показать всем, что он самостоятельная фигура, не зависящая от Москвы. И самым подходящим объектом для этого стал Дубравин. Во-первых, он уже всех достал своими критическими статьями. Во-вторых, он номенклатура московского центрального комитета, но находится здесь на месте и пользуется благами, которые можно отнять.

Конечно, сам Амантай не будет озвучивать претензии. У него теперь

есть свои холоуи, которые выступят, как надо.

Так и сделали.

* * *

В этот раз Дубравина приглашали на пленум особенно настойчиво. И хотя ему было жалко напрасно потраченного времени, пришлось идти. Сидел он где-то в центре, в глубине зала. И не ожидал никакого подвоха. Слушал доклад секретаря по идеологии Серика Ахметова. Делал записи в блокноте. Но особо не заморачивался. Он уже давным-давно понял, что все, что здесь говорится, не имеет никакого значения, а сам комсомол не имеет никакого влияния на молодежь. Это просто бюрократическая структура, своего рода «аквариум», в котором собраны молодые, начинающие карьеристы, приспособленцы, подхалимы и лжецы. Поэтому все, что они говорят на своих сборищах, не более чем сотрясение воздуха. А вся их работа не более чем болтовня и создание мифов. Оттого он даже сразу не понял, в чем дело, когда сидящие впереди в зале «комсюки» начали оборачиваться и оглядываться на него. А сидящий рядом с ним молоденький русский лейтенант милиции спросил его:

— А где этот Дубравин, которого сейчас критикует выступающий?

— Дубравин — это я! — механически ответил с улыбкой Александр.

Сосед стушевался. И затих. А Дубравин стал прислушиваться к тому, что летело в зал с трибуны. А оттуда, как камни, падали в притихший зал слова: «Русский шовинист. Элемент, чуждый казахскому народу. Однобоко и тенденциозно освещает нашу действительность. Перестройку, которая идет в комсомоле и республике...»

Такого он, конечно, не ожидал. Видимо, он так допек комсомольских, да и не только комсомольских бюрократов, что они, обычно трусливые и ждущие только указок сверху, осмелились на такой неординарный шаг...

* * *

Уже утром следующего дня в корпункте раздался звонок. Дубравин побежал, поднял трубку: «Сволочь-корреспондент, скоро мы с тобой разделаемся, русская свинья...» И гудки-гудки...

А при выходе на работу в подъезде его ждала написанная мелом угроза во всю стену: «Дубравин, ты подонок! Убирайся в Россию!»

Он вернулся домой, взял у недоумевающей жены мокрую тряпку и старательно стер надпись. Но огромное грязно-белое пятно все-таки осталось на стене.

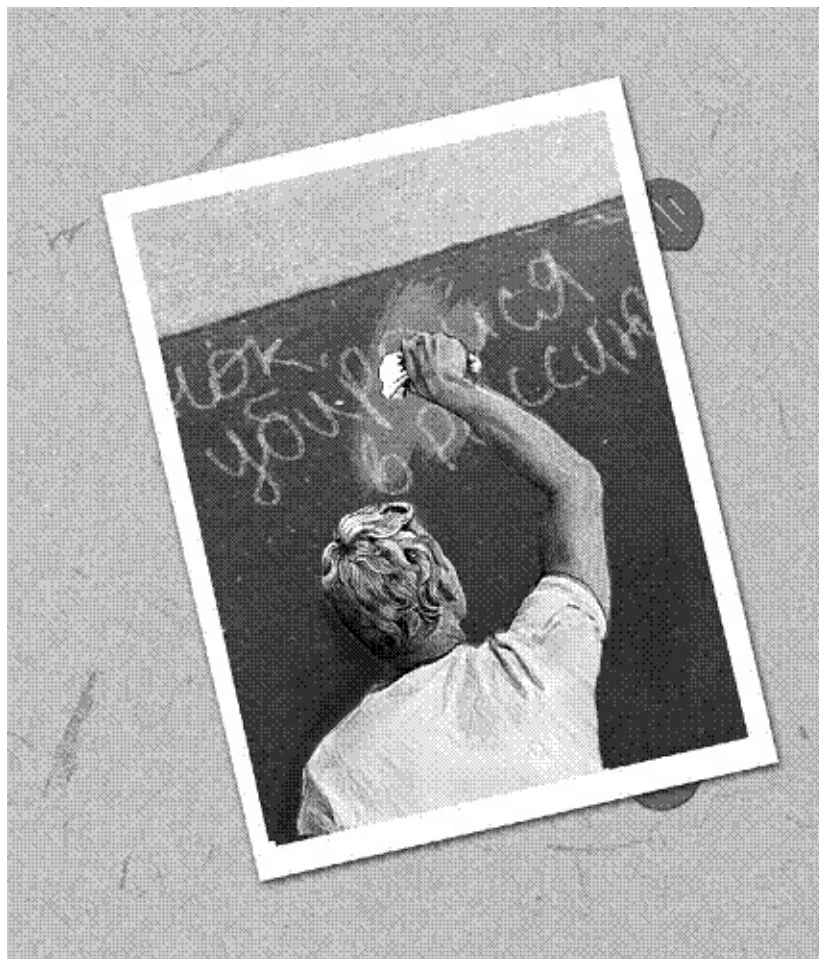
«Вот, значит, как получается! — Обида и гнев душили его, мешали

дышать. Он старается изо всех сил. Тянет их из застоя, открывает глаза. А они с ним так... — Ладно, я вам припомню...»

VII

Осень. Утро выдалось ясное, морозное. Белые от снега горы четко выделялись на фоне особой, нежной голубизны, которая бывает после снега или дождя. Листья с деревьев еще не опали, а только пожелтели, покраснели, забурели. Будто кто-то прошел по городу с акварелью. И враз изукрасил кроны деревьев. А теперь они стоят в раздумье: то ли готовиться к зиме, то ли надо подождать, не вернется ли тепло? Благо солнце светит, а воздух чист, звонок и прозрачен.

В такое утро и грохот трамвая воспринимается как музыка. Но Казаков вышел из дома злым и недовольным всем на свете. Вчера вечером звонил Юрий Бендюк из управления. И сейчас ему предстоит разговор, который поднял в душе сомнения и заставил его долго, почти до самого утра ворочаться в постели, так и эдак прикидывая возможные повороты этого дела.



По улице промчался неожиданный порыв ветра. Листья с ближайшего дерева сорвались и полетели вдоль нее, словно стая испугнутых птиц. Казаков проводил их взглядом. И заметил Дубравина. Тот уже стоял у перекрестка. Зябко ежился в легкой курточке.

Анатолий Казаков совсем недавно вернулся в город после длительного отсутствия. И всем знакомым просто говорил, что был в командировке. На самом деле после ранения долго лежал в ташкентском госпитале. А потом долечивался в санатории в Кисловодске. Теперь вернулся в управление. И снова начал заниматься рутинной, каждодневной работой. Совещания, встречи с агентами, сбор оперативной информации. И справки.

Но обстановка вокруг за время его отсутствия радикально изменилась. Нарастает напряжение. Недовольство перестройкой. Растут националистические настроения в обществе.

Но главное, изменился он сам. Афганистан въехал в его судьбу неожиданно и беспощадно. Заставил думать о многом.

Военные, они ведь как дети.

Их отрывают от жизни. Несколько лет учат в закрытых учебных

заведениях. Потом они находятся в гарнизонах, где течет раз и навсегда определенная жизнь. Поэтому, попадая в непредвиденные обстоятельства гражданской жизни, они часто теряются. Не могут найти свое место. Ломаются.

А тут перестройка. Гласность. Война. Бушуют страсти. С экранов телевизоров витийствуют какие-то новые, неведь откуда появившиеся люди. Демократы. Голову сломаешь, когда задумываешься обо всем этом. Как относиться ко всему? На чьей стороне правда? Этому ни в «вышке», ни на курсах его не учили.

А борьба разгорается нешуточная. Вот и вчера они с майором Юрием Бендюком обсуждали неожиданный вопрос — спасение корреспондента Дубравина, который сильно достал местных доморощенных националистов.

Сведения добыты оперативным путем. Опытный агент-информатор под оперативным псевдонимом Дан-ко, завербованный еще в восемьдесят шестом, сообщил своему куратору, что некая группа националистически настроенной казахской молодежи планирует нападение на корреспондентский пункт. Сначала они просто звонили неуголному журналисту по телефону. Угрожали: «Сволочь. Мы тебя убьем!» И бросали трубку. Потом стали писать оскорбления в подъезде. Но, поняв, что толстокожего упрямого Дубравина этим не испугаешь, решили организовать нападение на корпункт. Узнали квартиру, где живет журналист. Выяснили, что он часто принимает людей у себя в кабинете. И постановили: под видом таких обращенцев войти или ворваться в квартиру и разделаться с «русским шовинистом», чернящим народ Казахстана.

Если бы такое случилось, разразился бы грандиозный скандал. Нападение на корпункт центральной газеты посреди бела дня — это что-то невиданное и неслыханное доселе.

Так что руководство управления решило предотвратить такое развитие событий путем секретной операции.

Собкора Дубравина и его семью решили на время вывезти. Спрятать где-нибудь в надежном месте. Устроить в корпункте засаду. Повязать, задержать нападавших. И восстановить статус-кво.

Но секретные операции — они на то и секретные, что никогда никто прямо не говорит о том, что происходит на самом деле. Пришлось придумывать легенду прикрытия. И с этой легендой отправить к Дубравину для лучшего контакта его старого друга, старшего оперуполномоченного Анатолия Казакова.

Вот и встретились они в районе КазГУграда. Пошли гулять по длинной

аллейке. И разговаривать. Вернее, говорит Анатолий, а Александр сначала молча слушает его.

— Здорово! Сколько лет, сколько зим! Обнялись, хлопая друг друга по спине.

— Слушай, Шурык! — он так и произносит его имя «Шурык». — Дело есть!

— Ну-ну!

— Тут ситуация такая складывается, — начинает вдохновенно излагать легенду Казаков. — В вашем доме, в твоём подъезде, но ниже этажом живут, скажем так, люди, которые нас очень интересуют. Ну, определим их мировоззрение, как, скажем, казахский национализм. Люди, очень высоко стоящие на социальной лестнице. Авторитетные. У них послезавтра дома какое-то собрание. И как нам известно, там будут обсуждать разные интересующие нас темы. Наши ребята хотели бы в это время побыть у тебя наверху...

Казаков знал, что Дубравин терпеть не может «наци», и был уверен, что тот даст согласие.

Александр задумался. Испытующе, внимательно поглядел в изможденное, желтоватое лицо друга. Уж кто-кто, а он знает Анатолия как облупленного. И детство, и юность прошли вместе. Так что закралось в душу сомнение. Что-то не так было в гладкой речи Казакова. Но Дубравин не стал развивать тему. Не до этого. И без того тошно.

— Ладно! А куда ж я свое семейство дену? У нас ребенок маленький, а тут чужие люди. С аппаратурой небось.

— А давай мы их отвезем к нам в санаторий. На пару дней. Там им будет спокойно.

Казакову тоже слегка неловко обманывать друга. Но он успокаивает себя тем, что это нужно для самого Шурки. Зачем ему знать лишнее? Хотя, конечно, их легенда не выдерживает никакой критики с точки зрения технической и шита белыми нитками с точки зрения логики. Ведь намного проще установить «жуков» в самой «плохой квартире», чем пытаться прослушивать «наци» через пол и толстенный слой бетона. Но так уж легла фишка.

Странная штука жизнь. Дубравин, который в своих статьях беспощадно долбил советскую систему, сейчас оказался по одну сторону баррикады с теми, кто ее должен был защищать. И инстинктивно, «по крови» они с Казаковым близки друг другу, так как оба понимают, если Союз пойдет вразнос, то им всем непоздоровится. И диссидентам, и гэбистам. Потому что счета будут предъявляться не по социальному, а по национальному

статусу.

— Ты так сильно изменился, Толян, — уже в конце разговора Дубравин спросил друга. — Что с тобой случилось? Весь худющий. Желтый какой-то. Болеть, что ли?

— Потом когда-нибудь расскажу! — торопливо свернул разговор Анатолий. И скользнул взглядом в сторону, заметив в Шуркиных глазах любовь и жалость.

Не принято у них, у настоящих мужиков, открыто проявлять свои чувства. Вот и стараются скрыть их за иронией или грубоватой маской.

На следующий день, туманно намекая на некие обстоятельства и стараясь не напугать до смерти жену, Дубравин уговорил ее переехать на денек-другой с квартиры на дачу КГБ в предгорьях Алатау.

Что они благополучно и сделали.

По возвращении «святого» семейства на постоянное место жительства он позвонил в Москву редактору отдела корреспондентской сети Алексею Пестрову. И, стараясь не сгущать красок, а даже с неким юмором, рассказал о том, до чего довел лично его курс на гласность, перестройку, критику и самокритику.

Пестров его юмор не оценил. Он, много повидавший и знающий порядки получше молодого и борзого Дубравина, понял, что «срок годности» корреспондента в данном регионе истек. Против него ополчились и мафия, и номенклатура. Судя по всему, «достал он до печени» и местных националистов. Как говорится, враг был нужен. Враг был найден.

VIII

«Пук! Пук! Пук!» — раздались хлопки выстрелов. А потом шипение спускающих шин. Джип дернулся еще пару раз в грязи. И застыл посреди сырой лесной поляны. Осторожно открылась задняя дверца. И оттуда выглянула взлохмаченная человеческая голова. Погоня закончилась там, где он и рассчитывал. В лесном тупике, на березовой опушке, где стоит постоянная сырость и свалены в кучу отжившие свое трухлявые стволы.

Они загнали «гостей» на своей полноприводной «таблетке» прямо в это гиблое место. А для верности, чтобы не вздумали идти на таран, прострелили им колеса.

Короче, все путем! Но теперь предстоит самое сложное. Контакт с бракашами. А с ними договориться едва ли не сложнее, чем с

инопланетянами. Сейчас самое главное — вовремя определить, что за люди на этот раз встретились им в лесу.

Они все трое вышли из машины. Он чуть впереди. А за ним слева и справа егеря. Василий Кудреватых — огромный, широкий, с руками, как лопаты, — и длинный, сухой Иван Подойбало. Все трое в форменных куртках с необходимыми знаками различия лесной охраны. Официальные и торжественные. В общем, процесс пошел...

Из джипа с тонированными черными стеклами, дружно хлопая дверцами, вывалились четверо с разномастным оружием. Самое главное, сейчас, в первый момент, правильно определить, кто они.

— Здравствуйте! — со значением в нос произнес Озеров, стараясь не нажимать, не накатывать на бракашей. Мало ли кто перед ним. Может, генерал, может, районный или областной начальник. Может, бандит. Народ нынче пошел — тихий ужас. Законов никто не блюдет. Особенно эти новые русские. В малиновых пиджаках и с распальцовкой. — Ну что, застряли? — как бы даже с сочувствием, вглядываясь в лица троих «охотников на привале» (четвертый, видимо, водитель), спросил он.

«Понятно, судя по модным туфлям и прикиду, они прямо с вечеринки. Пили вчера где-нибудь в Москве в кооперативном ресторане. А потом спьяну решили: махнем на охоту. Вот и прибыли сюда. В наш заказник. Недалеко от столицы. Чего же не пострелять. Только не ожидали они нас. Типажи еще те. Особенно вон тот черноглазый носатый. Кавказец, что ли?»

Задача его людей — изъять оружие, составить протокол, выдворить незваных гостей из их леса...

* * *

...Из Казахстана они выбирались долго. Пока нашли место районного охотоведа в Тульской области. Пока договорились с местной властью, собирали вещи, закладывали контейнеры, а время шло. Страсти разгорались. Раньше они, русские, чувствовали себя в любом уголке страны ну если не хозяевами, то, во всяком случае, людьми первого сорта. Представители великого народа, принесшего цивилизацию, культуру. Теперь же уже и до лесных чащоб дошли новые веяния. Колонизаторы, мол, вы! Поругали благостную, распрекрасную жизнь кочевников. Съели мясо. Уничтожили язык. Исказили историческую память. Так что назревали, судя по всему, большие события. И куда все покатится? Непонятно. Поэтому не только к сестре, но и от греха подальше уезжал он в Россию. На историческую Родину. Это слово теперь такое модное стало.

Россия. Раньше его как бы и не было. Был Советский Союз. И еще Российская Федерация. А вот недавно появилась Россия. Родина.

Заговорили о ней. Запели. Затосковали. Потому что теперь они чужие там.

Удивительное дело. Вот русские они. Приехали из Казахстана. А сразу вписаться в местную жизнь уездного городка не получилось. Долго к нему приглядывались людишки. Что за такая птица гусь к нам прилетела с далекой окраины великой империи. Тем более что народишко сначала пришлось погонять по лесам. Уж больно шалил он в заказнике. Браконьерничал.

А как иначе? Кургальджино — место отдаленное. Не каждый доберется на старом «Москвиче» или «копейке». А здесь лес рядом. Вокруг него деревни. А в деревнях мужики с ружьями.

Привыкли, что лес — их дом родной. До Москвы рукой подать. Оттуда частенько наезжают начальнички. Им, значит, можно? А нам нельзя! «Не-а!» — отвечает он.

И пошла в скором времени о нем дурная слава: «Охотовед новый ну просто зверь! Ни днем ни ночью от него покоя нетути. Лютует! Добрых людей хватает».

Короче, заработал он себе отчаянную репутацию. Но понимал, что в одиночку ему не управиться. Ибо народ тоже кушать хочет. И вот что он удумал. Собрал как-то у себя всех самых знатных браконьеров. И молвил такую речь:

— Мужики! Вы люди серьезные. Охотники важнейшие. Все тропы знаете. Повадки звериные постигли. А то вам неведомо, что зверь у нас на убыль идет. Потому как перестройка, гласность, ускорение, с одной стороны, довели народ до ручки. А с другой — власть в своих либеральных начинаниях ослабела. И в связи со всем этим в лес потянулись все, кому не лень. В том числе и такая дрянь, как новые русские в малиновых пиджаках и с цепями на шее. Если так дальше пойдет, то живности в нашем лесу вообще не останется. Никакой. А так как и вы, и я живем с этого самого леса, то я вот что предлагаю...

И вот что получилось у Володьки Озерова. Взял он на работу егерями всех браконьеров из окрестных деревень. И вместе с ними стал защищать от разграбления заказник. Для того чтобы сохранить его как источник жизни для себя и своих семей.

Так вот и сегодня получилось. «Залетные» на большом джипе еще не успели выстрела сделать, а ему уже доложили добрые люди, что кто-то «безобразничает в нашем лесу». Ну а дальше все понятно. Вскочил он с

теплой кровати. Надел быстро свой зеленый лесной мундир. Прихватил скорострельный карабин. И вместе с Василием и Иваном дал ходу. В лес. Загонять нового зверя.

Несмотря на все его старания, разговор с «охотниками» начинается на повышенных тонах.

— Да ты знаешь, кто мы такие?! Кого мы знаем! Да если я завтра позвоню Ивану Петровичу, что ты меня тут задержал! Да еще и стрелял в колесо моей машины, тебя завтра же уберут с этого места, — не переводя духа, напирает и куражится лысый пузатый мужик в светло-синем спортивном костюме «Адидас», видимо, главный среди этих горе-охотников.

Но Володька Озеров знает, что даже если они знакомы с Иваном Петровичем — это ничего не значит. Потому как Иван Петрович выручать их не будет. Нужные Ивану Петровичу люди появляются по-другому. Он сам звонит ему, Володьке. И говорит: «Так, мол, и так, дорогой! Там приедут к тебе завтра человечки от меня. Ты им покажи, что да как. Пусть кого-нибудь стрельнут...» Ну и так далее...

И никакому Ивану Петровичу абсолютно не понравятся все эти самодеятельные наезды на его владения.

Но главное сейчас — не поддаваться на провокацию. Не вступать в беседу на повышенных тонах, которая как бы уравнивает их и может закончиться неизвестно чем. Он представитель власти в этом глухом лесу. И это его лес. И это его люди стоят сейчас позади него с оружием наготове. И это не первые желающие поживиться на этой деланке...

Ему надо держаться строго, но спокойно. И сначала добиться, чтобы они предъявили свои документы. Если, конечно, таковые имеются у них вообще. И главное, в отличие от браконьеров он знает, что надо делать.

— Я попрошу вас предъявить ваши документы! Свои и на оружие, — твердо говорит он, поправляя ремень скорострельного карабина...

* * *

Уже возвращаясь домой на своей полноприводной «таблетке», он молча поглядывает на трофейное изъятое оружие и размышляет: «Да, это и есть самая настоящая борьба за выживание. Как и тысячу, и миллион лет тому назад. Мы бьемся за свои охотничьи угодья. А другие за свое место. За фирму. И так везде и всюду. Просто у нас все зримо. Натурально. Не завуалировано, как в других сферах. Там все опосредованно. Интересы скрыты. Деньги, вещи. Должности. Звания. А суть-то одна. Иметь больше корма. Создать лучшую долю для себя и своего потомства».

...Дочки, словно чувствуя что-то, выбежали на крылечко в ожидании отца. И пока он медленно вылезал из-за руля затормозившего рядом с домом автомобиля, пока доставал из кузова браконьерские ружья, внимательно и тревожно глядели на него. Но только он ступает на скрипящие деревянные ступеньки, бросаются к нему. Он обхватывает их. Обнимает, вдыхая родное тепло и чувствуя тонкие косточки позвончиков девчонок. Жена выскакивает навстречу со слезами на глазах. Лопочет что-то, причитает по-бабьи о том, что надо себя поберечь. Не связываться со всякими дураками. Он не спорит с нею. Просто обнимает. И радуется тому, что вернулся из сырого сумрачного леса сюда, в тепло. К тому, что вековечно из эпохи в эпоху называется семейным очагом.

И еще ему понятно, что за всеми этими охами-вздохами, причитаниями и советами, за всей этой женской белибердой ясно проглядывается вековечный страх потерять кормильца.

И он гордится собой.

IX

«Обложили, гады! Обложили!» — Алексей Пестров с утра пораньше уже дожидается главного редактора молодежной газеты Геннадия Птицына в буфете редколлегии, что располагается в самом конце длинного коридора знаменитого шестого этажа. Как раз напротив кабинета редактора.

— Валюша! Дай мне кофейку! — обращается он к буфетчице — толстой, не слишком опрятной тетке в синем рабочем халате с кудряшками и помятым лицом пьющего человека.

Необъятная Валентина зыркает на маленького тощего Пестрова неприязненным взором и, шмыгнув носом, отворачивается к плите, где у нее уже закипает кофейник.

Алексей усаживается в уголке буфета и думает о ситуации, сложившейся в Казахстане. Надо предлагать решение по Дубравину. «Остаться ему там нельзя. Значит, сюда. На этаж. Но к кому? В какой отдел приглашать строптивного собственного корреспондента? Это надо смотреть по вакансиям. Ну и по работе. На кого он пахал больше всех? Получается по справке, на отдел морали и права. Значит, надо поговорить с Ольгой Петренко. Ей и карты в руки».

Валентина, покачиваясь, подносит на подносе чашку черного-пречерного кофе и молча ставит на поверхность стола.

«Опять вмазала, — неприязненно думает Пестров, осуждая ее. — С утра уже начала набираться. И когда ее отсюда уберут? И хамит. И пьет. И докладные на нее все время пишут. А ей хоть бы хны. Говорят, что она обсчитывает. Спекулирует дефицитными заказами, что иногда привозят сюда в издательство. А ничего не сделаешь. Торговая мафия. Обнаглела совсем!»

Действительно, интеллигентная публика закрытого для всех, кроме членов редколлегии, буфета люто ненавидела эту хамоватую, неопрятную представительницу торговли. Но поделаться с ней ничего не могла. И скрывала эту неприязнь за учтивым лицемерием, только изредка опускаясь до лъстивости. Это когда срочно требовались какие-либо продукты. А они требовались постоянно. Снабжение Москвы становилось из года в год все хуже и хуже.

В этот момент за открытой дверью в коридоре раздается звон ключей и чьи-то шаги. Алексей оставляет кофе остывать на столе и устремляется к выходу, посчитав, что пришел главный. И точно. Это он. По-хозяйски звенит ключами, открывая дверь. Здравуются.

— Ко мне? Что-то срочное? — спрашивает Птицын, плотный сорокалетний мужчина с таким же жестким определенным лицом. Прямо не редактор либеральной молодежной газеты, а директор какого-нибудь оборонного завода.

— К вам, Геннадий Николаевич! Надо! — коротко говорит Пестров. И твердо и уверенно идет за редактором, понимая, что если не удастся поговорить сейчас, то судьба Дубравина может зависнуть надолго. И будет она неясной до тех пор, пока что-нибудь не случится из ряда вон выходящее.

В общем, редактор отдела корреспондентской сети действовал по принципу «куй железо, пока Горбачев». Птицын оценил его решительность и кивнул:

— Заходи!

В большом и добротном обставленном кабинете редактора Пестров скромно усаживается на стуле у приставного столика. Но Птицын предлагает ему пересесть за большой, длинный полированный стол для совещаний. А сам устраивается напротив. И закуривает:

— Ну, что у тебя, Алексей Васильевич?

— Да дело о нашем собкоре в Казахстане. Я уже вам докладывал в прошлый раз. После той публикации. О мафии. Теперь на него ополчились местные власти и недобитые националисты. Он уже вынужден скрываться...

— Да, да! Помню. Как его фамилия? Дубанов, что ли?

— Дубравин, — поправил редактора Пестров.

— Вчера был в горкоме партии. У этого нового секретаря, — вдруг заговорил редактор, видимо, о том, что его волновало намного больше, чем судьба казахстанского собкора. — Ну и дурак же, я вам скажу... Настоящий партийный бюрократ провинциального разлива. Глаза выпучит: «А почему? А почему?» И орет. И что они все о нем? Такой передовой. К народу близкий. Этот почище будет бывшего...

Пестров молча выслушивает монолог, видимо накопивший у редактора. И ждет, когда разговор снова вернется к той теме, с которой он пришел. Ну да ясное дело. В каждой избушке свои игрушки. За свою долгую работу в центральной молодежной газете он уже немалое количество раз приходил с такими делами. И чем глубже становилась перестройка, тем чаще корреспондентов прессовали местные власти. И общественность национальных республик. Борьба с этим велась по-разному. Начиная от советов собкорам: «Лепите пирожки. Одну критическую статью. Одну положительную!» До окончательного решения собкоровского вопроса.

Перевода человека сюда, в Москву. Были еще и промежуточные стадии. Звонки главного местным бонзам. Попытки договориться об охране. И так далее. И тому подобное.

Сейчас крайний случай. Все уже перепробовано. И надо человека эвакуировать. Наконец главный выплеснулся. И успокоился. Так что Пестров снова взял инициативу в свои руки:

— Так как же будем с Дубравиным?

Птицын хотя и был выходцем из молодежных структур, но уже давно понял этику журналистов. И знал: своих сдавать на съедение ни в коем случае нельзя. Иначе потом никогда не дождешься от соборов острых, бьющих не в бровь, а прямо в глаз заметок. Люди должны знать, что их защитят. Сейчас, чтобы принять решение, ему просто надо знать меру опасности.

— Но конкретно, что они делают? Кроме угроз.

— Его поносили на пленуме ЦК как русского националиста. Отобрали служебную машину.

Главный аж присвистнул. Он-то знал трусливость комсомольских функционеров не понаслышке.

— Да, если они пошли на такую наглость, значит, он их допек! — Помолчал минуту. И спросил Пестрова: — Но куда его поставить? Вакансии у нас есть? А?

— Его надо к Ольге Петренко! В правовой отдел. Он на них и работал больше всего.

Главный поднял трубку внутреннего телефона и сказал секретарю:

— Маша! Поищи Петренко! Пусть зайдет ко мне. До редколлегии.

Приоткрылась дверь в заднюю комнату — комнату отдыха, и оттуда раздался робкий стук, а потом выглянула голова Вальки-буфетчицы.

— Я вам кофейку приготовила, Геннадий Николаевич! Вам сколько сахара положить?

На ее лице прямо-таки разлилась ликерно-приторная ласковость. Сама благожелательность... Пестрова аж передернуло.

Через минуту появилась Ольга Петренко — женщина-вамп с роскошнейшим бюстом и распущенными по плечам прекрасными белыми волосами. Не поймешь — то ли светская львица, то ли журналистка.

«Одно слово — стерва», — думает Пестров, увидев ее точеную фигуру в деловом сером брючном костюме.

Дальнейший разговор не был особенно длинным. Ольге Ивановне давным-давно нужен работник «на галерах». Человек, который бы торчал здесь, на этаже, ходил на планерки и летучки. Дежурил в типографии по

ночам. Отвечал на срочные письма. Правил бы авторские материалы. Короче говоря, пахал бы на отдел как папа Карло. И не задавал лишних вопросов. Дубравин идеально подходит для этой роли.

Так что через пятнадцать минут Алексей Пестров уже просит стенографическое бюро:

— Валя! Соедини меня с Алма-Атой!

* * *

Перед тем как покинуть Казахстан, Дубравин решил заехать на несколько дней к себе в Жемчужное.

Перелет до Усть-Камана был молниеносным. Поездка до райцентра тоже не утомила его. Ну а там рукой подать. И полно попуток.

Потрепанный, выдавший виды «ЗиЛок» остановился посреди дороги, не съезжая на обочину. Опустилось стекло. И оттуда высунулась радостная рожа его одноклассника Кольки Рябухи.

— Эй, корреспондент! Садись, подвезу! — крикнул он, обнажая в улыбке стершиеся раньше времени желтые зубы.

— Колька, ты че так раздался? — вглядываясь в располневшее круглое лицо одноклассника, заулыбался в ответ Александр.

Секунда — и он уже в пахнувшей табаком и бензином кабине. Почеломкались.

Колька тронул широченной, как лопата, рукой за ручку передач. И автомобиль, кряхтя всеми внутренностями, тронулся в сторону Жемчужного. Потекли вокруг привычные сельские пейзажи с лесополосами, желтоватыми полями и березовыми перелесками.

Деревенские перестроечные новости были неутешительными. Бессмысленность советской сельской захолустной жизни уже начала брать свое и над их поколением. Из рассказа Кольки вырисовывалась простая и безрадостная, как крик петуха на рассвете, картина. Все, кто остался, пили.

Так что главной новостью в этой безрадостной картине была смерть Комарика — Тольки Сасина.

Как только Рябуха сказал об этом, у Дубравина даже сердце упало.

— Господи, боже мой! — забормотал он. — Он же совсем молодой. Чуть старше меня. И как это он? Почему?

Это была первая смерть в их поколении. И она неожиданно и неприятно поразила его. Потом, через годы, они уже свыкнутся с тем, что то один, то другой их сверстник покидает этот мир. А сейчас все внутри его так и сжалось от тоски.

— Мужики-то всегда пили! — бубнил из-за руля, тупо уставившись на

дорогу, Колька, обильно посыпая свою речь матерщиной. — Плодово-выгодное по рубль ноль семь, червивку. Если денежки были — то водяру. Самопальную. А тут, когда пошла волна, все позакрывали. В магазине ничего нет. Ну кто на что подсел. Всякую дрянь. До стеклоочистителя дошли... А тут какой-то спирт появился. Наши его называют «Рояль». В общем, нету теперь нашего Толика. Дети остались... Сироты...

Дубравин уже не слушал его. Перед глазами одна за другой вставали яркие картинки детства. Их игры. И игрища. Вспомнился тот матч между «бараком» и «центром», где они впервые выиграли у его команды. А Комарик — маленького роста, весь в конопушках — никак не хотел смириться с поражением. Ведь он был заводилой. На баяне ли играть, на гитаре ли — везде главный, лучший. И вот нема его. Только мать-сыра земля сомкнулась.

«Оба-на. Как же так несправедливо получается?! — думал Дубравин, вспоминая короткую нехитрую историю Комариковой жизни. — Ему же еще жить да жить».

И, словно отвечая на его печальные мысли, из-за руля свое долдонил Колька:

— Ему все говорили: «Ты че делаешь? Загнёсси!» А он отвечал: «Буду пить! Сколько отмерено, столько и проживу!» Как будто и не хотел он больше жить. Будто жизнь ему в тягость. В неохотку. Словно устал он от нее.

— Да, брат! Такое бывает! — пробормотал в ответ Александр, вспомнив попутно Армению после землетрясения. «Но там трагедия. Стихия. А здесь покой. Тишина. Видно, что-то есть такое в людях, что заставляет их искать смерти. Что, он не понимал, к чему придет? Наверняка понимал! Но то ли не хотел жить, то ли не мог. Воли к жизни не было. Заряд кончился. Мотор не тянул. И пошел по дну. Червей кормить. Что же это такое? Воля к жизни. Вон старики. Уж как им досталось. Но живут же. Бьются о жизнь. Тянут. А эти...»

— А братья наши, немцы, чудят, — прервал его мысли Колька. — Знаешь, что решили? Решили, что нужна им своя, отдельная колонка, — с осуждением добавил он.

— Чего? Чего? — переспросил Дубравин. — Какая такая колонка? Водяная, что ли?

— Да нет! Им нужна своя отдельная земля. Район какой, где они сами бы всем управлялись. С хозяйством. Как в старину было.

— Фу, так это не колонка, а колония. Они же когда-то жили в Поволжье и на Кавказе колониями. Вот оттуда все и пошло. Автономии они хотят. У

нас в Казахстане сделать свою область. Или район. Понял?

«Поздно доходят сюда веяния. Уже все решили. Казахи им ничего не дадут!»

— Ну да! Вот оно, значит, как. С нами, значит, им плохо вместе-то?! — то ли с вопросом, то ли с раздражением заметил Колька, вписывая свое гремящее авто в крутой поворот дороги. — Вот оно, значит, как, — повторил он. — Малыми были. Никто и не интересовался нацией. Жили все вместе. А теперь немцы и те хотят особняком от нас жить. Ездили они в Москву. Валерка с Федькой. Ну, просить. Договариваться о колонне. Вроде их обнадежили.

— А как девчонки наши? Они-то чего? Кто где? — с тайной надеждой узнать что-нибудь новое о Галке спросил Дубравин.

— Девки? Кто где! Замуж повыскакивали в основном. Зинка Косорукова учителькой стала. В школе работает. Валька Лисикина в библиотеке у нас. Остальные зафинтилили кто куда. Всех и не упомнишь...

Жадно выпрашивал Шурка Дубравин мельчайшие подробности жизни деревни. А автомобиль быстро катился по знакомой дороге. В который раз возвращался Дубравин в свой родной Жемчужный. Можно сказать, к истокам своей жизни. К корням.

Возвращался, чтобы еще раз соизмерить расстояние, отделявшее его от места старта. Осмыслить пройденный жизненный путь. Понять себя. А значит, собственные ошибки. Сравнить свою жизнь с жизнью тех, кто остался здесь навсегда по причине слабости в коленках или просто элементарной лени души.

Это была все та же дорога, по которой он когда-то уходил отсюда навстречу восходящему солнцу.

Он ехал по ней. И удивлялся. Где-то там в его жизни происходило множество событий. Кипели страсти. Менялись обстоятельства. Приходили новые люди. Исчезали старые. А здесь будто время остановилось. И все застыло, уснуло. Как в сказке.

Дома были те же. Лица людей те же. Только старели они. И в свой срок переезжали из поселка на раскинувшийся рядом погост.

На крылечке обветшавшего родного дома никого. Только Джуля лениво закряхтел. И загремел кованой цыганской цепью. Тявкнул пару раз. А услышав его голос, замолк и ласково заскулил.

Приоткрылась дверка летней кухни. Выглянула заспанная голова матери.

— Шу-у-у-урик! Приехал. А мы спа-а-али!

Они обнялись. И Дубравин почувствовал, как от матери пахнуло чем-то

своим, родным, вековым, деревенским. Домом. Молоком. Навозом. Душистым сеном. И еще бог знает чем. Может быть, детством.

На шумок вышел оттуда же отец. Постаревший, чуть сгорбившийся, без переднего зуба, но такой же насмешливый человек с подковыркой.

— А, бродяга! — радостно улыбнулся он, расставляя в стороны худые длинные руки для объятий.

Дома все было по-старому. Только из большого дома старики переселились в летний. Чтоб меньше отапливать.

Сами они потихоньку старели. И как говорили, попросту «доживали».

Брат Иван пил, пил и пил. В воспитательных целях его переводили с одного места работы на другое. Так сказать, с постоянным понижением в должности. На пике своей сельской карьеры он работал шофером. Возил на ферму корма. Естественно, воровал их. И продавал односельчанам. На вырученные деньги покупал водку.

Потом его понизили. Поставили подменным шофером. Если кто заболел или запил вчерную, он на машине. А нет — иди в ремонтники.

Но и тут он не удержался. Перевели в скотники. Чистить навоз. Таскать корма. Самолюбивый Иван не выдержал унижения. И ответил длинным запоем.

Тогда его выгнали и с фермы. И он перешел на работу в соседний совхоз. В общем, так и бегал с места на место. Но слава Богу, два медведя в одной берлоге не живут. И он съехал из дома на казенную квартиру вместе со своим семейством.

У родителей появлялся только изредка. И всегда в доску пьяный. Последний его визит состоялся третьего дня. Поближе к вечеру прибежала и забарабанила в дверь соседская девчонка:

— Тетя Маруся, там ваш Иван. Шел, шел и свалился. Лежит у нас под забором.

Мать сначала махнула рукой. Да ну его, пьяницу. Отлежится. Протрезвеет. Но когда минут через двадцать прибежал соседский парнишка, не выдержала. Пошла забирать сына.

Иван лежал вниз лицом прямо у забора. Рядом лизал блевотину бродячий пес Черныш. Мать отогнала палкой животное. И принялась поднимать грязного, ободранного, описанного собаками сына. И тащить его домой. Под неприязненными взглядами соседей...

Очнувшись на следующий день, Иван устроил дома скандал. И с криками: «Куркули! Кулаки! Я вам покажу!» — убежал к себе. Поводом для скандала послужило то, что мать не дала три рубля на опохмелку.

Об этом Шурке за встречным обедом рассказал отец. Сухой, жилистый,

с белой щетиной на щеках и белыми бровями, он слегка шепелявил при разговоре из-за отсутствия передних зубов.

«Старость не радость!» — отметил про себя Дубравин, потихонечку разглядывая своих родных. Отец, как ни странно, не воспринял эту долгожданную перестройку, гласность и все прочие прелести нынешнего политического момента. Наоборот, он не ждал от них ничего хорошего.

— Старые мы с матерью. Все уже видели в этой жизни. Нам уже ничего не надо. Нам бы только газ в дом провести. И будем сидеть тихо. Ждать смерти.

Но когда разговор зашел о Шуркиной работе, оказалось, что он все читает. В курсе всех событий. И что еще более удивительно, знает все тонкости происходящего. И имеет свое собственное, оригинальное видение ситуации. Не ожидал, не ожидал младший Дубравин, что тут, в глуши, в деревне, его работяга отец так разложит ему все по полочкам, как не сможет ни один штатный столичный политолог.

Речь зашла о Шуркиной заметке «Что будет, если не договоримся?». В ней анализировалась ситуация с союзным договором, который ну никак не подписывался.

— Сынок! — отец отправил в рот кусок жареной гусятины, прожевал кое-как и продолжил разговор: — Вот ты пишешь о социализме с человеческим лицом. А ведь никакого такого социализма у нас не было и нет!

— А что же у нас тогда? Что мы столько лет строили? — уставился на него Шурка.

— Что угодно! Только не социализм. История просто повторилась. После октябрьского переворота Советский Союз быстро вернулся в состояние Российской империи.

— Это как? А идеология?

— Да при чем здесь идеология, сынок? Уже в двадцать втором году Россия снова вернула себе отколовшиеся республики. Грузию, Армению, Узбекистан, Украину, Таджикистан. Все, кроме прибалтийских. А после Второй мировой войны империя не только вернула утраченное, но и расширилась. То есть идеология была как бы новая. А практика во внешней политике была старая.

— Но ведь внутри страны все изменилось. Или не так?

— И внутри страны мы вернулись к прежнему типу правления. Имперскому. Фактически Сталин и его соратники вернулись к самодержавию. Да, завуалированному, да, на новой идеологической основе, но правил-то вождь самодержавно. Как любой царь или император.

Сам лично следил за всем. Вплоть до цензуры. Помнишь, Николай Первый был цензором у Пушкина? Так и наш тоже читал книги и смотрел фильмы прежде, чем выпустить их в свет. Что? Не так?

— Ну так!

— Но дело даже не в этом. Народ как жил? Ведь мы вернулись и к крепостному праву. Отсутствие паспортов. Прописка. Все как было до тыща восемьсот шестьдесят первого, когда царь-освободитель Александр Второй дал вольную крестьянам.

— Ну ты, отец, даешь! Сравнил! Хотя в чем-то похоже.

— Да не в чем-то, а во всем! Россия была страна крестьянская. И тогда. И в начале двадцатого века. Так что после революции семнадцатого большевики вернули крестьян принудительно на землю. Прижали их к ней. А потом и воссоздали разрушенные Столыпиным и его аграрной реформой общины. Теперь уже в виде так называемых колхозов. И заставили людей, как и в девятнадцатом веке, работать на барщине семь дней в неделю. А что, по-твоему, работа в колхозе за палочки бесплатно на государство чем-то отличается от барщины? По форме — да! А по сути — ничем!

— Ну подожди, отец, раньше же работали на барина. Бар-то больше не осталось.

— Ха! Ха! Ха! — четко и невесело засмеялся Алексей. — Их заменили советские чиновники. Аппарат, выродившийся за годы правления Сталина. Да и какая разница, на кого работать. Ведь и до тыща восемьсот шестьдесят первого были так называемые государственные крестьяне, формально не принадлежавшие господам. Ну а за неимением оных, мы все стали такими крестьянами. Название поменялось. А суть-то осталась. Суть в рабском труде. И отсутствии личной свободы.

— Но сейчас такого нет!

— А ты попробуй пожить без прописки! Или не работая! Что с тобой будет, сынок? Посадят тебя. Не сразу. Но посадят.

— Да, гладко ты излагаешь все, пап. А мы-то барахтаемся в терминах. Где мы? Кто мы? — Дубравин задумчиво погладил подбородок.

— Понимаешь, сынок, Маркса все изучали у нас! А понять не смогли. Ведь царская Россия не готова была стать на новый путь. Маркс писал, что первыми пойдут к социализму передовые капиталистические державы: Германия, Англия. А о России и речи не было. Отсталая страна, которая должна была пройти длинный путь развития капитализма. Она и вступила на него. После тыща восемьсот шестьдесят первого года началось поступательное развитие. Ленин даже в своей первой работе «Развитие капитализма в России» исследовал этот процесс. И пришел к

неутешительным выводам. Ничего, мол, хорошего ждать не приходится. Все должно идти своим путем. Эволюционным развитием. Оно и шло. В феврале тысяча девятьсот семнадцатого года Россия подошла к буржуазной республике. Самодержавие рухнуло. Дальше должно было начаться естественное капиталистическое движение вперед. Но тут, как черти из табакерки, выскочили экстремисты в лице Ульянова и всяких Троцких, Бухариных, Джугашвили. Им не терпелось. Им хотелось власти. Экспериментов. Славы, в конце концов. И удавшийся переворот они назвали Великой Октябрьской Социалистической революцией. А дальше стали подгонять происходящие в стране процессы под шаблон своего учения.

Но ничего с военным коммунизмом не вышло.

Тогда вернулись к естественному ходу событий. Новой экономической политике. Фактически к развитию капитализма в России. Но такой ход событий рано или поздно лишил бы их власти. Вслед за экономической свободой восходящий класс — новая советская буржуазия — потребовал бы политическую власть. И куда бы им было деваться? Поэтому Сталин, который понимал, что ход истории не изменить, вернул Россию опять к самодержавию. И империи. Конечно, процесс был непростой. Надо было уничтожить сотни тысяч, миллионы самостоятельных людей как в городе, так и в деревне. Заключительная волна репрессий — это тридцать седьмой.

После этого СССР снова стал по своему общественному устройству феодальным государством с самодержавным правлением и всеми атрибутами империи. Вплоть до офицерских погонов старого образца.

— Ну как же все-таки! Ведь не объявил же он себя царем. Императором!

— Царем не объявлял! Да этого и не надо было. Ведь еще Ленин писал. Дай-ка я вспомню цитатку. Кажется, так: «Царское самодержавие есть самодержавие чиновников. Царское самодержавие есть крепостная зависимость народа от чиновников и больше всего от полиции». Вот так вот, сынок дорогой! Чем сегодня мы отличаемся? Так же зависим от любого начальнического чиха.

— Ну ты, батя, разложил всю нашу историю по полочкам. Упростил, можно сказать. Но ведь раньше религия была. А теперь материализм. Марксизм-ленинизм.

— Да ладно тебе, сынок, начетничать. В последние годы вся эта наука выродилась в религию. Вождей мумифицировали, как новых святых. Хранили их мощи. Ходили им поклонялись. Вместо изучения законов развития занимались в своих институтах какой-то схоластикой.

Выдумывали всякие заклинания: «Партия — наш рулевой! Народ и партия едины!» Превратили свои съезды в ритуальные богослужения, где с утра до вечера воспевали «Осанну» старым и новым вождям.

Опять же культ личности вспомним.

А как власть меняли? Ну точь-в-точь как в царской России. Генсек, как император, либо доживал на своей должности до смерти, либо его свергали заговорщики. Никаких выборов. Никакой альтернативы. Все по старым, еще византийским сценариям. Ну и доигрались теперь.

Почему мы отстали от Запада во всем? Да потому, что в общественной жизни игнорировали естественные законы. И пытались компенсировать это вечное отставание авралами, штурмовщиной, не жалея людей, превратив их в расходный материал...

В области техники мы можем делать что угодно. В космос летать. Атомную бомбу изготовили. А законы жизни все равно не отменишь. И ничего путного из этого не вышло... И не выйдет...

— В смысле? — Дубравин отложил ложку и уставился на отца.

— Да никакого усовершенствованного социализма не может быть. Нету его. В природе. Он вызреть должен. И весь путь эволюции будем проходить сначала. И благие пожелания тут не помогут. А в общем, так жалко, что я уже старый. Был бы помоложе — развернулся бы. Может, ферму какую сделал. Купил бы свой трактор, — выдал какие-то свои потаенные мысли он.

В это мгновение Александр Дубравин понял, что никогда он еще не заглядывал в душу отца так глубоко. И то, что приоткрылось ему сейчас, его мечтания, мысли, напрочь опрокинуло все то, чему его учили в школе, институте, партии.

Он понял, что отец так и не примирился с этим устройством жизни, которое навязали ему и народу коммунисты-большевики. Что в душе своей он все равно, как и многие миллионы русских людей, не принял их материализм и лживое лицемерие. Они так и не смогли вытравить из народа понятие правды и справедливости.

И то, что он сейчас понял, ужаснуло Дубравина. Раз нет опоры в душах, значит, скоро все рухнет.

И еще дивился он тому, что отец, который сидит здесь, в деревне, так четко и ясно, как не смогли столичные интеллектуалы, объяснил ему суть прожитого страной семидесятилетнего отрезка пути. Пути, который вел их в никуда. И то, что открытые философами-материалистами законы общественного развития они пытались игнорировать, приспособить под свои нужды, но не смогли.

«Господи! — думал он. — Работали целые институты. Писались тома диссертаций. Печатались горы литературы. И все равно против правды ничего не может устоять.

Материализм — квинтэссенция идеологии, основанной на отрицании души, духа, — зашел в тупик. К своему естественному финалу».

Х

Велосипед — любимое средство передвижения в деревне. Он создает ему особое настроение и помогает очень быстро перемещаться в пространстве. От магазина до дома, от озера до речки, от школы до библиотеки. И сегодня Дубравин не изменил себе. Взял отцовский велосипед. Подвернул штанину спортивного костюма, чтобы не попала под цепь. Уселся в жесткое седло. И-го-го! Вперед, мой верный Росинант! Знакомую дорогой по тропинке через лес, по гремящему мосту через ленивую речку, прямо в библиотеку. Потому что именно там, в этой своеобразной «пещере Аладдина», работает его одноклассница Валентина. И она знает все и обо всех.

Прносятся лишь крашенные ворота домов. И сидящие перед ними старушки: «Здрасьте!» И покотил дальше.

Выбегают откуда-то сбоку деревенские шавки: «Гав-гав!» А он уже далеко впереди.

Еще рывок — велосипед к стеночке. И по темному коридору к двери с табличкой «Библиотека». В этот раз очаг культуры, находившийся рядом с деревенским клубом, встретил его пудовым порыжевшим от непогоды замком. И табличкой «Выходной». Но Дубравин не расстраивается. У него впереди еще три дня. А пока разворот. И вперед. В поля.

Вернулся на другой день. «Сим-сим, откройся!» И вход в пещеру Аладдина, где хранятся сокровища знаний, распахнулся.

Хранительница Валентина сидит за столом, заложенным стопками разноцветных книг. И что-то делает с картонными карточками читателей. На веснушчатом носике у нее надеты аккуратные очки. Сама она в легкомысленном белом в горошек платье с оборками. Вся такая воздушная. К поцелуям зовущая. С веснушками-конопушками не только на щеках, но и на оголенных плечах, груди и руках. Этакое яблочко наливное.

Дубравин аж остолбенел. Диво-дивное! Была деревенская девчонка как девчонка. Ну, симпатичная, зеленоглазая, рыжеволосая. А теперь — пава. Видно, бывает у каждой свой миг. Свой час, когда женщина расцветает. Набирает непреодолимую притягательную силу, против которой не

устоять.

Увидев его, Валентина неподдельно обрадовалась. Вскочила с места и обняла его. Да так крепко прижалась, что он кожей ощутил все ее горячее, белое, прекрасное тело под легким шелковым платьем. Аж дрожь пошла. И морок ударил ему в голову.

Присели рядышком на малюсенький диванчик для посетителей. И потек бестолковый разговор. Кто? Где? Кем? Чем?

Сюда, в библиотеку, заходят разные люди. Кто книгу взять. Кто поболтать. Так что новости и стекаются в этот кладезь мудрости со всех концов деревни.

— Минаву Вальку помнишь?

— Угу!

— Работала на химическом заводе. Авария у них случилась. Так она почти ослепла. Мать ее рассказывала, что долго лежала в больнице. Теперь инвалидность ей дали. Такие вот дела. А Галка перебралась в Россию. С мужем, — подчеркнула Валентина. — У него там родственники. Живут в Туле. Пока у бабушки. Работает она не по специальности. Художником-оформителем. Детей пока, — опять нажала она, — нет! — Помолчала минуту. Вздохнула притворно: — Так что теперь тебе ее не увидеть. Да и нам тоже.

И она внимательно, с намеком поглядела в глаза Дубравину.

«Эк, какая чертовщина в них, — подумал он, однако не отводя взора. — И чего она ко мне присела так близко?»

Горячее, сильное бедро Валентины ну прямо грело его через штанину. А рука вдруг неожиданно легла на коленку.

— Людка Крылова долго хороводилась с каким-то нерусским, — торопливо проговорила она и вдруг неожиданно и как-то неловко обняла его за шею, при этом чмокнув его прямо в щеку. И сразу же принялась горячо целовать его в губы, щеки, нос. А потом осторожно потянула на себя, заваливаясь спиной на диван...

— Валь! Ты что? — когда всё окончилось, спросил он. — С ума сошла? А ну как твой узнает?

— Не узнает. Он теперь только водку любит. А не меня. А я тебя давно поджидала. Еще со школы. Любила. Да ты на меня и не смотрел вовсе. Занят был.

Он наконец сообразил, что до сих пор она не подавала знаков потому, что блюла свой женский порядок. Старалась не подавать виду. Не хотела портить им отношения с Галинкой. Как-никак подруги. А теперь можно. Галка вышла замуж. И он стал ее добычей. Чем она не замедлила

воспользоваться, овладев им.

— Ну и что это тебе дает? Тут, в библиотеке. Давай, может, встретимся где-нибудь в тихом месте? — предложил он. — Чтоб было что вспомнить?

У нее ответ готов. Торопливо:

— У меня сестра квартиру продает в городе. Она стоит пустая. Давай завтра съездим туда! Автобус ходит три раза в день.

* * *

Поезд, словно расправляющий кости человек, рванул состав. Дрожь с грохотом пробежала по вагонам и сцепкам. И тихонечко, тихонечко стальная зеленая гусеница поползла по рельсам. Тук-тук. Размеренно на стыках застучали вагонные пары.

Дубравин присел у завешанного окошка. Вспомнил Валентину. И по доброму улыбнулся, ощущая звенящую легкость в теле.

Пришли они тогда в совершенно пустую квартиру. Она откуда-то достала ватное одеяло и простыню. Расстелила их на полу. Аккуратно, чтобы не помялось, сняла платье. Повесила на дверь. И присела, хитро улыбаясь.

Так и осталась она в его памяти со своей белой прозрачной кожей, конопушками и зелеными невероятными глазами.

На всю оставшуюся жизнь.

Прощаясь, он спросил:

— Ну и что тебе с этого? На всю жизнь ведь не насытишься!

Она улыбнулась утомленно:

— Вот побыла с тобой. Мне теперь воспоминаний на много, много лет...

И долго он еще в поезде качал головой. И улыбался: «Во как бывает!..»

Прощай, родной Казахстан...